Н.В. ГОГОЛЬ



ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ

Н.В. ГОГОЛЬ * ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ



Н. В. Гоголь. А. Г. Венецианов. 1834 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Н. В. ГОГОЛЬ



ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ



ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛА О. Г. ДИЛАКТОРСКАЯ



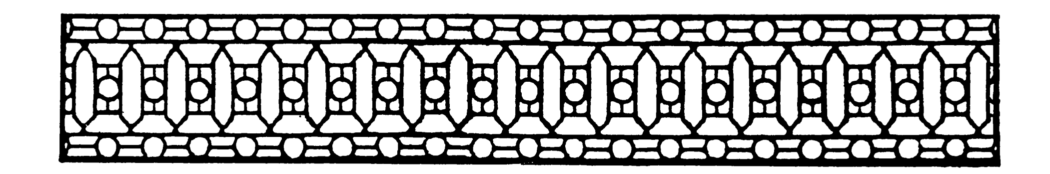
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
1995

ББК 84Р
Г58

Ответственный редактор
С. А. ФОМИЧЕВ

Г $\frac{4702010100-569}{042(02)-95}$ 378-93—I

ISBN 5-02-027931-5



НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волосы и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! — О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской[1] и других улицах, где жадность и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках[2] или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь[3] и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика,[4] проводящая на нем резкую царапину, — все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах,[5] совершающими свои наезды на

церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст: плотные содержатели магазинов и их комми[6] еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофий; нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед,[7] летавший вчера как муха с шоколадом, вылезает с метлой в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ,[8] иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал,[9] известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре.[10] Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент.[11] Можно сказать решительно, что в это время, то есть до двенадцати часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или о семи грошах меди,[12] старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах[13] с пустыми штофами[14] или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, — никто этого не заметит.

В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличною солидностью изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки, идут величаво позади своих легеньких, вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время Невский проспект — педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам[15] тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они наконец вытесняются нежными их родителями, идущими под руку со своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих,[16] наконец выпивших чашку кофию и чаю; к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям.[17] К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии[18] и

отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! но, увы! я не служу[19] и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных редингтотах[20] и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие. Здесь вы встретите усы[21] чудные, никаким пером, никакою кистью неизобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, — предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорта помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров[22] и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми, вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу

понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но однако же, ничуть не бывало: они большею частию служат в разных департаментах, многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое; или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, — словом, большею частию все порядочные люди. В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце,[23] шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстук, возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и выставка оканчивается, толпа редеет... В три часа — новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна: он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах.[24] Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари[25] спешат еще воспользоваться временем и пройтиться по Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову: им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих; они еще не вполне оторвались от забот своих; в их голове ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел; им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии.[26]

С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкою в руках, какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повытчика,[27] пущенная по миру во фризовой шинели, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны, какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикюлем и книжкою в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек в демикотоновом сюртуке[28] с талией на спине, с узенькою бородою, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару; иногда низкий ремесленник; больше никого не встретите вы на Невском проспекте.

Но как только сумерки упадут на домы и улицы и будочник,[29] накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите очень много молодых людей, большею частию холостых, в теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то

чрезвычайно безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами Полицейского моста.[30] Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники большею частию сидят дома, или потому, что это народ женатый, или потому, что им очень хорошо готовят кушанье живущие у них в домах кухарки-немки. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такой важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в два часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим, а более всего сидельцам,[31] артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках гуляющим целою толпою и обыкновенно под руку.

— Стой! — закричал в это время поручик[32] Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. — Видел?

— Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка.[33]

— Да ты о ком говоришь?

— Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! боже, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица — чудеса!

— Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?

— О, как можно! — воскликнул, закрасневшись, молодой человек во фраке. — Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, — продолжал он, вздохнувши, — один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!

— Простак! — закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту сторону, где развевался яркий плащ ее. — Ступай, простофиля, прозеваешь! а я пойду за блондинкою.

Оба приятеля разошлись.

«Знаем мы вас всех», — думал про себя с самодовольною и самонадеянною улыбкою Пирогов, уверенный, что нет красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ, то окидывавшийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось, и он невольно ускорял шаг свой. Он не смел и думать о том, чтобы получить какое-нибудь право на внимание улетавшей вдали красавицы, тем более допустить такую черную мысль, о какой намекал ему поручик Пирогов; но ему хотелось только видеть дом, заметить, где имеет жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетело с неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит неизвестно куда. Он летел так скоро, что сталкивал беспрестанно с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами. Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который состав-

ляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. Это исключительное сословие очень необыкновенно в том городе, где все или чиновники, или купцы, или мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! Художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно. Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив того, это большею частию добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе небрегущий об излишнем. Он вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть, с тем, чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувственную мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякий художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках. У них всегда почти на всем серенький мутный колорит — неизгладимая печать севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работою. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на чистый воздух. Они вообще очень робки; звезда и толстый эполет приводят их в такое замешательство, что они невольно понижают цену своих произведений. Они любят иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на них слишком резким и несколько походит на заплату. На них встретите вы иногда отличный фрак и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет и сюртук весь в красках. Таким же самым образом, как на неоконченном их пейзаже, увидите вы иногда нарисованную вниз головою нимфу, которую он, не найдя другого места, набросал на запачканном грунте прежнего своего произведения, когда-то писанного им с наслаждением. Он никогда не глядит вам прямо в глаза; если же глядит, то как-то мутно, неопределенно; он не вонзает в вас ястребиного взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского офицера. Это происходит оттого, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса,[34] стоящего в его комнате, или ему представляется его же собственная картина, которую он еще думает произвесть. От этого он отвечает часто несвязно, иногда невпопад, и мешающиеся в его голове предметы еще более увеличивают его робость. К такому роду принадлежал описанный нами молодой человек, художник Пискарев, застенчивый, робкий, но в душе своей носивший искры чувства, готовые при удобном случае превратиться в пламя. С тайным трепетом спешил он за своим предметом, так сильно его поразившим, и, казалось, дивился сам своей

дерзости. Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными, как агат, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим румянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез. Все, что остается от воспоминания о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, — все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. Она взглянула на Пискарева, и при этом взгляде затрепетало его сердце; она взглянула сурово, чувство негодования проступило у ней на лице при виде такого наглого преследования; но на этом прекрасном лице и самый гнев был обворожителен. Постигнутый стыдом и робостью, он остановился, потупив глаза; но как утерять это божество и не узнать даже той святыни, где оно опустилось гостить? Такие мысли пришли в голову молодому мечтателю, и он решился преследовать. Но, чтобы не дать этого заметить, он отдалился на дальнее расстояние, беспечно глядел по сторонам и рассматривал вывески, а между тем не упускал из виду ни одного шага незнакомки. Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише; красавица оглянулась, и ему показалось, как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки; нет, это собственные мечты смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели, и все перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. И все это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, он несся по легким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить быстроту своего шага, летевшего под такт сердца. Иногда овладевало им сомнение: точно ли выражение лица ее было так благосклонно, — и тогда он на минуту останавливался, но сердечное биение, непреодолимая сила и тревога всех чувств стремила его вперед. Он даже не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный дом, все четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули на него разом, и перила у подъезда противупоставили ему железный толчок свой. Он видел, как незнакомка летела по лестнице, оглянулась, положила на губы палец и дала знак следовать за собою. Колени его дрожали; чувства, мысли горели; молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце. Нет, это уже не мечта! Боже! столько счастия в один миг! такая чудесная жизнь в двух минутах!

Но не во сне ли это все? ужели та, за один небесный взгляд которой он готов бы был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу которой уже

он почитал за неизъяснимое блаженство, ужели та была сейчас так благосклонна и внимательна к нему? Он взлетел на лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более освятило их. Это доверие, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это доверие наложило на него обет строгости рыцарской, обет рабски исполнять все повеления ее. Он только желал, чтоб эти веления были как можно более трудны и неудобоисполняемы, чтобы с бóльшим напряжением сил лететь преодолевать их. Он не сомневался, что какое-нибудь тайное и вместе важное происшествие заставило незнакомку ему вввериться; что от него, верно, будут требоваться значительные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все.

Лестница вилась и вместе с нею вились его быстрые мечты. «Идите осторожнее!» — зазвучал, как арфа, голос и наполнил все жилы его новым трепетом. В темной вышине четвертого этажа незнакомка постучала в дверь, — она отворилась, и они вошли вместе. Женщина довольно недурной наружности встретила их со свечою в руке, но так странно и нагло посмотрела на Пискарева, что он опустил невольно свои глаза. Они вошли в комнату. Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна раскладывала карты; другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза; третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели довольно хорошие были покрыты пылью; паук застилал своею паутиною лепной карниз; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира; громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения.

Боже, куда зашел он! Сначала он не хотел верить и начал пристальнее всматриваться в предметы, наполнявшие комнату; но голые стены и окна без занавес не показывали никакого присутствия заботливой хозяйки; изношенные лица этих жалких созданий, из которых одна села почти перед его носом и так же спокойно его рассматривала, как пятно на чужом платье, — все это уверило его, что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною образованностью и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом. Пискарев мерил ее с ног

до головы изумленными глазами, как бы еще желая увериться, та ли это, которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте. Но она стояла перед ним так же хороша; волосы ее были так же прекрасны; глаза ее казались все еще небесными. Она была свежа; ей было только 17 лет; видно было, что еще недавно настигнул ее ужасный разврат; он еще не смел коснуться к ее щекам, они были свежи и легко оттенены тонким румянцем, — она была прекрасна.

Он неподвижно стоял перед нею и уже готов был так же простодушно позабыться, как позабылся прежде. Но красавица наскучила таким долгим молчанием и значительно улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости; она так была странна и так же шла к ее лицу, как идет выражение набожности роже взяточника или бухгалтерская книга поэту. Он содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить что-то, но все это было так глупо, так пошло... Как будто вместе с непорочностью оставляет и ум человека. Он уже ничего не хотел слышать. Он был чрезвычайно смешон и прост, как дитя. Вместо того чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вместо того чтобы обрадоваться такому случаю, какому, без сомнения, обрадовался бы на его месте всякий другой, он бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу.

Повесивши голову и опустивши руки, сидел он в своей комнате, как бедняк, нашедший бесценную жемчужину и тут же выронивший ее в море. «Такая красавица, такие божественные черты — и где же? в каком месте!...» Вот все, что он мог выговорить.

В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. Пусть бы еще безобразие дружилось с ним, но красота, красота нежная... она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях. Красавица, так околдовавшая бедного Пискарева, была действительно чудесное, необыкновенное явление. Ее пребывание в этом презренном кругу еще более казалось необыкновенным. Все черты ее были так чисто образованы, все выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга; она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонников; но, увы! она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидел он перед нагоревшею свечою. Уже и полночь давно минула, колокол башни бил половину первого, а он сидел неподвижный, без сна, без деятельного бдения. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, один только огонь свечи просве-

чивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошел лакей в богатой ливрее. В его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притом в такое необыкновенное время... Он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел на пришедшего лакея.

— Та барыня, — произнес с учтивым поклоном лакей, — у которой вы изволили за несколько часов перед сим быть, приказала просить вас к себе и прислала за вами карету.

Пискарев стоял в безмолвном удивлении: «Карету, лакей в ливрее!.. Нет, здесь, верно, есть какая-нибудь ошибка...»

— Послушайте, любезный, — произнес он с робостью, — вы, верно, не туда изволили зайти. Вас барыня, без сомнения, прислала за кем-нибудь другим, а не за мною.

— Нет,сударь, я не ошибся. Ведь вы изволили проводить барыню пешком к дому, что в Литейной, в комнату четвертого этажа?

— Я.

— Ну, так пожалуйте поскорее, барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом.

Пискарев сбежал с лестницы. На дворе точно стояла карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами — и освещенная перспектива домов с яркими вывесками понеслась мимо каретных окон. Пискарев думал во всю дорогу и не знал, как разрешить это приключение. Собственный дом, карета, лакей в богатой ливрее... — все это он никак не мог согласить с комнатою в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным фортепианом.

Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом, и его разом поразили: ряд экипажей, говор кучеров, ярко освещенные окна и звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сени с мраморными колоннами, с облитым золотом швейцаром, с разбросанными плащами и шубами, с яркою лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверх. Он уже был на ней, уже взошел в первую залу, испугавшись и попятившись с первым шагом от ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолепных хоров, — все было для него блистательно. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звездами на фраках, дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету или сидевших рядами, он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные

руки, поправляя галстук, дамы так были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так очаровательно потупляли глаза, что... но один уже смиренный вид Пискарева, прислонившегося с боязнию к колонне, показывал, что он растерялся вовсе. В это время толпа обступила танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным созданием Парижа, в платьях, сотканных из самого воздуха; небрежно касались они блестящими ножками паркета и были более эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ими всех лучше, всех роскошнее и блистательнее одета. Невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе, и при всем том она, казалось, вовсе о нем не заботилась, и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядела и не глядела на обступившую толпу зрителей, прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно, и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее.

Пискарев употребил все усилия, чтоб раздвинуть толпу и рассмотреть ее; но, к величайшей досаде, какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее беспрестанно; притом толпа его притиснула так, что он не смел податься вперед, не смел попятиться назад, опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника.[35] Но вот он продрался-таки вперед и взглянул на свое платье, желая прилично оправиться. Творец небесный, что это! На нем был сюртук и весь запачканный красками: спеша ехать, он позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до ушей и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться решительно было некуда: камер-юнкеры в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенно стеною. Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом поднял глаза посмотреть, не глядит ли она на него: боже! она стоит перед ним... Но что это? что это? «Это она!» — вскрикнул он почти во весь голос. В самом деле, это была она, та самая, которую встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу.

Она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом. «Ай, ай, ай, как хороша!..» — мог только выговорить он с захватившимся дыханием. Она обвела своими глазами весь круг, наперерыв жаждавший остановить ее внимание, но с каким-то утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! дай силы, создатель, перенести это! жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу! Она подала знак, но не рукою, не наклонением головы, нет; в ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выражением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его. Танец длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец — конец! Она села, грудь ее воздымалась под тонким дымом газа; рука ее (создатель, какая чудесная рука!) упала на колени, сжала под собою ее воздушное платье, и платье под ней, казалось, стало дышать музыкою, и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означил яркую

белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее — и ничего больше! Никаких других желаний — они все дерзки... Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать.

— Вам было скучно? — произнесла она, — я также скучала. Я замечаю, что вы меня ненавидите... — прибавила она, потупив свои длинные ресницы.

— Вас ненавидеть! мне? я... — хотел было произнесть совершенно потерявшийся Пискарев и наговорил бы, верно, кучу самых несвязных слов, но в это время подошел камергер[36] с острыми и приятными замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он довольно приятно показывал ряд довольно недурных зубов и каждою остротою своею вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец кто-то из посторонних, к счастью, обратился к камергеру с каким-то вопросом.

— Как это несносно! — сказала она, подняв на него свои небесные глаза. — Я сяду на другом конце зала; будьте там!

Она проскользнула между толпою и исчезла. Он, как помешанный, растолкал толпу и был уже там.

Так, это она! она сидела, как царица, всех лучше, всех прекраснее, и искала его глазами.

— Вы здесь, — произнесла она тихо. — Я буду откровенна перед вами: вам, верно, странными показались обстоятельства нашей встречи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу творений, в котором вы встретили меня? Вам кажутся странными мои поступки, но я вам открою тайну: будете ли вы в состоянии, — произнесла она, устремив пристально на его глаза свои, — никогда не изменить ей?

— О, буду! буду! буду!..

Но в это время подошел довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода, но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст. Он отправился вслед за нею; но толпа разделила их. Он уже не видел сиреневого платья; с беспокойством проходил он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречных, но во всех комнатах всё сидели тузы за вистом, погруженные в мертвое молчание. В одном углу комнаты спорило несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статскою,[37] в другом люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта-труженика. Пискарев чувствовал, что один пожилой человек с почтенною наружностью схватил за пуговицу его фрака и представлял на его суждение одно весьма справедливое свое замечание, но он грубо оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно значительный орден. Он перебежал в другую комнату — и там нет ее. В третью — тоже нет. «Где же она? дайте ее мне! о, я не могу жить, не взглянувши на нее! мне хочется выслушать, что она хотела сказать», — но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, утомленный, он прижался в углу и смотрел на толпу;

но напряженные глаза его начали ему представлять все в каком-то неясном виде. Наконец, ему начали явственно показываться стены его комнаты. Он поднял глаза; перед ним стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим в глубине его; вся свеча истаяла; сало было налито на столе его.

Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться? зачем было одной минуты не подождать: она бы, верно, опять явилась! Досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке... О, как отвратительна действительность! Что она против мечты? Он разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать улетевшее сновидение. Сон, точно, не замедлил к нему явиться, но представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть: то поручик Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож, то действительный статский советник,[38] то голова чухонки, с которой он когда-то рисовал портрет, и тому подобная чепуха.

До самого полудня пролежал он в постели, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы ее обнаженная, яркая, как заоблачный снег, рука мелькнула перед ним.

Все откинувши, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный только одного сновидения. Ни к чему не думал он притронуться; глаза его без всякого участия, без всякой жизни глядели в окно, обращенное во двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: старого платья продать. Вседневное и действительное странно поражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностью бросился в постель. Долго боролся он с бессонницею, наконец пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкий сон. «Боже, умилосердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!» Он опять ожидал вечера, опять заснул, опять снился какой-то чиновник, который был вместе и чиновник, и фагот; о, это нестерпимо! Наконец она явилась! ее головка и локоны... она глядит... О, как ненадолго! Опять туман, опять какое-то глупое сновидение.

Наконец, сновидение сделалось его жизнию, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал на яву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-нибудь видел сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице, то, верно бы, принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками; взгляд его был вовсе без всякого значения, природная рассеянность наконец развилась и властительно изгоняла на лице его все чувства, все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи.

Такое состояние расстроило его силы и самым ужасным мучением было для него то, что наконец сон начал его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, он употреблял все средства восстановить его. Он слышал, что есть средство восстановить сон — для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержащего магазин шалей, который всегда

почти, когда ни встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него, без сомнения, есть этот опиум. Персиянин принял его сидя на диване и поджавши под себя ноги.

— На что тебе опиум? — спросил он его.

Пискарев рассказал ему про свою бессонницу.

— Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица! чтобы брови были черные и очи большие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле нее и курила трубку! слышишь? чтобы хорошая была! чтобы была красавица!

Пискарев обещал все. Персиянин на минуту вышел и возвратился с баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлил часть ее в другую баночку и дал Пискареву с наставлением употреблять не больше как по семи капель в воде. С жадностию схватил он эту драгоценную баночку, которую не отдал бы за груду золота, и опрометью побежал домой.

Пришедши домой, он отлил несколько капель в стакан с водою и, проглотив, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она! Но уже совершенно в другом виде. О, как хорошо сидит она у окна деревенского светлого домика! Наряд ее дышит такою простотою, в какую только облекается мысль поэта. Прическа на голове ее... Создатель, как проста эта прическа и как она идет к ней! Коротенькая косынка была слегка накинута на стройной ее шейке; все в ней скромно, все в ней тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Как мила ее грациозная походка! Как музыкален шум ее шагов и простенького платья! Как хороша рука ее, стиснутая волосяным браслетом! Она говорит ему со слезою на глазах: «Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнее и скажите: разве я способна к тому, что вы думаете?» — «О! нет, нет! пусть тот, кто осмелится подумать, пусть тот...» Но он проснулся, растроганный, растерзанный, с слезами на глазах. «Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника! Я бы не отходил от холста, я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя. Я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшею мечтою, и я бы был тогда счастлив. Никаких бы желаний не простирал далее. Я бы призывал тебя, как ангела-хранителя, пред сном и бдением, и тебя бы ждал я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь... какая ужасная жизнь! Что пользы в том, что она живет? Разве жизнь сумасшедшего приятна его родственникам и друзьям, некогда его любившим? Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью!» Почти такие мысли занимали его беспрестанно. Ни о чем он не думал, даже почти ничего не ел и с нетерпением, со страстию любовника ожидал вечера и желанного видения... Беспрестанное устремление мыслей к одному наконец взяло такую власть над всем бытием его и воображением, что желанный образ являлся ему почти каждый день, всегда в положении противоположном действительности, потому что мысли его были совершенно

чисты, как мысли ребенка. Чрез эти сновидения самый предмет как-то более делался чистым и вовсе преображался.

Приемы опиума еще более раскалили его мысли, и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он.

Из всех сновидений одно было радостнее для него всех: ему представилась его мастерская, он так был весел, с таким наслаждением сидел с палитрою в руках! И она тут же. Она была уже его женою. Она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула, и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства; все в комнате его дышало раем; было так светло, так убрано. Создатель! она склонила к нему на грудь прелестную свою головку... Лучшего сна он еще никогда не видывал. Он встал после него как-то свежее и менее рассеянный, нежели прежде. В голове его родились странные мысли: «Может быть, — думал он, — она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в разврат; может быть, движения души ее склонны к раскаянию; может быть, она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего. И неужели равнодушно допустить ее гибель, и притом тогда, когда только стоит подать руку, чтобы спасти ее от потопления?» Мысли его простирались еще далее. «Меня никто не знает, — говорил он сам себе, — да и кому какое до меня дело, да и мне тоже нет до них дела. Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение».

Составивши такой легкомысленный план, он почувствовал краску, вспыхнувшую на его лице; он подошел к зеркалу и испугался сам впалых щек и бледности своего лица. Тщательно начал он принаряжаться; примылся, пригладил волосы, надел новый фрак, щегольской жилет, набросил плащ и вышел на улицу. Он дохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце, как выздоравливающий, решившийся выйти в первый раз после продолжительной болезни. Сердце его билось, когда он подходил к той улице, на которой нога его не была со времени роковой встречи.

Долго он искал дома; казалось, память ему изменила. Он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец один показался ему похожим. Он быстро взбежал на лестницу, постучал в дверь: дверь отворилась, и кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которою он жил, так ужасно, так страдательно, так сладко жил. Она сама стояла перед ним; он затрепетал; он едва мог удержаться на ногах от слабости, обхваченный порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасна, хотя глаза ее были заспаны, хотя бледность кралась на лице ее, уже не так свежем, но она все была прекрасна.

— А! — вскрикнула она, увидевши Пискарева и протирая глаза свои. (Тогда было уже два часа). — Зачем вы убежали тогда от нас?

Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее.

— А я только что теперь проснулась; меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна, — прибавила она с улыбкою.

О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи! Она вдруг показала ему, как в панораме, всю жизнь ее. Однако ж, несмотря на это, скрепившись сердцем, решился попробовать он, не будут ли иметь над нею действия его увещания. Собравшись с духом, он дрожащим и вместе пламенным голосом начал представлять ей ужасное ее положение. Она слушала его с внимательным видом и с тем чувством удивления, которое мы изъявляем при виде чего-нибудь неожиданного и странного. Она взглянула, легко улыбнувшись, на сидевшую в углу свою приятельницу, которая, оставивши вычищать гребешок, тоже слушала со вниманием нового проповедника.

— Правда, я беден, — сказал наконец после долгого и поучительного увещания Пискарев, — но мы станем трудиться; мы постараемся наперерыв, один перед другим, улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязану во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием, и мы ни в чем не будем иметь недостатка.

— Как можно! — прервала она речь с выражением какого-то презрения. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, — жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата.

— Женитесь на мне! — подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница. — Если я буду женою, я буду сидеть вот как!

При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу.

О, это уже слишком! этого нет сил перенести. Он бросился вон, потерявши чувства и мысли. Ум его помутился: глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день. Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет; на другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с признаками безумия на лице. Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконец, прошла неделя, и комната все так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа; наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная душа его оставила тело.

Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий, робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта, быть

может, со временем бы вспыхнувшего широко и ярко. Никто не поплакал над ним; никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя[39] и равнодушной мины городового лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту,[40] за ним идучи, плакал один только солдат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство. Впрочем, ему было вовсе не до того: он был занят чрезвычайным происшествием. Но обратимся к нему.

Я не люблю трупов и покойников, и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу длинная погребальная процессия и инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином,[41] нюхает левою рукою табак, потому что правая занята факелом. Я всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка и бархатного гроба; но досада моя смешивается с грустью, когда я вижу, как ломовой извозчик тащит красный, ничем не покрытый гроб бедняка,[42] и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легонькое, довольно интересное созданьице. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окнах кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. «Ты, голубушка, моя!» — говорил с самоуверенностью Пирогов, продолжая свое преследование и закутавши лицо свое воротником шинели, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Но не мешает известить читателей, кто таков был поручик Пирогов.

Но прежде нежели мы скажем, кто таков был поручик Пирогов, не мешает кое-что рассказать о том обществе, к которому принадлежал Пирогов. Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника[43] или у действительного статского, который выслужил этот чин сорокалетними трудами, вы всегда найдете одного из них. Несколько бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей, из которых иные перезрели, чайный столик, фортепиано, домашние танцы — все это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет при лампе, между благонравной блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства. Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всем была та мелочь, которую любят женщины. В этом надобно отдать справедливость означенным господам. Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом: «Ах, перестаньте! не стыдно ли вам так смешить!» — бывают им часто лучшею наградою. В высшем классе они попадаются очень редко или, лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем,

что называют в этом обществе аристократами; впрочем, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове.[44] Они не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии или даже о лесоводстве. В театре, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного из них, выключая разве если уже играются какие-нибудь «Филатки»,[45] которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус. В театре они бессменно. Это самые выгодные люди для театральной дирекции. Они особенно любят в пьесе хорошие стихи, также очень любят громко вызывать актеров; многие из них, преподавая в казенных заведениях или приготовляя к казенным заведениям, заводятся наконец кабриолетом[46] и парою лошадей. Тогда круг их становится обширнее; они достигают наконец до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч, или около того наличных и кучею брадатой родни. Однако ж этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши, по крайней мере, до полковничьего чина. Потому что русские бородки несмотря на то, что от них еще несколько отзывается капустою, никаким образом не хотят видеть дочерей своих ни за кем, кроме генералов или, по крайней мере, полковников. Таковы главные черты этого сорта молодых людей. Но поручик Пирогов имел множество талантов, собственно ему принадлежавших. Он превосходно декламировал стихи из «Димитрия Донского»[47] и «Горе от ума», имел особенное искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно, что вдруг мог нанизать их около десяти одно на другое. Умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе.[48] Впрочем, оно несколько трудно перечесть все таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапорщик. Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: «Ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?»[49] но втайне его очень льстило это новое достоинство; он в разговоре часто старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы. Пирогов вообще показывал страсть ко всему изящному и поощрял художника Пискарева; впрочем, это происходило может быть, оттого, что ему весьма желалось видеть мужественную физиономию свою на портрете. Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно.

Итак, Пирогов не переставал преследовать незнакомку, от времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвечала резко, отрывисто

и какими-то неясными звуками. Они вошли темными Казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов — за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами, с закопченным потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе; пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом.

Перед ним сидел Шиллер, — не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер, в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову, а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком языке, и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только «гут морген», ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем.

«Я не хочу, мне не нужен нос! — говорил он, размахивая руками. — У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин не держит русского табаку, я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по сорок копеек; это будет рубль двадцать копеек; двенадцать раз рубль двадцать копеек — это будет четырнадцать рублей сорок копеек. Слышишь, друг мой Гофман? на один нос четырнадцать рублей сорок копеек! Да по праздникам я нюхаю рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю два фунта рапе,[50] по два рубля фунт. Шесть да четырнадцать — двадцать рублей сорок копеек на один табак! Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли?» Гофман, который сам был пьян, отвечал утвердительно: «Двадцать рублей сорок копеек!» — «Я швабский немец; у меня есть король в Германии.[51]

Я не хочу носа! Режь мне нос! Вот мой нос!»

И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то, без всякого сомнения, Гофман отрезал бы ни за что ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, непрошеное лицо так некстати ему помешало. Он, несмотря на то что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов слегка наклонился и с свойственною ему приятностью сказал:

— Вы извините меня...

— Пошел вон! — отвечал протяжно Шиллер.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лице, вдруг пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал:

— Мне странно, милостивый государь... вы, верно, не заметили... я офицер...

— Что такое офицер! Я — швабский немец. Мой сам (при этом Шиллер ударил кулаком по столу) будет офицер: полтора года юнкер, два года поручик, и я завтра сейчас офицер. Но я не хочу служить. Я с офицером сделает этак: фу! — при этом Шиллер подставил ладонь и фукнул на нее.

Поручик Пирогов увидел, что ему больше ничего не оставалось, как только удалиться; однако ж такое обхождение, вовсе неприличное его званию, ему было неприятно. Он несколько раз останавливался на лестнице, как бы желая собраться с духом и подумать о том, каким бы образом дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом; к тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила:

— Что вам угодно?

— А, здравствуйте, моя миленькая! вы меня не узнали? плутовочка, какие хорошенькие глазки! — при этом поручик Пирогов хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок.

Но блондинка произнесла пугливое восклицание и с тою же суровостью спросила:

— Что вам угодно?

— Вас видеть, больше ничего мне не угодно, — произнес поручик Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе; но, заметив, что пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь, прибавил: — Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне сделать шпоры? хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не нужно шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!

Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода.

— Я сейчас позову моего мужа, — вскрикнула немка и ушла, и через несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходившего с заспанными

глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. Взглянувши на офицера, он припомнил, как в смутном сне, происшествие вчерашнего дня. Он ничего не помнил в таком виде, в каком было, но чувствовал, что сделал какую-то глупость, и потому принял офицера с очень суровым видом.

— Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей, — произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении. Шиллер любил пить совершенно без свидетелей, с двумя, тремя приятелями, и запирался на это время даже от своих работников.

— Зачем же так дорого? — ласково сказал Пирогов.

— Немецкая работа, — хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок. — Русский возьмется сделать за два рубля.

— Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей.

Шиллер в минуту оставался в размышлении: ему, как честному немцу, сделалось немного совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше двух недель не может сделать. Но Пирогов без всякого прекословия изъявил совершенное согласие.

Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу, чтобы она действительно стоила пятнадцать рублей. В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчивостью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось.

— Мейн фрау! — закричал он.

— Вас золен зи дох? — отвечала блондинка.

— Гензи на кухня!*

Блондинка удалилась.

— Так через две недели? — сказал Пирогов.

— Да, через две недели, — отвечал в размышлении Шиллер, — у меня теперь очень много работы.

— До свидания! я к вам зайду.

— До свидания, — отвечал Шиллер, запирая за ним дверь.

Поручик Пирогов решился не оставлять своих исканий, несмотря на то что немка оказала явный отпор. Он не мог понять, чтобы можно было ему противиться, тем более что любезность его и блестящий чин давали полное право на внимание. Надобно, однако же, сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочем, глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере, я знал много мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в кра-

---

* — Моя жена! — Что вам угодно? — Ступайте на кухню! (искаж. *нем.*— Meine Frau! — Was wollen sie duch? — Gehen sie in die Küuhe!).

савице, вместо того чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышит в них миловидностью; но исчезни она — и женщине нужно быть в двадцать раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе если не любовь, то по крайней мере уважение. Впрочем, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда верна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии; но с победою препятствий всегда соединяется наслаждение, и блондинка становилась для него интереснее день ото дня. Он начал довольно часто осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это наконец наскучило. Он употребил все усилия, чтобы окончить скорей начатые шпоры; наконец шпоры были готовы.

— Ах, какая отличная работа! — закричал поручик Пирогов, увидевши шпоры. — Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет этаких шпор.

Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер — умный человек», — думал он сам про себя.

— Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, к кинжалу или другим вещам?

— О, очень могу, — сказал Шиллер с улыбкою.

— Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я вам принесу; у меня очень хороший турецкий кинжал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую.

Шиллера это как бомбою хватило. Лоб его вдруг наморщился. «Вот тебе на!» — подумал он про себя, внутренно ругая себя за то, что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, притом же русский офицер похвалил его работу. Он, несколько покачавший головой, изъявил свое согласие; но поцелуй, который, уходя, Пирогов влепил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение.

Я почитаю неизлишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером. Шиллер был совершенный немец, в полном смысле всего этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, в которое русский живет на фу-фу, уже Шиллер размерил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье. Он положил себе в течение десяти лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово. Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек, и если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни одной копейки, но уменьшал только количество, и хотя оставался иногда несколько голодным, но, однако же, привыкал к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз,

он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп; впрочем,в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однако же, он всегда бранил. Пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается один. Напротив, он, как немец, пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с столяром Кунцом, тоже немцем и большим пьяницей. Таков был характер благородного Шиллера, который наконец был приведен в чрезвычайно затруднительное положение. Хотя он был флегматик и немец, однако ж поступки Пирогова возбудили в нем что-то похожее на ревность. Он ломал голову и не мог придумать, каким образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем Пирогов, куря трубку в кругу своих товарищей, — потому что уже так провидение устроило, что где офицеры, там и трубки, — куря трубку в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятною улыбкою об интрижке с хорошенькой немкою, с которою, по словам его, он уже совершенно был накоротке и которую он на самом деле едва ли не терял уже надежды преклонить на свою сторону.

В один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами; к величайшей радости своей, увидел он головку блондинки, свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручкой и сказал: «Гут морген!» Блондинка поклонилась ему как знакомому.

— Что, ваш муж дома?

— Дома, — отвечала блондинка.

— А когда он не бывает дома?

— Он по воскресеньям не бывает дома,— сказала глупенькая блондинка.

«Это недурно, — подумал про себя Пирогов, — этим нужно воспользоваться».

И в следующее воскресенье как снег на голову явился пред блондинкою. Шиллера действительно не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показал всю красоту своего гибкого перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными словами. Наконец, заходивши со всех сторон и видя, что ничто не может занять ее, он предложил ей танцевать. Немка согласилась в одну минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом Пирогов очень много основывал свою надежду: во-первых, это уже доставляло ей удовольствие, во-вторых, это могло показать его торнюру[52] и ловкость, в-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и положить начало всему; короче, он выводил из этого совершенный успех. Он начал какой-то гавот,[53] зная, что немкам нужна постепенность. Хорошенькая немка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее целовать. Немка начала

кричать и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова; он ее засыпал поцелуями. Как вдруг дверь отворилась и вошел Шиллер с Гофманом и столяром Кунцом. Все эти достойные ремесленники были пьяны, как сапожники.

Но я представляю самим читателям судить о гневе и негодовании Шиллера.

— Грубиян! — закричал он в величайшем негодовании, — как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русский офицер. Черт побери, мой друг Гофман, я немец, а не русская свинья!

Гофман отвечал утвердительно.

— О, я не хочу иметь роги! бери его, мой друг Гофман, за воротник, я не хочу, — продолжал он, сильно размахивая руками, причем лицо его было похоже на красное сукно его жилета. — Я восемь лет живу в Петербурге, у меня в Швабии мать моя, и дядя мой в Нюренберге; я немец, а не рогатая говядина! прочь с него все, мой друг Гофман! держи его за рука и нога, камрат мой Кунц!

И немцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился он отбиваться: эти три ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев. Если бы Пирогов был в полной форме, то, вероятно, почтение к его чину и званию остановило бы буйных тевтонов. Но он прибыл совершенно как частный приватный человек в сюртучке и без эполетов. Немцы с величайшим неистовством сорвали с него все платье. Гофман всей тяжестью своей сел ему на ноги, Кунц схватил за голову, а Шиллер схватил в руку пук прутьев, служивших метлою. Я должен с прискорбием признаться, что поручик Пирогов был очень больно высечен.[54]

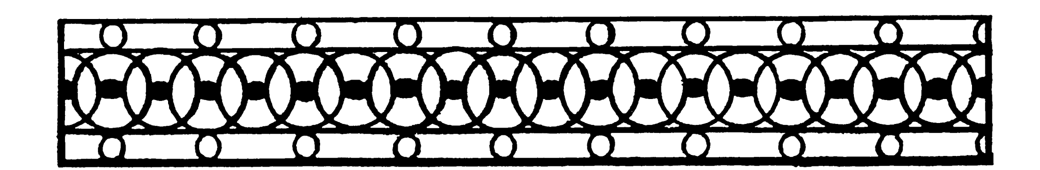
Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке, что он дрожал как лист, ожидая с минуты на минуту прихода полиции, что он бог знает что бы не дал, чтобы все происходившее вчера было во сне. Но что уже было, того нельзя переменить. Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в главный штаб. Если же главный штаб[55] определит недостаточное наказание, тогда прямо в государственный совет,[56] а не то самому государю.

Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной пчелы»[57] и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту; к девяти часам он успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоить генерала, притом он, без сомнения, куда-нибудь отозван, и потому он отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии,[58] где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием

провел вечер и так отличился в мазурке,[59] что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров.

«Дивно устроен свет наш! — думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия. — Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, — тогда как другой, которого сердце горит лошадиною страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною в арку главного штаба,[60] но, увы! должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша!»

Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? — Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему вовсе офицера? Совсем нет, он говорит о Лафайете.[61] Вы думаете, что эти дамы... но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Но боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.



НОС

I

Марта 25 числа[1] случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте[2] (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его — где изображен господин с намыленною щекою и надписью: «И кровь отворяют»[3] — не выставлено ничего более), цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала из печи только что испеченные хлебы.

— Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофию, — сказал Иван Яковлевич, — а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком.

(То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.) «Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше, — подумала про себя супруга, — останется кофию лишняя порция». И бросила один хлеб на стол.

Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное! — сказал он сам про себя, — что бы это такое было?»

Он засунул пальцы и вытащил — нос!..[4] Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! еще, казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился на лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою.

— Где это ты, зверь, отрезал нос? — закричала она с гневом. — Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся.

Но Иван Яковлевич был ни жив ни мертв. Он узнал, что этот нос был ни чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.

— Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок: пусть там маленечко полежит; а после его вынесу.

— И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции?.. Ах ты, пачкун, бревно глупое! Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!

Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал — и не знал, что подумать.

— Черт его знает, как это сделалось, — сказал он наконец, почесав рукою за ухом. — Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..

Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага... и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас запросом: «куда идешь?», или: «кого так рано собрался брить?» — так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив: «подыми! вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице, по мере того как начали отпираться магазины и лавочки.

Он решился идти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях.

Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно небрит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий, то есть он был черный, но весь в коричневато-желтых и серых яблоках; воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!» — то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» — «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский

асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою — одним словом, где только ему было охота.

Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту.[5] Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост: много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд; Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью: «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил:

— А подойди сюда, любезный!

Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедши проворно, сказал:

— Желаю здравия вашему благородию!

— Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?

— Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать!

—Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия, — отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки! Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?

Иван Яковлевич побледнел... Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно.

II

Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: «брр...» — что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно, нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа!.. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.[6]

Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских

асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры...[7] Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор.[8] Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором.[9] «Послушай, голубушка, — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, — ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только: здесь ли живет майор Ковалев? — тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». — По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором.

Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских поветовых землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные, румяные щеки и очень хорошо играют в бостон: эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток сердоликовых, и с гербами, и таких, на которых было вырезано: середа, четверг, понедельник и проч. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то — экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте.[10] Майор Ковалев был не прочь и жениться; но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам: каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа, преглупое, ровное и гладкое место.

Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. «Но авось-либо мне так представилось: не может быть, чтобы нос пропал сдуру», — подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было: мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки; на столах и стульях валялись залитые кофием вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет, — произнес он, — теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул: «Черт знает что, какая дрянь! — произнес он, плюнувши. — Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»

С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Чрез две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника.[11] По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: «подавай!» — сел и уехал.

Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить — был в мундире! Он побежал за каретою, которая, к счастию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором.

Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.

«Как подойти к нему? — думал Ковалев. — По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!»

Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.

— Милостивый государь... — сказал Ковалев, внутренно принуждая себя ободриться, — милостивый государь...

— Что вам угодно? — отвечал нос, оборотившись.

— Мне странно, милостивый государь... мне кажется... вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же?.. — в церкви. Согласитесь...

— Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить... Объяснитесь.

«Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал:

— Конечно, я... впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту[12] очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в

виду получить... притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтарева статская советница и другие... Вы посудите сами... я не знаю, милостивый государь... (При этом майор Ковалев пожал плечами)... Извините... если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести... вы сами можете понять...

— Ничего решительно не понимаю, — отвечал нос. — Изъяснитесь удовлетворительнее.

— Милостивый государь... — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, — я не знаю, как понимать слова ваши... Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно... Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос!

Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились.

— Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить в сенате или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части.

Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.

Ковалев совершенно смешался, не зная, чтó делать и чтó даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья: подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук[13] с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.

Ковалев выступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос... Но носа уже не было: он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом.

Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем; но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такою быстротою, что трудно было даже приметить; но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма: дам

целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особенно ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыжкин, столоначальник в сенате,[14] большой приятель, который вечно в бостоне обремизивался, когда играл восемь.[15] Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему...

— А, черт возьми! — сказал Ковалев. — Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!

Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю ивановскую!»

— У себя обер-полицмейстер? — вскричал он, зашедши в сени.

— Никак нет, — отвечал привратник, — только что уехал.

— Вот тебе раз!

— Да, — прибавил привратник, — оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома.

Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом:

— Пошел!

— Куда? — сказал извозчик.

— Пошел прямо!

— Как прямо? тут поворот: направо или налево?

Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в Управу благочиния, не потому что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах; искать же удовлетворения по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в Управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять, удобно пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города, — и тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию[16] и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! скорей, мошенник!» — «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стегая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на болонке. Дрожки наконец останови-

лись, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник, в старом фраке и очках, сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.

— Кто здесь принимает объявления? — закричал Ковалев. — А, здравствуйте!

— Мое почтение, — сказал седой чиновник, поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег.

— Я желаю припечатать...

— Позвольте. Прошу немножко повременить, — произнес чиновник, ставя одною рукою цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.

Лакей с галунами и наружностию, показывавшею пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола, с запискою в руках, и почел приличным показать свою общежительность:

— Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит восьми гривен, то есть я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей-богу, любит, — и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей! Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны: уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя; не пожалей пятисот, тысячу дай, но зато уж чтоб была собака хорошая.

Почтенный чиновник слушал это с значительною миною и в то же время занимался сметою; сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев[17] и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение[18] кучер трезвого поведения; в другой — малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дворовая девка девятнадцати лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ; прочные дрожки без одной рессоры; молодая горячая лошадь в серых яблоках, семнадцати лет от роду; новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса; дача со всеми угодьями: двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов желающих купить старые подошвы, с приглашением явиться к переторжке каждый день от восьми до трех часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ; но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.

— Милостивый государь, позвольте вас попросить... Мне очень нужно, — сказал он наконец с нетерпением.

— Сейчас, сейчас! Два рубля сорок три копейки! Сию минуту! Рубль шестьдесят четыре копейки! — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза. — Вам что угодно? — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.

— Я прошу... — сказал Ковалев, — случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение.

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых: Чехтарева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша... Вдруг узнают, боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский асессор, или, еще лучше, состоящий в майорском чине.

— А сбежавший был ваш дворовый человек?

— Какое дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество! Сбежал от меня... нос...

— Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?

— Нос то есть... вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною!

— Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.

— Да я не могу вам сказать, каким образом; но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите, в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог — и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой; Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне теперь... Мне теперь к ним нельзя явиться.

Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы.

— Нет,я не могу поместить такого объявления в газетах, — сказал он наконец после долгого молчания.

— Как? отчего?

— Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то... И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.

— Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.

— Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расчету пришлось 2 р. 73 к., и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти.[19] Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения.

— Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом себе.

— Нет, такого объявления я никак не могу поместить.

— Да когда у меня точно пропал нос!

— Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос.[20] Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.

— Клянусь вам, вот как бог свят! Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.

— Зачем беспокоиться! — продолжал чиновник, нюхая табак. — Впрочем, если не в беспокойство, — прибавил он с движением любопытства, — то желательно бы взглянуть.

Коллежский асессор отнял от лица платок.

— В самом деле, чрезвычайно странно! — сказал чиновник, — место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!

— Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен; и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться...

Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличать.

— Напечатать-то, конечно, дело небольшое, — сказал чиновник, — только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле» (тут он понюхал еще раз табаку) для пользы юношества (тут он утер нос), или так, для общего любопытства.

Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза в низ газеты, где было извещение о спектаклях; уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карман: есть ли при нем синяя ассигнация,[21] потому что штаб-офицеры,[22] по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах, — но мысль о носе все испортила!

Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах:

— Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? это разбивает головные боли и печальные расположения; даже в отношении к геморроидам это хорошо.

Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке.

Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.

— Я не понимаю, как вы находите место шуткам, — сказал он с сердцем, — разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб черт побрал наш табак! Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш березинский,[23] но хоть бы вы поднесли мне самого рапе.

Сказавши, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты; шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную треуголь-

ную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его; и он после боевой, бранной жизни готовился вкусить удовольствия мира.

Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей; но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь, — обыкновенно говорил он, — уж нет ничего лучше этой вещи: есть не просит, места займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется».

Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть (из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов),[24] что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам.

То есть не в бровь, а прямо в глаз! Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам,[25] но на штаб-офицеров никак не дóлжно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить...» — и вышел.

Он приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальною или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его; он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»

Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ.

Вошедши в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресла и наконец после нескольких вздохов сказал:

— Боже мой! боже мой! За что это такое несчастие? Будь я без руки или без ноги — все бы это лучше; будь я без ушей — скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин,[26] просто возьми да и вышвырни за окошко! И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиною; но ведь пропал ни за что ни про что, пропал даром, ни за грош!.. Только нет, не может быть, — прибавил он, немного подумав. — Невероятно, чтобы нос пропал; никаким образом не вероятно. Это, верно, или во сне

снится, или просто грезится,[27] может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которою вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее.

Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с тою мыслию, что авось-либо нос покажется на своем месте; но в ту же минуту отскочил назад, сказавши:

— Экой пасквильный вид!

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное; — но пропасть, и кому же пропасть? и притом еще на собственной квартире!.. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было сорок два года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан: никто не входил к нему в комнату; цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел,[28] это он помнил и знал очень хорошо; притом была бы им чувствуема боль, и, без сомнения, рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы: звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность.

Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший:

— Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?

— Войдите. Майор Ковалев здесь, — сказал Ковалев, вскочивши поспешно и отворяя дверь.

Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исакиевского моста.

— Вы изволили затерять нос свой?

— Так точно.

— Он теперь найден.

— Что вы говорите? — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба на стоявшего перед ним квартального, на

полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. — Каким образом?

— Странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс[29] и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастию, были со мной очки,[30] и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит.

Ковалев был вне себя.

— Где же он? Где? Я сейчас побегу.

— Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей.[31] Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище[32] пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был.

При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.

— Так, он! — закричал Ковалев, — Точно, он! Откушайте сегодня со мною чашечку чаю.

— Почел бы за большую приятность, но никак не могу: мне нужно заехать отсюда в смирительный дом... Очень большая поднялась дороговизна на все припасы... У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие надежды: очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких...

Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию,[33] сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего с своею телегою как раз на бульвар.

Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать: в такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.

— Так, он, точно он! — говорил майор Ковалев. — Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня. Майор чуть не засмеялся от радости.

Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первою уже не так жива; в третью минуту она становится еще слабее и наконец незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено: нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место.

— А что, если он не пристанет?

При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел.

С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О ужас! Нос не приклеивался!.. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек; но нос никаким образом не держался.

— Ну! ну же! полезай, дурак! — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. — Неужели он не прирастет? — говорил он в испуге. Но сколько раз ни подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно.

Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в бельэтаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую, здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастие, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такою силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: «Гм!» Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: «Гм!» — и в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал,

— Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его; но я вас уверяю, что это для вас хуже.

— Вот хорошо! как же мне оставаться без носа? — сказал Ковалев. — Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что! Куда же я с этакою пасквильностию покажуся? Я имею хорошее знакомство: вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком: статская советница Чехтарева, Подточина — штаб-офицерша... хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только чрез полицию. Сделайте милость, — произнес Ковалев умоляющим голосом, — нет ли средства? как-нибудь приставьте; хоть не хорошо, лишь бы только держаться; я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уже будьте уверены, сколько дозволят мои средства...

— Верите ли, — сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим,[34] что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос; но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом или, еще лучше, влить туда две столовые ложки острой водки и подогретого уксуса, — и тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь.

— Нет, нет! ни за что не продам! — вскричал отчаянный майор Ковалев, — лучше пусть он пропадет!

— Извините! — сказал доктор, откланиваясь, — я хотел быть вам полезным... Что ж делать! По крайней мере, вы видели мое старание.

Сказавши это, доктор с благородною осанкою вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки.

Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания:

«Милостивая государыня
Александра Григорьевна!

Не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выигрываете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой. Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствие волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я с своей стороны почитаю долгом вас предуведомить: если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов.

Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть.

Ваш покорный слуга
Платон Ковалев».

«Милостивый государь
Платон Кузьмич![35]

Чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых

укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он, точно, искал руки моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ; то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовою к услугам вашим

Александра Подточина».

«Нет, — говорил Ковалев, прочитавши письмо. — Она точно не виновата. Не может быть! Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении. — Коллежский асессор был в этом сведущ потому, что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области. — Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» — сказал он наконец, опустив руки.

Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространялись по всей столице, и, как видите, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали весь город опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице[36] была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество.[37] Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера,[38] и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор[39] почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу; но, к большому негодованию своему, увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшою бородкою, — картинку, уже более десяти лет висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою: «Как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?»

Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда еще проживал там Хосрев-Мирза,[40] то очень удивлялся этой

странной игре природы. Некоторые из студентов Хирургической академии отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей.

Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.

III

Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля седьмого числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он: нос! — хвать рукою — точно нос! «Эге!» — сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тот же час дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало: нос! Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало: нос!

— А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик, — сказал он и между тем думал: «Вот беда, как Иван скажет: да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет!»

Но Иван сказал:

— Ничего-с, никакого прыщика: нос чистый!

«Хорошо, черт побери!» — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала.

— Говори вперед: чисты руки? — кричал еще издали ему Ковалев.

— Чисты.

— Врешь!

— Ей-богу-с, чисты, сударь.

— Ну, смотри же.

Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновенье с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах.

«Вишь ты! — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувши на нос, и потом перегнул голову за другую сторону и посмотрел на него сбоку. — Вона! эк его, право, как подумаешь», — продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца, с тем чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.

— Ну, ну, ну, смотри! — закричал Ковалев.

Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою; и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил.

Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» — а сам в ту же минуту к зеркалу: есть нос! Он весело оборотился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал об вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя чрез приемную, он взглянул в зеркало: есть нос! Потом поехал он к другому коллежскому асессору, или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну, уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогою он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что ни есть, сидит на своем месте». Но коллежский асессор ничего. «Хорошо, хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаниями; стало быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам, бабьё, куриный народ! а на дочке все-таки не женюсь. Так просто, par amour,* — изволь!» И майор Ковалев с тех пор прогуливался как ни в чем не бывало и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже как ни в чем не бывало сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в Гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку;[41] неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена.

Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть

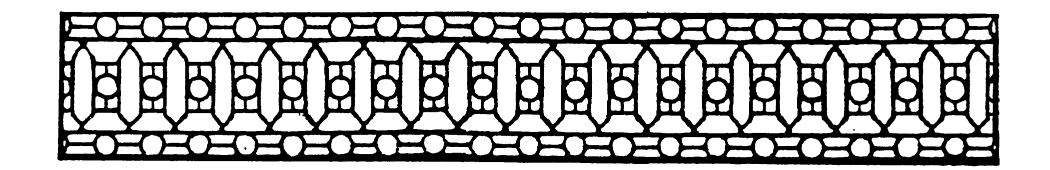
---

* по любви (*фр.*).

много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского советника, — как Ковалев не смекнул, что нельзя чрез газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже — как нос очутился в печеном хлебе и как сам Иван Яковлевич?.. нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непонятнее всего — это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это...

А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают.





ПОРТРЕТ

ЧАСТЬ I

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе.[1] Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, — вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хосрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах,[2] которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтриса Кирбитьевна,[3] на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей — куча. Какой-нибудь забулдыга лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит.

В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился

перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Еруcланов Лазаревичей*, на *объедал* и *обпивал*, на *Фому* и *Ерему*;[4] это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пестрых, грязных масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственности карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесл, бездарность, которая была верна, однако ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!.. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже наконец не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой, не бритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно.

— Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую.[5] Живопись-то какая! Просто глаз прошибет; только что получены с биржи,[6] еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима! — Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю добрóту зимы. — Прикажите связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку.

— Постой, брат, не так скоро, — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал:

— А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь, — и, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малеванья, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, — словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров.

Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку: «Сю-

да, батюшка, вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены». Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом, в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты.

Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит», — и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.

— А что же, возьмите портрет! — сказал хозяин.

— А сколько? — сказал художник.

— Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!

— Нет.

— Ну, да что ж дадите?

— Двугривенный, — сказал художник, готовясь идти.

— Эк цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный, Право, для почину только, вот только что первый покупатель.

Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай картина!»

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? на что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились; досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери! гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и

ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой легкий тон!» — и слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг.

Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в Пятнадцатую линию на Васильевский остров. С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались наконец позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожею, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он наконец спросил свечу.

— Свечи нет, — сказал Никита.

— Как нет?

— Да ведь и вчера еще не было, — сказал Никита.

Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть, и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

— Да вот еще, хозяин был, — сказал Никита.

— Ну, приходил за деньгами? знаю, — сказал художник, махнув рукой.

— Да он не один приходил, — сказал Никита.

— С кем же?

— Не знаю, с кем... какой-то квартальный.

— А квартальный зачем?

— Не знаю зачем; говорит, затем, что за квартиру не плачено.

— Ну, что ж из того выйдет?

— Я не знаю, что выйдет; он говорил: коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще прийти оба.

— Пусть их приходят, — сказал с грустным равнодушием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновеньями его кисть отзывалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат, — говорил ему не раз его профессор, — у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится — ты им занят, и прочее у тебя дрянь, прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна; ты уж гоняешься за модным освещеньем, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский род.[7] Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском... Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство — пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет».

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щегольнуть — словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля,[8] но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида,[9] останавливался перед портретами Тициана,[10] восхищался фламандцами.[11] Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним; но он уж прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда наконец сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображенье участь богача живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить все и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении.

— Да! терпи, терпи! — произнес он с досадою. — Есть же наконец и терпенью конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы

ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята недаром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, попытки — и всё будут этюды, попытки и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени; да и кому нужны рисунки с антиков из натурного класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты,[12] хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца? Что, в самом деле? Зачем я мучусь и, как ученик, копаюсь над азбукой, тогда как бы мог блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами.

Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел; на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпенье; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омокнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!»[13] Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это? — невольно вопрошал себя художник. — Ведь это, однако же, натура, это живая натура: отчего же это странно неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный

светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он ни великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца».

Он опять подошел к портрету, с тем чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собою бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно, сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив; но воображенье и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он наконец робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширмы и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего.

Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; и между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сиянье месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но наконец уже в самом деле... он видит, видит ясно: простыни уже нет... портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему вовнутрь... У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги,

выпрыгнул из рам... Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который наконец становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движенье — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено 1000 червонных. Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и, полный страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам — видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка. И вот — он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул и проснулся.

Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться: грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову; но страшная живость явленья не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постеле, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза.

Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это уже не сон; черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать... С воплем отчаянья отскочил он — и проснулся.

«Неужели и это был сон?» С биющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постеле в таком точно положенье, как заснул. Пред ним ширмы; свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею, так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, боже мой, что это!» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся.

И это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара, или домового, бред ли горячки, или живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненье и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо: изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул как убитый, самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара: голова его неприятно болела. В комнате было тускло: неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил наконец весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображенье так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного; только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выраже-

нии старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он верно остался бы у него в руке и после пробуждения.

«Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» — сказал он, тяжело вздохнувши, и в воображенье его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью: 1000 червонных. Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянье оторваться от такого предмета — как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чартков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в Пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской стороне, или в отдаленном углу Коломны, — творенье, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп; но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для того чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать; одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки.

— Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич, — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки, — вот не платит за квартиру, не платит.

— Что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу.

— Мне, батюшка, ждать нельзя, — сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке, — у меня вот Потогонкин подполковник живет, семь лет уж живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимает на два стойла, три при ней дворовых человека — вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.

— Да, уж если порядились, так извольте платить, — сказал квартальный надзиратель, с небольшим потряхиваньем головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.

— Да чем платить? — вопрос. У меня нет теперь ни гроша.

— В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича издельями своей профессии, — сказал квартальный, — он, может быть, согласится взять картинами.

— Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него, свиньи, портрет рисовать; ему я шею наколочу, он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее, со всем сором и дрязгом, какой ни валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, извольте сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна... Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец: свинья свиньей живет, просто не приведи бог.

И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриванием картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлениям.

— Хе, — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина, — предмет, того... игривый. А у этого зачем так под носом черно? табаком, что ли, он себя засыпал?

— Тень, — отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чартков.

— Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место, — сказал квартальный, — а это чей портрет? — продолжал он, подходя к портрету старика, — уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный; ахти, да он просто глядит! Эх, какой Громобой.[14] С кого вы писали?

— А это с одного... — сказал Чартков и не кончил слова: послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих; боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Чарткову бросилась в глаза надпись: 1000 червонных. Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившейся вниз от тяжести.

— Никак, деньги зазвенели, — сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движенья, с какою бросился Чартков прибрать.

— А вам какое дело знать, что у меня есть?

— А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру; что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, — вот что.

— Ну, я заплачу ему сегодня.

— Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите?

— Потому что этих денег мне не хотелось трогать; я ему сегодня же ввечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.

— Ну, Иван Иванович, он вам заплатит, — сказал квартальный, обращаясь к хозяину. — А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня ввечеру, тогда уж извините, господин живописец.

Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумье.

— Слава богу, черт их унес! — сказал Чартков, когда услышал затворившуюся в передней дверь.

Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетаньем разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, и все еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: «Не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета?» Полный романического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою: не связано ли существованье портрета с его собственным существованьем, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение? Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз: они уже не казались ему страшными; но все еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство. «Нет, — сказал он сам в себе, — чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновенья. «Что с ними сделать? — думал он, уставив на них глаза. — Теперь я обеспечен по крайней мере на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет; куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин.[15] И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником».

Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но изнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем двадцать два года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в... и прочее, — и он, схвативши деньги, был уже на улице.

Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстуков, более, чем было нужно, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторану французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе, так что остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем.

Все вещи и все, что ни было: станок, холст, картины — были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил, что было получше, на видные места, что похуже — забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чартков, Чартков! видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!» Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате, уносился ни весть куда. На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием «*О необыкновенных талантах Чарткова*»: «Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор

средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен: отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж — всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил фамильярность)! Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою».

С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно — это было для него новостию; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза «Виват, Андрей Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству — честь, доныне ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился на кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его; он побежал отворять. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее.

— Вы мсьё Чартков? — сказала дама.

Художник поклонился.

— Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства. — Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. — А где же ваши портреты?

— Вынесли, — сказал художник, несколько смешавшись, — я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге... не доехали.

— Вы были в Италии? — сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесть его.

— Нет, я не был, но хотел быть... впрочем, теперь покамест я отложил... Вот кресла-с, вы устали?..

— Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон, наконец, вижу вашу работу! — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. —

C'est charmant! Lise, Lise, venez ici![*] Комната во вкусе Теньера,[16] видишь: беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль, — видишь, как пыль нарисована! C'est charmant! А вон на другом холсте женщина, моющая лицо, — quelle jolie figure![**] Ах, мужичок! Lise, Lise, мужичок в русской рубашке! смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?

— О, это вздор... Так, шалил... этюды...

— Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той... как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была любительница живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии). Однако мсьё Ноль... ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсьё Ноля?

— Кто этот Ноль? — спросил художник.

— Мсьё Ноль. Ах, какой талант! он написал с нее портрет, когда ей было только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Lise, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет.

— Как же, я готов сию минуту.

И в одно мгновенье придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико.

— Знаете ли, — сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, — я бы хотела... на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли; я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща... чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств... простоты, простоты чтобы было больше.

(Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми).

---

* Это очаровательно! Лиза, Лиза, подойди сюда! (*фр.*)

** Какой прелестный облик (*фр.*).

Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все это в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали — и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии, одним движеньем кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который наконец начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.

— Довольно, на первый раз довольно, — сказала дама.

— Еще немножко, — говорил позабывшийся художник.

— Нет, пора! Lise, три часа! — сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула: — Ах, как поздно!

— Минуточку только, — говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.

Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.

«Это однако ж, досадно, — подумал про себя Чартков, — рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте — пиши с него сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей недели обедать и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком, в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем и опять проехался в карете по городу без всякой нужды.

Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство

портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери. «Ах, зачем это? это не нужно, — говорила дама. — У вас тоже... вот, в некоторых местах... как будто бы несколько желто и вот здесь совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; и что это ему только так кажется. «Но позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской », — сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивленье, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем,

что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумленья и всплеснули руками.

— Lise, Lise! Ах, как похоже! Superbe, superbe!* Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм. Ах, какой сюрприз!

Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестясь и потупя голову, он произнес тихо:

— Это Психея.

— В виде Психеи? C'est charmant! — сказала мать, улыбнувшись; причем улыбнулась также и дочь. — Не правда ли, Lise, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи? Quelle idée délicieuse!** Но какая работа! Это Корредж![17] Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет.

Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи.

«Что мне с ними делать? — подумал художник. — Если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется», — и произнес вслух:

— Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.

— Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не... она так теперь похожа.

Но художник понял, что опасенья были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выраженья глазам. А по справедливости, ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходство с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали наконец выходить яснее из облика Психеи.

— Довольно! — сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось наконец уж чересчур близко.

Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатьем руки, приглашеньем на обеды; словом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но, на беду, это всё был народ, с которым было трудно ладить, народ торопливый, занятой или же принадлежащий свету, — стало быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому

* Великолепно, великолепно! (*фр.*)

** Какая великолепная мысль! (*фр.*)

нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выраженье и не углубляться кистью в утонченные подробности; одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъяны и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумленье художника: та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая мечтательность, третья во что бы ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался наконец в одну точку, не больше булавочной головки. И несмотря на все это требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном, энергическом повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс,[18] гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требования: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона,[19] он давал ему байроновское положенье и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы,[20] он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.

Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его званье, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное

впечатление на дам; одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не все хорошо и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел[21] хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут, натурально, невольным образом доходило дело и до себя.

— Нет, я не понимаю, — говорил он, — напряженья других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне, труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня, — говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям, — этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я... я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это уже ремесло, а не художество.

Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания, услышав, как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу: «Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!»*

Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался, как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде и, будто бы ненарочно, показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положенье и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему невмочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека, — все это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских не много

* Есть что-то необыкновенное во всей его внешности! (*фр.*)

представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения, и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они всё еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Чарткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарованье в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.

Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет; стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные: «почтенный наш Андрей Петрович», «заслуженный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников, — не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех вступающих в такие лета, укорять без изъятия молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновенья свыше нет и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразья. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда все, дышащее порывом, сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательней в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадается в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердца человек, которому кажутся они движущимися каменными гробами с мертвецом внутри на место сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.

В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение

свое о новом, присланном из Италии, произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, — в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд и в не развлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, нещегольским нарядом.[22] Ему не было нужды, сердилась ли, или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, все отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть.[23] Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданьях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов.[24] Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и, наконец, оставил себе в учители одного божественного Рафаэля.[25] Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял наконец себе настольною книгой одну только «Илиаду» Гомера, открыв, что в ней все есть, чего хочешь, и что нет того, что бы не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши в залу, Чартков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиономию знатока и приблизился к картине; но, боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное как невеста, стояло пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Все тут, казалось, соединилось вместе: изученье Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было,

как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты все, вперившие глаза на картину, — ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась наконец в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда наконец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников, вроде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что; видно, что хотел он выразить что-то, однако же, что касается до главного...» И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.

С минуту, неподвижный и бесчувственный, стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить все это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынесть прочь из своей мастерской все последние произведенья, все

безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблагодарно было все то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!

«Но точно ли был у меня талант? — сказал он наконец, — не обманулся ли я?» И, произнесши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачужке на уединенном Васильевском острову, вдали людей, изобилья и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. «Да, — проговорил он отчаянно, — у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы...»

Он остановился и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращенья, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побужденья, погубившие его талант, — почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту ж минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волненье оттого не умирилось: все чувства и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться; ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду; ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска.[26] В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом

насажденья. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин.[27] Кроме ядовитого слова и вечного порицанья ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии,[28] попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточна отравить потом весь день.

К счастию мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

ЧАСТЬ II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры,[29] которые невинно прослыли меценатами и

простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпой посетителей, налетевших, как хищные птицы на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из гостиного двора и даже толкучего рынка, в синих немецких сюртуках. Вид их и выраженье лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то что в этой же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязаны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа; наконец, те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владетеля, может быть, не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты[30] — все было навалено, и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно: в нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусствам. Все это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатленья.

Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотали о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: «Рубль, рубль, рубль», — не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз был ресторирован и поновлен и

представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, с необыкновенным, странным выраженьем в лице; но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли вниманье почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набили неимоверную. Остались только два известные аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретенья. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес:

— Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякий другой, имею право на этот портрет.

Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: все показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших.

— Как ни странны вам покажутся слова мои, — продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, — но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Все меня уверяет, что портрет есть тот самый, которого я ищу.

Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того как рассказ его становился занимательней.

— Вам известна та часть города, которую называют Коломною. — Так он начал. — Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица, и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в Коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на 5 копеек кофею да на четыре сахару, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, — людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се, ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая.

В комнате их не много добра; иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за двенадцать часов ночи.

Жизнь в Коломне[31] страх уединенна; редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут всё пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц, даже с кофием поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеют из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют, старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи — таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мосту[32] до толкучего рынка, с тем чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние.

Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам; и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственнней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в душах их всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один... но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один — существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная

краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависшие густые брови[33] отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение, вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь Генуэзские купцы, — с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от нашей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва, по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих — это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распущенные слухи — это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны.

Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласно с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы,[34] издержал на это кучи денег и наконец расстроился. Но, полный великодушного движенья, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и наконец обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда на-беду случилась французская революция.[35] Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чуди-

лись намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал наконец подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть наконец престола. Великодушная государыня[36] ужаснулась и, полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волненье и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне: ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды, — все соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь.

Другой разительный пример произошел тоже в виду всех:[37] из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слиянье нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом и рыцарскими, великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандинсон[38] во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положенье дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и спустя непродолжительное время является окруженный пышно-

стью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог наверно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорных поклонников. Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движенье неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и, без сомнения, заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя — и в ужаснейших муках окончил жизнь.

Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волоса и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки... словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что все это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерную высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не слу-

чается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды — все, казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: «Дьявол, совершенный дьявол!» Но надобно вас поскорее познакомить с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории.

Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедший, по причинам, может быть неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою; одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом «невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул сам собой истинное значение слова «историческая живопись»,[39] постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет tableau de genre,* несмотря на все притязанья художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно и резко. «Что на них глядеть, — обыкновенно говорил он, — ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймет меня — поблагодарит, не поймет, все-таки помолится богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи; зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях — зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет! Всякому свое, всякий пусть занимается своим. По мне уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит». Он работал за небольшую плату, то есть, за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и для доставленья возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не

* жанровая картина (*фр.*).

отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику; веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, знаю только то — на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ; ему хотелось осуществить в лице его все тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно: «Вот бы с кого мне следовало написать дьявола». Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь, и вслед за тем прямо вошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробежала невольно по его телу.

— Ты художник? — сказал он без всяких церемоний моему отцу.

— Художник, — сказал отец в недоуменье, ожидая, что будет дальше.

— Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?

Отец мой подумал: «Чего лучше? — он сам просится в дьяволы ко мне на картину». Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые странными коврами, и, наконец, сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним, — все это произвело на него странное впечатление. Окна как нарочно были заставлены и загромождены снизу так, что давали свет только с одной верхушки. «Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо!» — сказал он про себя и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещенье. «Экая сила!» — повторил он про себя. — Если я хотя вполовину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов: они побледнеют пред ним. Какая дьявольская сила! он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты!» — повторял он беспрестанно, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальною точностью всякую незаметную черту и выраженье. Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя было и помыслить передать их точно, как были в натуре. Однако же во что бы то ни стало он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну... Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе

его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего зависит судьба его и существование в мире, что уже он тронул своею кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти и палитру и бросился опрометью вон из комнаты.

Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. Ввечеру того же дня узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тем с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена: он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему за то свое особенное расположенье. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец, к довершенью досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нет, не дам же молокососу восторжествовать! — говорил он. — Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь! Еще, слава богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь». И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался; добился наконец того, что на картину объявлен был конкурс и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника точно есть много таланта, — сказал он, — но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы

поверить самому такое обидное замечание и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был к неописанной своей досаде, услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движенье застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не заносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело все, что попадалось, и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.

— Что ты делаешь, что собираешься жечь? — сказал он и подошел к портрету. — Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да, это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя.

— А вот посмотрю, как они будут глядеть в огне, — сказал отец, сделавши движенье швырнуть его в камин.

— Остановись, ради бога! — сказал приятель, удержав его, — отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз.

Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.

По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес:

— Нет, это бог наказал меня; картина моя поделом понесла посрамленье. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться в ней.

Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался, сколько мог, загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал:

— Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное... Я ведьмам не верю, но, воля твоя: в нем сидит нечистая сила...

— Как? — сказал отец мой.

— А так, что с тех пор как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую... точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие... я и сам не умею сказать, сны ли это, или что другое: точно домовой тебя душит, и все мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта!

Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и наконец спросил:

— И портрет теперь у твоего племянника?

— Куда у племянника! не выдержал, — сказал весельчак, — знать, душа самого ростовщика переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате; и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук.

Этот рассказ произвел сильное впечатленье на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и, наконец, совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзанья зависти, и проч., и проч. Три случившиеся вслед за тем несчастия, три внезапные смерти — жены, дочери и малолетнего сына — почел он небесною казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там, строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил, он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконец уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословенья настоятеля в пустынь, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте

с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых. Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было точно чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смиренья и кротости в лице пречистой матери, склонившейся над младенцем, глубокий разум в очах божественного младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, — все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатленье было магическое. Вся братья поверглась на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая высшая сила водила твоею кистью и благословенье небес почило на труде твоем».

В это время окончил я свое ученье в Академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию — лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже 12 лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бденья. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец! И следов изможденья не было заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия,[40] которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякий мой собрат сделал то же.

— Я ждал тебя, сын мой, — сказал он, когда я подошел к его благословенью. — Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар бога — не погуби его. Исследуй, изучай все, что ни видишь, покори всё кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блажен из-

бранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волненья мирского; во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, — во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к богу. Но есть минуты, темные минуты...

Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако.

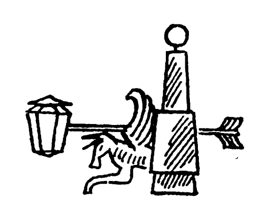
— Есть одно происшествие в моей жизни, — сказал он. — Доныне я не могу понять, чтó был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существованье дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным природе. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства — не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассеивает томительные впечатленья, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его, и указывает на него пальцем, и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна.

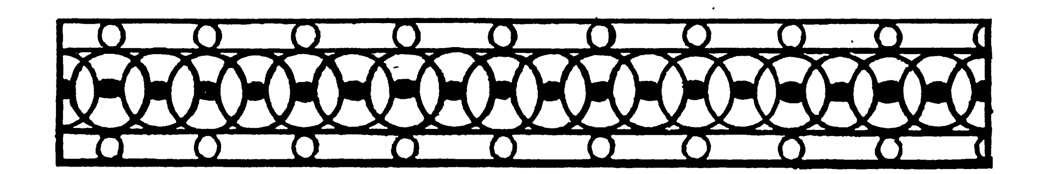
Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах.

— Исполни, сын мой, одну мою просьбу, — сказал он мне уже при самом расставанье. — Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению, — во что бы то ни было истреби его...

Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжение целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь, на аукционе...

Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену, с тем чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова: «Украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманьем слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.





ШИНЕЛЬ

В департаменте ... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника,[1] не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где, чрез каждые десять страниц, является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем *одним департаментом*. Итак, *в одном департаменте* служил *один чиновник*; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на-вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица чтó называется геморроидальным... Чтó ж делать! виноват петербургский климат. Чтó касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был тó, чтó называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было: Акакий Акакиевич.[2] Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта.[3] Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена

квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожá не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника[4] прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите», или: «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низень-

кий чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным.

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу,[5] да нажил геморой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, чтó делается и происходит всякий день на улице, на чтó, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка,[6] — чтó вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на чтó, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине улицы. Приходя домой, он садился тот же час на стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, чтó ни посылал бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, — когда все уже отдохнуло после департаментского скрыпенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, чтó задает себе добровольно, больше даже чем нужно, неугомонный человек, — когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, — словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист,[7] прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте,[8] которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента,[9] — словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, — Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать завтра? Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья[10] умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натоптаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка,[11] сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом.[12] В самом деле она имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачиванье других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило, точно, мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, — разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то, нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только тó, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться, по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардей-

ские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакий Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: «Не лезет, ва́рварка; уела ты меня, шельма этакая!» Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражем, или, как выражалась жена его, «осадился сивухой, одноглазый черт». В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакиевич невольно выговорил:

— Здравствуй, Петрович!

— Здравствовать желаю, судырь, — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.

— А я вот к тебе, Петрович, того...

Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «Это, право, совершенно то-

го...» — а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.

— Что ж такое? — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и петлей, — что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных: это первое, что он сделает при встрече.

— А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно... вот видишь, везде в других местах, совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того... на спине, да еще вот на плече одном немного попротерлось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и все. И работы немного...

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом наклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и наконец сказал:

— Нет, нельзя поправить: худой гардероб!

У Акакия Акакиевича при этих словах екнуло сердце.

— Отчего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребенка, — ведь только всего что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки...

— Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, — сказал Петрович, — да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет.

— Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.

— Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, подержка больно велика. Только слава что сукно, а подуй ветер, так разлетится.

— Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того!..

— Нет, — сказал Петрович решительно, — ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам придется новую делать.

При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного того генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки.

— Как же новую? — сказал он, все еще как будто находясь во сне, — ведь у меня и денег на это нет.

— Да, новую, — сказал с варварским спокойствием Петрович.

— Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того...

— То есть что будет стоить?

— Да.

— Да три полсотни с лишком надо будет приложить, — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.

— Полтораста рублей за шинель! — вскрикнул бедный Акакий Акакиевич, вскрикнул, может быть, в первый раз от-роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

— Да-с, — сказал Петрович, — да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу да пустить капишон на шелковой подкладке, так и в двести войдет.

— Петрович, пожалуйста, — говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов, — как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.

— Да нет, это выйдет: и работу убивать и деньги попусту тратить, — сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный.

А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил да и портного искусства тоже не выдал.

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. «Этаково-то дело этакое, — говорил он сам себе, — я, право, и не думал, чтобы оно вышло того... — а потом, после некоторого молчания, прибавил: — Так вот как! наконец вот что́ вышло, а я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак». Засим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: «Так этак-то! вот какое уж, точно никак неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!» Сказавши это, он, вместо того, чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка[13] на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: «Чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле, самом сердечном и близком. «Ну нет, — сказал Акакий Акакиевич, — теперь с Петровичем нельзя толковать; он теперь того... жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром: он после канунешной

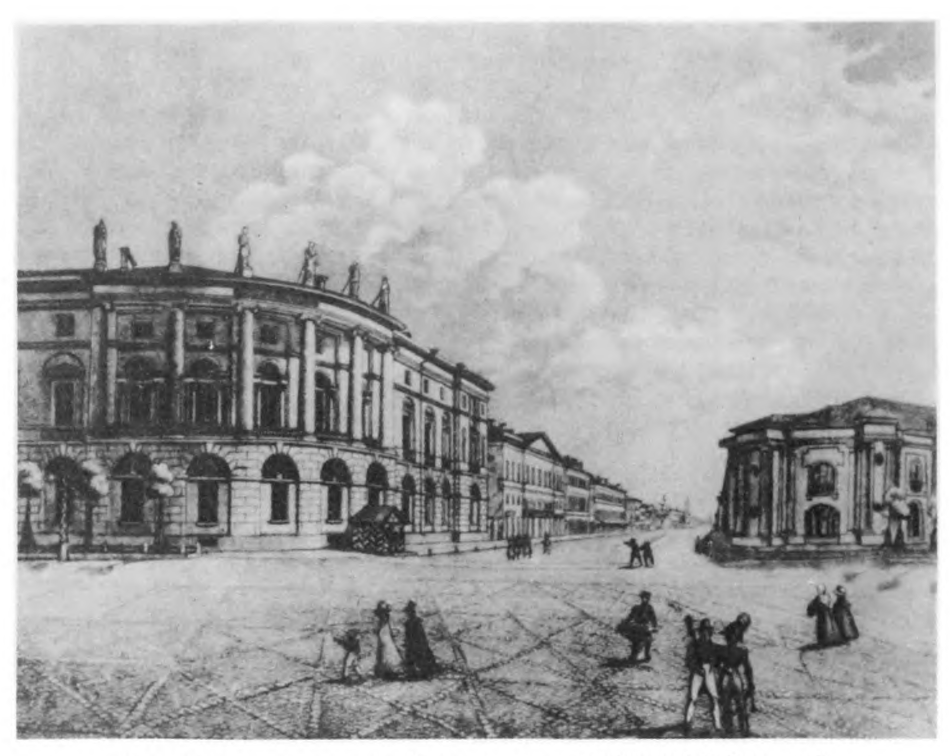
субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговорчивее и шинель тогда и того...» Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. «Нельзя, — сказал, — извольте заказать новую». Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек. «Благодарствую, судырь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье, — сказал Петрович, — а уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим».

Акакий Акакиевич еще-было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал: «Уж новую я вам сошью беспременно, в в этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода: воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике».[14]

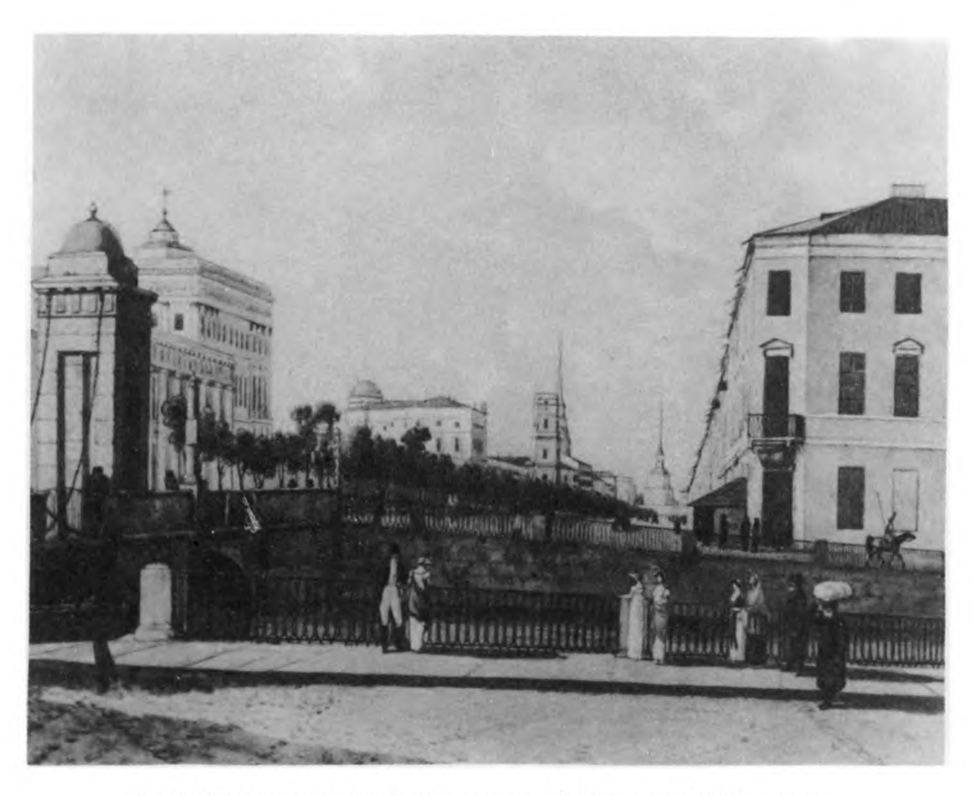
Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же, в самом деле, на что́, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уже размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи, да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге, — словом, все деньги совершенно должны были разойтися; и если бы даже директор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных определил бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что ты с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не сто́ит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать; однако все же откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и, таким образом, в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся сумма более, чем на сорок рублей. Итак, половина была в руках; но где же взять другую половину?



Вид Казанского собора в Петербурге. Ф. Алексеев. 1800-е годы.



Угол Невского проспекта и Садовой улицы с Публичной библиотекой. Неизвестный художник. Около XIX века.



Невский проспект. Вид с реки Фонтанки. А. Мартынов. 1800-е годы.



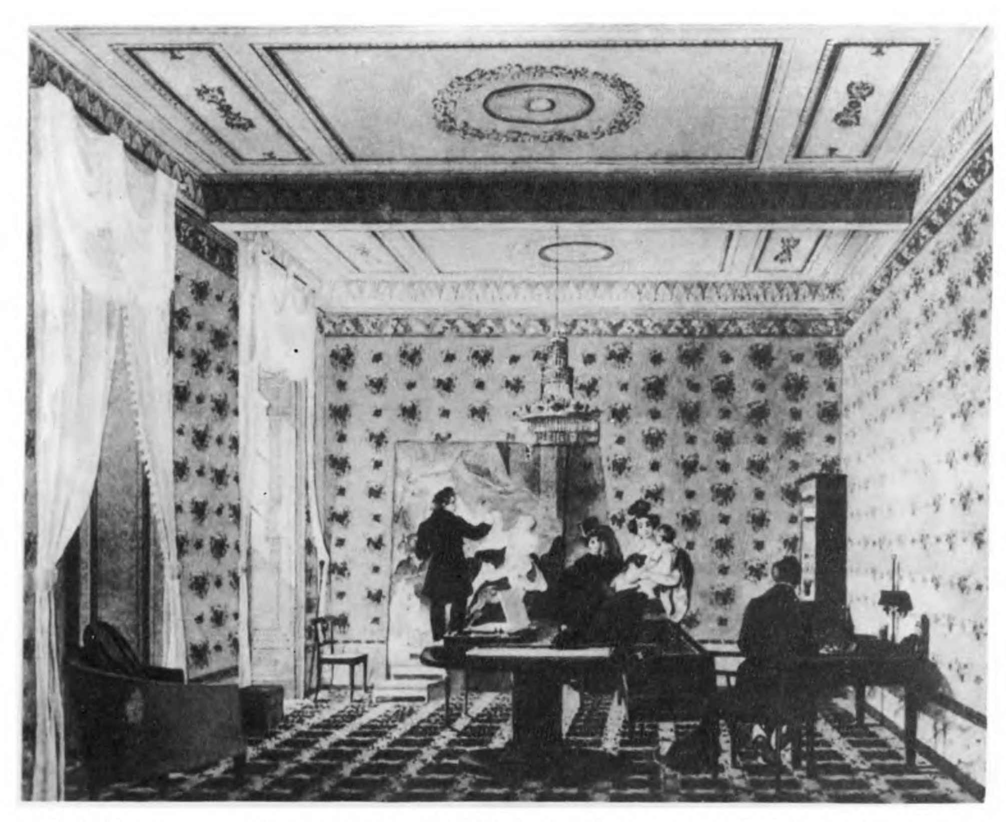
Конюшенный мост. А. Мартынов. 1821—1822 годы.



Набережная Мойки возле Департамента императорских конюшен. А. Мартынов. 1809 год.



Симеоновский мост. А. Мартынов. 1821—1822 годы.



К. П. Брюллов пишет портрет графини О. И. Орловой-Давыдовой. Н. Е. Ефимов. 1834 год.



«Два часа на Невском проспекте».
Рисунок из альбома 1830-х годов.



«6 часов утра» (Трубочист).
Акварель из альбома 1830-х годов.



«Искатель службы».
Рисунок из альбома 1830-х годов.



«Будочник на нашей улице».
Рисунок из альбома 1830-х годов.



Фонарщик.
Рисунок из альбома 1830-х годов.



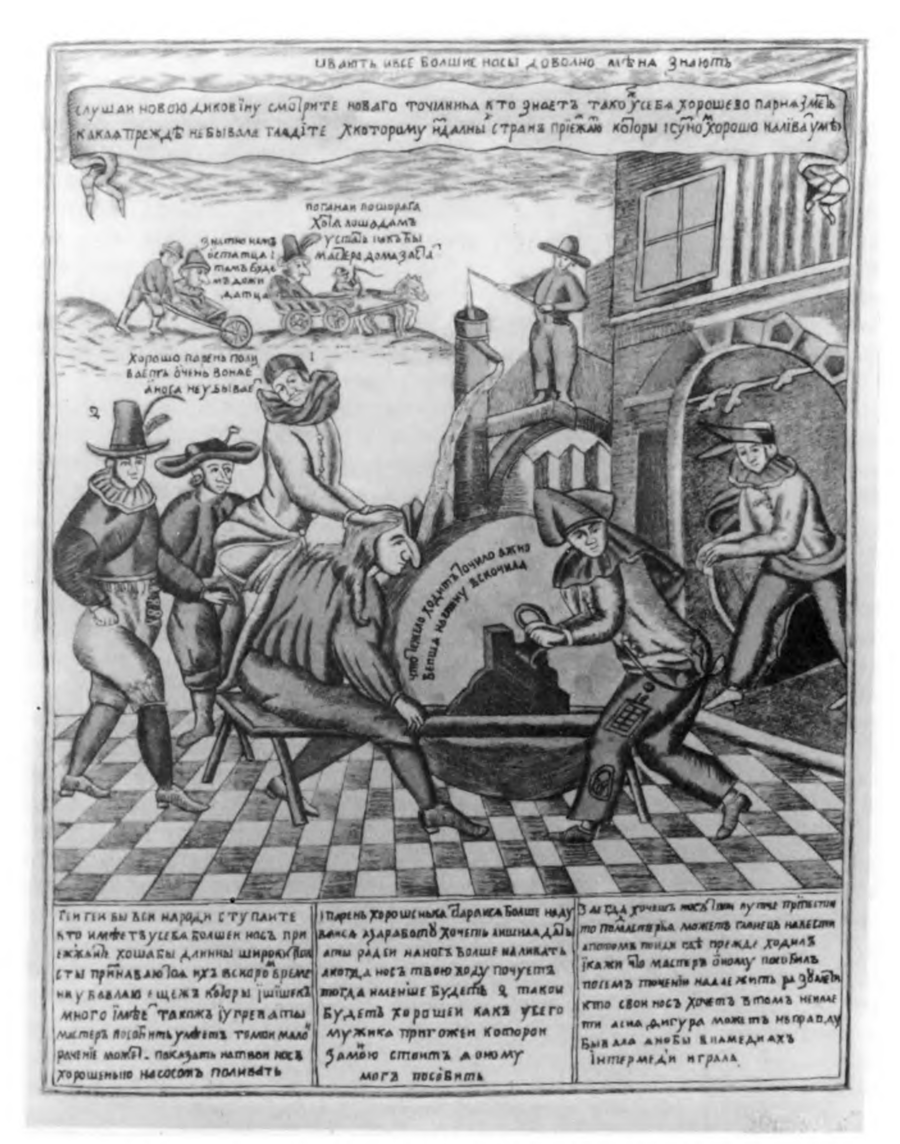
«Похождение о носе и сильном морозе». *Ровинский Д. А.* Русские народные картинки. СПб., 1881. Т. 1. № 183.



«Шут Гонос». *Ровинский Д. А.* Русские народные картинки. СПб., 1881. Т. 1. № 209а.



«Фарнос — красный нос». *Ровинский Д. А.* Русские народные картинки. СПб., 1881. Т. 1. № 2096.



«Точильщик носов». *Ровинский Д. А.* Русские народные картинки. СПб., 1881. Т. 1. № 212а, б.



Картинки-оборотни. *Ровинский Д. А.* Русские народные картинки. СПб., 1881. Т. 1. № 284.

Где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если чтó понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним; как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник[15]? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «ух!» и перекрестился. В продолжение каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей; уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца небольшого голодания — и у Акакия Акакиевича набралось точно около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорогá; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было

всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей — меньше никак нельзя было: все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это было... трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки; он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава, — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору. Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево; а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: одно тó, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отгово-

риться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал-было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: «Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник». Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь через тó случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил, для сравненья, прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постеле, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и все, чтó ни есть в Петербурге, все улицы и домы слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города, — стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы, с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками,[16] утыканными позолоченными гвоздочками, — напротив, всё попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на все это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши, таким образом, всю ногу, очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой испаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся, и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе не знакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: «Ну, уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того...» А может быть, даже и

этого не подумал — ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать всё, чтó он ни думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели всё шинели, да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт и смутно поразили слух его: беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, чтó ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич, хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его и шинель и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это: шум, говор и толпа людей, — все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более что уже давно наступило то время, в которое он, по обыкновению, ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшую на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал-было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые

даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью[17] с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.

Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», — подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя!» — сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел-было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак, величиною в чиновничью голову, примолвив: «А вот только крикни!» Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до конца площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он, вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее

в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: спит; он пришел в одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так что наконец Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай в его жизни). На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же, многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителя, — итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему; а лучше всего, чтобы он обратился к одному *значительному лицу*, что *значительное лицо*, спишась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился идти к *значительному лицу*. Какая именно и в чем состояла должность *значительного лица*, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что *одно значительное лицо* недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность;

чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже, таким образом, доходило дело до него. Так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее «комнатой присутствия», и поставил у дверей каких-то капельдинеров[18] с красными воротниками, в галстуках, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в «комнате присутствия» насилу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи *значительного лица* были солидны и величественны, но не многосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и — строгость», — говаривал он обыкновенно и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе; завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал стоя ввытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамилиарно, и не уронит ли он чрез то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то *значительному лицу* явился наш Акакий Акакиевич, и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то чиновник». — «А! может подождать, теперь не время», — сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке

и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович!» — «Этак-то, Степан Варламович!» Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник; скажите ему, что он может войти». Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал: «Чтó вам угодно?» — голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заранее у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц «того», что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтобы он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с г. обер-полицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамилиарным.

— Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне...

— Но, ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, — я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народ.[19]

— Что, что, что? — сказал значительное лицо. — Откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших!

Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало-быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет.

— Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.

Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул

на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу,[20] и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины; а впрочем, тут же объявил ему чрез полтора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог». Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горемычной своей жизни, — ничего этого не известно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство!» — то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство». Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть[21] белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, бог знает: об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого

не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость[22] в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как обрушивалось на царей и повелителей мира... Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож, с приказанием немедленно явиться: начальник-де требует; но сторож должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может больше прийти, и на запрос «почему?» выразился словами: «Да так, уж он умер, четвертого дня похоронили». Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

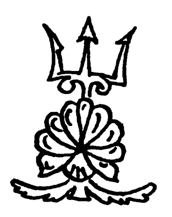
Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец[23] в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, — словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергиванья шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца, во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жестойчайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно будочник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил-было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку[24] с табаком, освежить на время шесть раз на веку примороженный нос свой; но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершен-

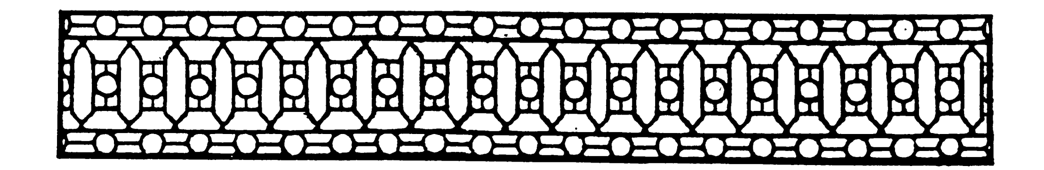
но забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он, точно, в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: «Эй, ты, ступай своею дорогою!» — и мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили *одно значительное лицо*, который, по-настоящему, едва ли не был причиною фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего долг справедливости требует сказать, что *одно значительное лицо*, скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на тó что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бедный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, чтó он и как и нельзя ли в самом деле чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а чтó всего лучше — все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен — словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского — средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать его руку, приговаривая: «bonjour, papa».* Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, стал в сани и сказал кучеру: «К Каролине Ивановне», — а сам, закутавшись

* добрый день, папá (*фр.*).

весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова́, заставившие хохотать небольшой круг; многие из них он даже повторил вполголоса и нашел, что они всё так же смешны, как и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг бог знает откуда и нивесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя, таким образом, вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, — отдавай же теперь свою!» Бедное *значительное лицо* чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: «У, какой характер!» — но здесь он, подобно весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!» Кучер, услышавши голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался как стрела. Минут в шесть с небольшим значительное лицо уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете, понимаете, кто перед вами?»; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно тó, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за родного дома привидение; но, будучи по природе

своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак, — итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» — и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего», — да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы[25] и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту,[26] скрылось совершенно в ночной темноте.





ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

Октября 3.

Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Я встал поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил, который час. Услышавши, что уже давно било десять, я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит: «Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой? Ты иной раз метаешься, как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет, в титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера». Проклятая цапля! он, верно, завидует, что я сижу в директорском кабинете и починиваю перья для его пр-ва. Словом, я не пошел бы в департамент, если бы не надежда видеться с казначеем и авось-либо выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь из жалованья вперед. Вот еще создание! Чтобы он выдал когда-нибудь вперед за месяц деньги — господи боже мой, да скорее Страшный суд придет. Проси, хоть тресни, хоть будь в разнужде, — не выдаст, седой черт. А на квартире собственная кухарка бьет его по щекам. Это всему свету известно. Я не понимаю выгод служить в департаменте. Никаких совершенно ресурсов. Вот в губернском правлении,[1] гражданских и казенных палатах[2] совсем другое дело: там, смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую он дачу нанимает! Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси к нему: «Это, говорит, докторский подарок»; а ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в триста. С виду такой тихенький, говорит так деликатно: «Одолжите ножичка починить перышко», а там обчистит так, что только одну рубашку оставит на просителе. Правда, у нас зато служба благородная, чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению: столы из красного дерева, и все начальники на *вы*. Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент.

Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел проливной дождик. На улицах не было никого; одни только бабы, накрывшись полами платья, да русские купцы под зонтиками, да кучера попадались мне

на глаза. Из благородных только наш брат чиновник плелся. Я увидел его на перекрестке. Я, как увидел его, тотчас сказал себе: «Эге! нет, голубчик, ты не в департамент идешь, ты спешишь вон за тою, что бежит впереди, и глядишь на ее ножки». Что это за бестия наш брат чиновник! Ей-богу, не уступит никакому офицеру: пройди какая-нибудь в шляпке, непременно зацепит. Когда я думал это, увидел подъехавшую карету к магазину, мимо которого я проходил. Я сейчас узнал ее. Это была карета нашего директора. «Но ему незачем в магазин, — я подумал, — верно, это его дочка». Я прижался к стенке. Лакей отворил дверцы, и она выпорхнула из кареты, как птичка. Как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами... Господи, боже мой! пропал я, пропал совсем. И зачем ей выезжать в такую дождевую пору. Утверждай теперь, что у женщин не велика страсть до всех этих тряпок. Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться как можно более, потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона. Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие, один на другом; да и сукно совсем не дегатированное.[3] Собачонка ее, не успевши вскочить в дверь магазина, осталась на улице. Я знаю эту собачонку. Ее зовут: Меджи. Не успел я пробыть минуту, как вдруг слышу тоненький голосок: «Здравствуй, Меджи!» Вот тебе на! кто это говорит? Я обсмотрелся и увидел под зонтиком шедших двух дам: одну старушку, другую молоденькую; но они уже прошли, а возле меня опять раздалось: «Грех тебе, Меджи!» Что за черт! я увидел, что Меджи обнюхивалась с собачонкою, шедшею за дамами. «Эге!» — сказал я сам себе, — да полно, не пьян ли я? Только это, кажется, со мною редко случается. — «Нет, Фидель, ты напрасно думаешь, — я видел сам, что произнесла Меджи, — я была, ав! ав! я была, ав, ав, ав! очень больна». Ах ты, ж, собачонка! Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящею по-человечески. Но после, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда же перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю. Но, признаюсь, я гораздо более удивился, когда Меджи сказала: «Я писала к тебе Фидель; верно, Полкан не принес письма моего!» Да чтоб я не получил жалованья! Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин. Оно, конечно, некоторые и купчики-конторщики и даже крепостной народ пописывает иногда; но их писание большею частью механическое: ни запятых, ни точек, ни слога.

Это меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал. «Пойду-ка я, — сказал я сам в себе, — за этой собачонкою и узнаю, чтó она и чтó такое думает».

Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную,[4] наконец, к Кокушкину мосту и остановились перед большим домом. «Этот дом я знаю, — сказал я сам в себе. — Это дом Зверкова».[5] Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько приезжих! а нашей братьи чиновников как собак, один на другом сидит. Там есть и у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Дамы взошли в пятый этаж. «Хорошо, — подумал я, — теперь не пойду, а замечу место и при первом случае не премину воспользоваться».

Октября 4.

Сегодня середа, и потому я был у нашего начальника в кабинете. Я нарочно пришел пораньше и, засевши, перечинил все перья. Наш директор должен быть очень умный человек. Весь кабинет его уставлен шкафами с книгами. Я читал название некоторых: все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет: все или на французском, или на немецком. А посмотреть в лицо ему: фу, какая важность сияет в глазах! Я еще никогда не слышал, чтобы он сказал лишнее слово. Только разве, когда подашь бумаги, спросит: «Каково на дворе?» — «Сыро, ваше превосходительство!» Да, не нашему брату чета! Государственный человек. Я замечаю, однако же, что он меня особенно любит. Если бы и дочка... эх, канальство!.. Ничего, ничего, молчание! Читал «Пчелку». Эка глупый народ французы![6] Ну, чего хотят они? Взял бы, ей-богу, их всех, да и перепорол розгами! Там же читал очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком.[7] Курские помещики хорошо пишут. После этого заметил я, что уже было половину первого, а наш не выходил из своей спальни. Но около половины второго случилось происшествие, которого никакое перо не опишет. Отворилась дверь, я думал, что директор, и вскочил со стула с бумагами; но это была она, она сама! Святители, как она была одета! платье на ней было белое, как лебедь; фу, какое пышное! а как глянула: солнце, ей-богу, солнце! Она поклонилась и сказала: «Папá здесь не было?» Ах, ай, ай! какой голос! Канарейка, право, канарейка!! «Ваше превосходительство, — хотел я было сказать, — не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою». Да, черт возьми, как-то язык не поворотился, и я сказал только: «Никак нет-с». Она поглядела на меня, на книги и уронила платок. Я кинулся со всех ног, подскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа, однако ж удержался и достал платок. Святые, какой платок! тончайший, батистовый — амбра, совершенная амбра! так и дышит от него генеральством. Она побла-

годарила и чуть-чуть усмехнулась, так что сахарные губки ее почти не тронулись, и после этого ушла. Я еще час сидел, как вдруг пришел лакей и сказал: «Ступайте, Аксентий Иванович, домой, барин уже уехал из дому». Я терпеть не могу лакейского круга: всегда развалится в передней и хоть бы головою потрудился кивнуть. Этого мало: один раз одна из этих бестий вздумала меня, не вставая с места, потчевать табаком. Да знаешь ли ты, глупый холоп, что я чиновник, я благородного происхождения. Однако ж я взял шляпу и надел сам на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадут, и вышел. Дома большею частию лежал на кровати. Потом переписывал очень хорошие стишки: «Душеньки часок не видя, Думал, год уж не видал; Жизнь мою возненавидя, Льзя ли жить мне, я сказал».[8] Должно быть, Пушкина сочинение. Ввечеру, закутавшись в шинель, ходил к подъезду ее пр-ва и поджидал долго, не выйдет ли сесть в карету, чтобы посмотреть еще разик, — но нет, не выходила.

Ноября 6.

Разбесил начальник отделения.[9] Когда я пришел в департамент, он подозвал меня к себе и начал мне говорить так: «Ну, скажи, пожалуйста, что ты делаешь?» — «Как что? Я ничего не делаю», — отвечал я. «Ну размысли хорошенько! ведь тебе уже за сорок лет — пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себе? Ты думаешь, я не знаю всех твоих проказ? Ведь ты волочишься за директорскою дочерью! Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? ведь ты нуль, более ничего. Ведь у тебя нет ни гроша за душою. Взгляни хоть в зеркало на свое лицо, куды тебе думать о том!» Черт возьми, что у него лицо похоже несколько на аптекарский пузырек, да на голове клочок волос, завитый хохолком, да держит ее кверху, да примазывает ее какою-то розеткою, так уже думает, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отчего он злится на меня. Ему завидно: он увидел, может быть, предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный советник! вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги по тридцати рублей — да черт его побери! я разве из каких-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских детей.[10] Я дворянин. Что же, и я могу дослужиться. Мне еще сорок два года — время такое, в которое, по-настоящему, только что начинается служба. Погоди, приятель! будем и мы полковником, а может быть, если бог даст, то чем-нибудь и побольше. Заведем и мы себе репутацию еще и получше твоей. Что ж ты себе забрал в голову, что, кроме тебя, уже нет вовсе порядочного человека? Дай-ка мне ручевский фрак,[11] сшитый по моде, да повяжи я себе такой же, как ты, галстук, — тебе тогда не стать мне и в подметки. Достатков нет — вот беда.

Ноября 8.

Был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся. Был еще какой-то водевиль с забавными стишками на стряпчих, особенно на одного коллежского регистратора, весьма вольно написанные, так что я дивился, как пропустила цензура, а о купцах прямо говорят, что они обманывают народ и что сынки их дебошничают и лезут в дворяне. Про журналистов тоже очень забавный куплет: что они любят все бранить и что автор просит от публики защиты. Очень забавные пиесы пишут нынче сочинители. Я люблю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане — никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братьи чиновников есть такие свиньи: решительно не пойдет, мужик, в театр; разве уже дашь ему билет даром. Пела одна актриса очень хорошо. Я вспомнил о той... эх, канальство!.. ничего, ничего... молчание.[12]

Ноября 9.

В восемь часов отправился в департамент. Начальник отделения показал такой вид, как будто бы он не заметил моего прихода. Я тоже с своей стороны, как будто бы между нами ничего не было. Пересматривал и сверял бумаги. Вышел в четыре часа. Проходил мимо директорской квартиры, но никого не было видно. После обеда большею частию лежал на кровати.

Ноября 11.

Сегодня сидел в кабинете нашего директора, починил для него двадцать три пера, и для ее, ай! ай!.. для ее превосходительства четыре пера. Он очень любит, чтобы стояло побольше перьев. У! должен быть голова! Все молчит, а в голове, я думаю, все обсуживает. Желалось бы мне узнать, о чем он больше всего думает; что такое затевается в этой голове. Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и придворные штуки — как они, что они делают в своем кругу, — вот что бы мне хотелось узнать! Я думал несколько раз завести разговор с его п-вом, только, черт возьми, никак не слушается язык: скажешь только, холодно или тепло на дворе, а больше решительно ничего не выговоришь. Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиною еще в одну комнату. Эх, какое богатое убранство! Какие зеркала и фарфоры! Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее пр-во, — вот куда хотелось бы мне! В будуар: как там стоят все эти баночки, скляночки, цветы такие, что и дохнуть на них страшно; как лежит там разбросанное ее платье, больше похожее на воздух, чем на платье. Хотелось бы заглянуть в спальню... там-то, я думаю, чудеса, там-то, я думаю, рай, какого и на небесах нет. Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она становит, вставая с постели, свою

ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек... ай! ай! ай! ничего, ничего... молчание.

Сегодня, однако ж, меня как-бы светом озарило: я вспомнил тот разговор двух собачонок, который слышал я на Невском проспекте. «Хорошо, — подумал я сам в себе, — я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянные собачонки. Там я, верно, кое-что узнаю». Признаюсь, я даже подозвал было к себе один раз Меджи и сказал: «Послушай, Меджи, вот мы теперь одни; я, когда хочешь, и дверь запру, так что никто не будет видеть, — расскажи мне все, что знаешь про барышню, чтó она и как? Я тебе побожусь, что никому не открою». Но хитрая собачонка поджала хвост, съежилась вдвое и вышла тихо в дверь так, как будто бы ничего не слышала. Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека; я даже был уверен, что она может и говорить, но что в ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайно политик: все замечает, все шаги человека. Нет, во что бы то ни стало, я завтра же отправляюсь в дом Зверкова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу все письма, которые писала к ней Меджи.

Ноября 12.

В два часа пополудни отправился с тем, чтобы непременно увидеть Фидель и допросить ее. Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской; к тому же из-под ворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускают копоти и дыму из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться. Когда я пробрался в шестой этаж и позвонил в колокольчик, вышла девчонка, не совсем дурная собою, с маленькими веснушками. Я узнал ее. Это была та самая, которая шла вместе со старушкою. Она немножко закраснелась, и я тотчас смекнул: ты, голубушка, жениха хочешь. «Что вам угодно?» — сказала она. — «Мне нужно поговорить с вашей собачонкой». Девчонка была глупа! я сейчас узнал, что глупа! Собачонка в это время прибежала с лаем; я хотел ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за нос. Я увидел, однако же, в углу ее лукошко. Э, вот этого мне и нужно! Я подошел к нему, перерыл солому в деревянной коробке и, к необыкновенному удовольствию своему, вытащил небольшую связку маленьких бумажек. Скверная собачонка, увидевши это, сначала укусила меня за икру, а потом, когда пронюхала, что я взял бумаги, начала визжать и ластиться, но я сказал: «Нет, голубушка, прощай!» — и бросился бежать. Я думаю, что девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотел было тот же час приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свечах несколько дурно вижу. Но Мавра вздумала мыть пол. Эти глупые чухонки всегда некстати чистоплотны. И потому я пошел прохаживать-

ся и обдумывать это происшествие. Теперь-то наконец я узна́ю все дела, помышления, все эти пружины и доберусь наконец до всего. Эти письма мне все откроют. Собаки народ умный, они знают все политические отношения, и потому, верно, там будет все: и портрет и все дела этого мужа. Там будет что-нибудь и о той, которая... ничего, молчание! К вечеру я пришел домой. Большею частию лежал на кровати.

Ноября 13.

А ну, посмотрим: письмо довольно четкое. Однако же в почерке все есть как будто что-то собачье. Прочитаем:

Милая Фидель, я все не могу привыкнуть к твоему мещанскому имени. Как будто бы уже не могли дать тебе лучшего? Фидель, Роза — какой пошлый тон! однако ж все это в сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать друг другу.

Письмо писано очень правильно. Пунктуация и даже буква ъ везде на своем месте. Да эдак просто не напишет и наш начальник отделения, хотя он и толкует, что где-то учился в университете. Посмотрим далее:

Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете.

Гм! мысль почерпнута из одного сочинения, переведенного с немецкого. Названия не припомню.

Я говорю это по опыту, хотя и не бегала по свету далее ворот нашего дома. Моя ли жизнь не протекает в удовольствии? Моя барышня, которую папа́ называет Софи, любит меня без памяти.

Ай, ай!.. ничего, ничего. Молчание!

Папа́ тоже очень часто ласкает. Я пью чай и кофий со сливками. Ах, ma chére,* я должна тебе сказать, что я вовсе не вижу удовольствия в больших обглоданных костях, которые жрет на кухне наш Полкан. Кости хороши только из дичи, и притом тогда, когда еще никто не высосал из них мозга. Очень хорошо мешать несколько соусов вместе, но только без каперсов и без зелени; но я не знаю ничего хуже обыкновения давать собакам скатанные из хлеба шарики. Какой-нибудь сидящий за столом господин, который в руках своих держал всякую дрянь, начнет мять этими руками хлеб, подзовет тебя и сунет тебе в зубы шарик. Отказаться как-то неучтиво, ну и ешь; с отвращением, а ешь...

Черт знает что такое! Экой вздор! Как будто бы не было предмета получше, о чем писать. Посмотрим на другой странице. Не будет ли чего подельнее.

---

* моя милая (*фр.*).

Я с большой охотою готова тебя уведомлять о всех бывающих у нас происшествиях. Я уже тебе кое-что говорила о главном господине, которого Софи называет папá. Это очень странный человек.

А! вот наконец! Да, я знал: у них политический взгляд на все предметы. Посмотрим, чтó папá:

...очень странный человек. Он больше молчит. Говорит очень редко; но неделю назад беспрестанно говорил сам с собою: «Полýчу или не получу?» Возьмет в одну руку бумажку, другую сложит пустую и говорит: «Получу или не получу?» Один раз он обратился и ко мне с вопросом: «Как ты думаешь, Меджи? получу или не получу?» Я ровно ничего не могла понять, понюхала его сапог и ушла прочь. Потом, ma chére, через неделю папá пришел в большой радости. Все утро ходили к нему господа в мундирах и с чем-то поздравляли. За столом он был так весел, как я еще никогда не видала, отпускал анекдоты, а после обеда поднял меня к своей шее и сказал: «А посмотри, Меджи, что это такое». Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромáта; наконец потихоньку лизнула: соленое немного.

Гм! Эта собачонка, мне кажется, уже слишком... чтобы ее не высекли! А! так он честолюбец! Это нужно взять к сведению.

Прощай, ma chére, я бегу и прочее... и прочее... Завтра окончу письмо. Ну, здравствуй! я теперь снова с тобою. Сегодня барышня моя Софи...

А! ну, посмотрим, что Софи. Эх, канальство!.. Ничего, ничего... будем продолжать.

...барышня моя Софи была в чрезвычайной суматохе. Она собиралась на бал, и я обрадовалась, что в отсутствие ее могу писать к тебе. Моя Софи всегда чрезвычайно рада ехать на бал, хотя при одевании всегда почти сердится. Я никак не понимаю, ma chére, удовольствия ехать на бал. Софи приезжает с балу домой в шесть часов утра, и я всегда почти угадываю по ее бледному и тощему виду, что ей, бедняжке, не давали там есть. Я, признаюсь, никогда бы не могла так жить. Если бы мне не дали соуса с рябчиком или жаркого куриных крылышек, то... я не знаю, что бы со мною было. Хорош также соус с кашкою. А морковь, или репа, или артишоки никогда не будут хороши...

Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною. Посмотрим-ка еще в одно письмецо. Что-то длинновато. Гм! и числá не выставлено.

Ах, милая! как ощутительно приближение весны. Сердце мое бьется, как будто все чего-то ожидает. В ушах у меня вечный шум, так что я часто, поднявши ножку, стою несколько минут, прислушиваясь к дверям. Я тебе открою, что у меня много куртизанов. Я часто, сидя на окне, рассматриваю их. Ах, если б ты знала, какие между ними есть уроды. Иной преаляповатый, дворняга, глуп страшно, на лице написана глупость, преважно идет по улице и воображает, что он презнатная особа, думает, что так на него и заглядятся все. Ничуть. Я даже и внимания не обратила, так как бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается перед моим окном! Если бы он стал на задние лапы, чего, грубиян он, верно, не умеет, — то он бы был целою головою выше папá моей Софи, который тоже довольно высокого роста и толст собою. Этот болван, должно быть, наглец преужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало. Хотя бы поморщился! высунул свой язык, повесил огромные уши и глядит в окно, — такой

мужик! Но неужели ты думаешь, ma chére, что сердце мое равнодушно ко всем исканиям, — ах нет... Если бы ты видела одного кавалера, перелезающего через забор соседнего дома, именем Трезора. Ах, ma chére, какая у него мордочка!

Тьфу, к черту!.. Экая дрянь!.. И как можно наполнять письма эдакими глупостями. Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека; я требую пищи — той, которая бы питала и услаждала мою душу; а вместо того эдакие пустяки... перевернем через страницу, не будет ли лучше:

...Софи сидела за столиком и что-то шила. Я глядела в окно, потому что я люблю рассматривать прохожих. Как вдруг вошел лакей и сказал «Теплов!» — «Проси, — закричала Софи и бросилась обнимать меня... — Ах, Меджи, Меджи! Если бы ты знала, кто это: брюнет, камер-юнкер,[13] а глаза какие! черные и светлые, как огонь». И Софи убежала к себе. Минуту спустя вошел молодой камер-юнкер, с черными бакенбардами, подошел к зеркалу, поправил волоса и осмотрел комнату. Я поворчала и села на свое место. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье, а я себе так, как будто не замечая ничего, продолжала глядеть в окошко; однако ж голову наклонила несколько на-бок и старалась услышать, о чем они говорят. Ах! ma chére, о каком вздоре они говорили. Они говорили о том, как одна дама в танцах, вместо одной какой-то фигуры сделала другую; также, что какой-то Бобов был очень похож в своем жабо на аиста и чуть было не упал; что какая-то Лидина воображает, что у ней голубые глаза, между тем как они зеленые, — и тому подобное. «Куда ж, — подумала я сама в себе, — если сравнить камер-юнкера с Трезором!» Небо! Какая разница! Во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерскою. А глаза, приемы, ухватки совершенно не те. О, какая разница! Я не знаю, ma chére, что она нашла в своем Теплове. Отчего она так им восхищается?..

Мне самому кажется, здесь что-нибудь да не так. Не может быть, чтобы ее мог так обворожить камер-юнкер. Посмотрим далее:

Мне кажется, если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравится и тот чиновник, который сидит у папá в кабинете. Ах, ma chére, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке...

Какой же бы это чиновник?..

Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папá всегда посылает его вместо слуги...

Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где ж у меня волоса как сено?

Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него.

Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкий язык! Как будто я не знаю, что это дело зависти. Как будто я не знаю, чьи здесь штуки. Это штуки начальника отделения. Ведь поклялся же человек непримиримою ненавистию — и вот вредит да и вредит, на каждом шагу вредит. Посмотрим, однако же, еще одно письмо. Так, может быть, дело раскроется само собою.

Ma chére, Фидель, ты извини меня, что так давно не писала. Я была в совершенном упоении. Подлинно справедливо сказал какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. Притом же у нас в доме теперь большие перемены. Камер-юнкер теперь у нас каждый день. Софи влюблена в него до безумия. Папá очень весел. Я даже слышала от нашего Григория, который метет пол и всегда почти разговаривает сам с собою, что скоро будет свадьба; потому что папá хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за камер-юнкером, или за военным полковником...

Черт возьми! я не могу более читать... Все или камер-юнкер, или генерал. Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам. Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, — срывает у тебя камер-юнкер или генерал. Черт побери! Желал бы я сам сделаться генералом: не для того, чтобы получить руку и прочее, нет, хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут унижаться и делать все эти разные придворные штуки и экивоки, и потом сказать им, что я плюю на вас обоих. Черт побери. Досадно! Я изорвал в клочки письма глупой собачонки.

Декабря 3.

Не может быть. Враки! Свадьбе не бывать! Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинство; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не есть, чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков. Ведь сколько примеров по истории: какой-нибудь простой, не то уже чтобы дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже крестьянин, — и вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, а иногда даже и государь.[14] Когда из мужика да иногда выходит эдакое, что же из дворянина может выйти? Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире: у меня и на правом плече эполета и на левом плече эполета, через плечо голубая лента — что? как тогда запоет красавица моя? что скажет и сам папá, директор наш? О, это большой честолюбец! Это масон,[15] непременно масон, хотя он и прикидывается таким и эдаким, но я тотчас заметил, что он масон: он если даст кому руку, то высовывает только два пальца. Да разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором или интендантом,[16] или там другим каким-нибудь? Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?

Декабря 5.

Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании.[17] Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и оттого происходят возмущения. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол упразднен? Говорят, какая-то дона должна взойти на престол. Не может взойти дона на престол.[18] Никак не может. На престоле должен быть король. Да, говорят, нет короля, — не может статься, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности. Он, статься может, находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как-то: Франции и других земель, заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины.

Декабря 8.

Я было уже совсем хотел идти в департамент, но разные причины и размышления меня удержали. У меня все не могли выйти из головы испанские дела. Как же может это быть, чтобы дона сделалась королевою? Не позволят этого. И, во-первых, Англия не позволит. Да притом и дела политические всей Европы: австрийский император, наш государь... Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Мавра замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно, я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы.[19] Ничего поучительного не мог извлечь. Большею частию лежал на кровати и рассуждал о делах Испании.

Год 2000 апреля 43 числа.

Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании есть король.[20] Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Сначала я объявил Мавре, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще

никогда не видала испанского короля. Я, однако же, старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее уверить в благосклонности, и что я вовсе не сержусь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги. Ведь это черный народ. Им нельзя говорить о высоких материях. Она испугалась оттого, что находится в уверенности, будто все короли в Испании похожи на Филиппа II. Но я растолковал ей, что между мною и Филиппом нет никакого сходства и что у меня нет ни одного капуцина... В департамент не ходил... Черт с ним! Нет, приятели, теперь не заманите меня; я не стану переписывать гадких бумаг ваших!

Мартобря 86 числа.
Между днем и ночью.

Сегодня приходил наш экзекутор с тем, чтобы я шел в департамент, что уже более трех недель как я не хожу на должность. Я для шутки пошел в департамент. Начальник отделения думал, что я ему поклонюсь и стану извиняться, но я посмотрел на него равнодушно, не слишком гневно и не слишком благосклонно, и сел на свое место, как будто ничего не замечая. Я глядел на всю канцелярскую сволочь и думал: «Что если бы вы знали, кто между вами сидит... Господи боже! какую бы вы ералаш подняли, да и сам начальник отделения начал бы мне так же кланяться в пояс, как он теперь кланяется перед директором». Передо мною положили какие-то бумаги, чтобы я сделал из них экстракт.[21] Но я и пальцем не притронулся. Через несколько минут все засуетились. Сказали, что директор идет. Многие чиновники побежали на перерыв, чтобы показать себя перед ним. Но я ни с места. Когда он проходил чрез наше отделение, все застегнули на́ пуговицы свои фраки; но я совершенно ничего! Что за директор! чтобы я встал перед ним — никогда! Какой он директор? он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Вот которою закупоривают бутылки. Мне больше всего было забавно, когда подсунули мне бумагу, чтобы я подписал. Они думали, что я напишу на самом кончике листа: столоначальник такой-то.[22] Как бы не так! а я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул: «Фердинанд VIII». Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось; но я кивнул только рукою, сказав: «Не нужно никаких знаков подданничества!» — и вышел. Оттуда я пошел прямо в директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотел меня не впустить, но я ему такое сказал, что он и руки опустил. Я прямо пробрался в уборную. Она сидела перед зеркалом, вскочила и отступила от меня. Я, однако же, не сказал ей, что я испанский король. Я сказал только, что счастие ее ожидает такое, какого она и вообразить себе не может, и что, несмотря на козни неприятелей, мы будем вместе. Я больше ничего не хотел говорить и вышел. О, это коварное существо — женщины! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она тó и тó, — она любит только

одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет, она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он спрятался к нему в звезду. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него. Выйдет. А вот эти все, чиновные отцы их, вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору, и говорят, что они патриоты, и то и се: аренды, аренды хотят эти патриоты![23] Мать, отца, бога продадут за деньги, честолюбцы, христопродавцы! Все это честолюбие, и честолюбие оттого, что под язычком находится маленький пузырек и в нем небольшой червячок величиною с булавочную головку, и это все делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой. Я не помню, как его зовут; но достоверно известно, что он, вместе с одною повивальною бабкою, хочет по всему свету распространить магометанство, и от того уже, говорят, во Франции большая часть народа признает веру Магомета.

Никоторого числа.
День был без числа.

Ходил инкогнито по Невскому проспекту. Проезжал государь император. Весь город снял шапки, и я также; однако же я не подал никакого вида, что я испанский король. Почел неприличным открыться тут же при всех; потому, что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сих пор не имею королевского костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантию. Я хотел было заказать портному, но это совершенные ослы, притом же они совсем небрегут своею работою, ударились в аферу и большею частию мостят камни на улице. Я решился сделать мантию из нового вицмундира, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился шить, заперши дверь, чтобы никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой.

Числа не помню. Месяца тоже не было.
Было черт знает что такое.

Мантия совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее. Однако же я еще не решаюсь представляться ко двору. До сих пор нет депутации из Испании. Без депутатов неприлично. Никакого не будет веса моему достоинству. Я ожидаю их с часа на час.

Число 1.

Удивляет меня чрезвычайно медленность депутатов. Какие бы причины могли их остановить. Неужели Франция? Да, это самая неблагоприятствующая держава. Ходил справляться на почту, не прибыли ли испанские депутаты. Но почтмейстер чрезвычайно глуп, ничего не знает: нет, гово-

рит, здесь нет никаких испанских депутатов, а письма если угодно написать, то мы примем по установленному курсу. Черт возьми! Что письмо? Письмо вздор. Письма пишут аптекари...

Мадрид. Февруарий тридцатый.

Итак, я в Испании, и это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Сегодня поутру явились ко мне депутаты испанские, и я вместе с ними сел в карету. Мне показалось странною необыкновенная скорость. Мы ехали так шибко, что через полчаса достигли испанских границ. Впрочем, ведь теперь по всей Европе чугунные дороги, и пароходы ездят чрезвычайно скоро. Странная земля Испания: когда мы вошли в первую комнату, то я увидел множество людей с выбритыми головами.[24] Я, однако же, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера,[25] который вел меня за руку; он толкнул меня в небольшую комнату и сказал: «Сиди тут, и если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту». Но я, зная, что это было больше ничего кроме искушение, отвечал отрицательно, — за что канцлер ударил меня два раза палкою по спине так больно, что я чуть было не вскрикнул, но удержался, вспомнивши, что это рыцарский обычай при вступлении в высокое звание, потому что в Испании еще и доныне ведутся рыцарские обычаи.[26] Оставшись один, я решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай. Но меня, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в семь часов совершается странное явление: земля сядет на луну.[27] Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон[28] пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только один носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета, с тем, чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Бритые гранды, которых я застал в зале государственного совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал:

«Господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее», — то все в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание, и многие полезли на стену, с тем чтобы достать луну; но в это время вошел великий канцлер. Увидевши его, все разбежались. Я, как король, остался один. Но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палкою и прогнал в мою комнату. Такую имеют власть в Испании народные обычаи!

Январь того же года, случившийся
после февраля.

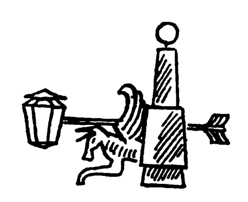
До сих пор не могу понять, что это за земля Испания. Народные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю ничего. Сегодня выбрили мне голову, несмотря на то, что я кричал изо всей силы о нежелании быть монахом. Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мне на голову капать холодною водою.[29] Такого ада я еще никогда не чувствовал. Я готов был впасть в бешенство, так что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значения этого странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный! Для меня непостижима безрассудность королей, которые до сих пор не уничтожают его. Судя по всем вероятиям, догадываюсь: не попался ли я в руки инквизиции,[30] и тот, которого я принял за канцлера, не есть ли сам великий инквизитор. Только я все не могу понять, как же мог король подвергнуться инквизиции. Оно, правда, могло со стороны Франции, и особенно Полиньяк.[31] О, это бестия Полиньяк! Поклялся вредить мне по смерть. И вот гонит да и гонит; но я знаю, приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик. Он везде юлит. Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, то Франция чихает.

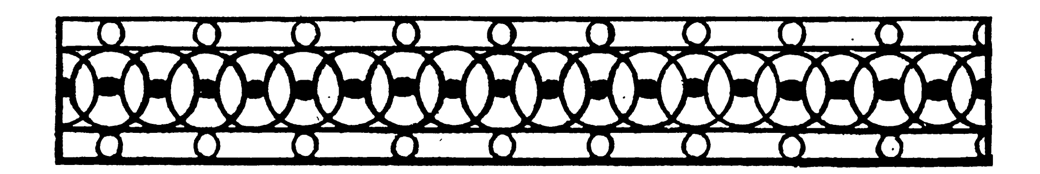
Число 25.

Сегодня великий инквизитор[32] пришел в мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: «Поприщин!» — я ни слова. Потом: «Аксентий Иванов! титулярный советник! дворянин!» — Я все молчу. — «Фердинанд VIII, король испанский!» — Я хотел было высунуть голову, но после подумал: «Нет, брат, не надуешь! Знаем мы тебя: опять будешь лить холодную воду мне на голову». Однако же он увидел меня и выгнал палкою из-под стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочем, за все это вознаградило меня нынешнее открытие: я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями. Великий инквизитор, однако же, ушел от меня разгневанный и грозя мне каким-то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бессильною злобою, зная, что он действует, как машина, как орудие англичанина.

Чи 34, сло, Мц гдао,
Февраль 349.

Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой — Италия; вот и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! — Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?[33]





Другие редакции и варианты

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге. Чудный Невский проспект! Единственный Невский проспект! Улица-красавица нашей столицы! Гм! Я знаю, что бледный чиновник, житель ее, ни за что не отдаст Невского проспекта, не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасный и удивительно сшитый сюртук, но даже тот,[1] у кого показывается белый волос <на> подбородке и голова гладка как серебряная лоханка, и тот <в> восторге тоже <от> Невского проспекта. [Невский проспект единственная улица] в Петербурге, где [сколько-нибудь показывается наше таинственное] общество, в многолюдной массе[2] пользующееся самою бесцветною славою, заставляющею даже[3] подозревать[4] и сомневаться в его существовании. Тут оно иногда высыпается из карет своих. Но живописец характеров, резкий наблюдатель[5] отличий, лопнет с досады, если захочет его изобразить в живых огненных чертах. Никакой резкой особенности! никакого признака индивидуальности! А дамы! о, дамам еще больше приятен Невский проспект.[6] Да и кому он не приятен? Чуть только взойдешь на Невский проспект, так уже и пахнет гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь <дело>, но, взошедши на него, верно, позабудешь.

Тут только могут столкнуться различные классы общества.[7]

Единственное место, <где> показываются люди не по необходимости, куда их не загнала[8] надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, встреченный человек на Невском проспекте меньше эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где интерес и надобность и жадность выражаются[9] в едущих и летящих[10] на дрожках и в каретах.

Я готов клясться, что половина жителей Петербурга без ума от Невского проспекта. Да как и не быть без ума? Жилец какой-нибудь Петербургской или Выборгской части, который десять лет[11] не выставляет своего носа <к> знакомому[12] своему на Песках или у Московской заставы, здесь он встретится с ним прежде нежели думает. Никакой адрес-курант и

---

[1] *Далее начато:* кому [2] *начато далее*: которое [3] заставляющею даже его [4] *Далее начато*: все [5] живописец, резкий наблюдатель [6] А дамы без ума от Невского проспекта [7] все классы нашего общества [8] <где> можно видеть людей, которых не за<гнала> [9] видна [10] ведущих и идущих [11] который в продолжение <десяти лет?> [12] <к> приятелю

справочное место не доставит такого верного известия,[13] как Невский проспект.[14] Всемогущий Невский проспект: единственное развлечение[15] бедного на гулянья Петербурга. Как чисто подметены его тротуары, и, боже, сколько ног всякого народу оставляет на нем следы[16] в один день! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под которым трескается даже гранит, и миниатюрный легкий как дым башмачек молоденькой дамочки, оборачивающей свою головку[17] к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика,[18] оставляющая на нем резкую царапину, все вымещает на нем[19] могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмогория в течение только одного дня![20]

Сколько вытерпит он перемен в один день! Начнем с самого раннего утра,[21] как весь Петербург пахнет горячими только что выпеченными хлебами <и> наполнен старушками в салопах, в изодранных платьях,[22] совершающих свои наезды на церкви и сострадательных прохожих.

Тогда Невский проспект пуст. Плотные содержатели магазинов <и> их комми еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку[23] и пьют кофий. Нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед,[24] летавший вчера, как муха с шеколадом, вылезает[25] с метлой в руке без галстука, и швыряет[26] им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ, иногда переходят русские мужики, спешащие на работу в сапогах,[27] запачканных известию, которых и Екатерининский канал, известный своею чистотой, не в состоянии был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они не услышат ни в магазинах, ни в театрах.[28]

Иногда сонный чиновник проплетется с портфелью в таком случае,[29] когда[30] через Невский проспект лежит дорога в его департамент. В это время и до 12 часов можно сказать решительно, что Невский проспект не составляет ни для кого цели. Он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками и говорят[31] сами <с> собою, иногда с жаром[32] и самыми разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах с пустыми штофами[33] или готовыми сапогами в руках, бегущих молнией по Невскому проспекту.[34]

---

[13]такого верного местожительства [14]*Далее начато*: Чудный [15]единственное развлечение и гулянье [16]сколько ног всякого народу пройдет по нем [17]оборачивающей точно подсолнечник свою милую головку к солнцу [18]и сабля прапорщика [19]все показывает следы свои [20]*Далее начато*: в один день сколько [21]Начнем с утра [22]*Далее начато*: спешащих [23]или мылят щеку [24]где безобразный ганимед с метлою [25]выпив вылезает [26]и выбр<асывает> [27]спешащие в сапогах [28]*а*) каких они может быть даже не слышали *б*) каких они не услышат ни в магазинах ни в концертах [29]особливо в таком случае [30]*Далее начато*: к департа<менту> [31]или говорят [32]часто с жаром [33]с ш<тофами> [34]*Далее начато*: Тут

В это время что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы вы воротничок слишком много высунули из вашего галстуха, — никто этого не заметит.

В 12 часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские джонсы и французские коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению <питомцами> и с приличною солидностью изъясняют[35] им, что вывески делаются для того над магазинами, чтобы можно было через них узнать,[36] что находится в самих магазинах.

Гувернантки, бледные мисс[37] и розовые мадемуазель,[38] идут величаво[39] позади своих легоньких вертлявых девченок, приказывая[40] поднять несколько левое плечо или держаться прямее.[41] Короче сказать, в это время Невский проспект — педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем[42] уменьшается число гувер<нанток?>, педагогов и детей; они наконец вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами.[43] Мало-по-малу присоединяются к их составу все[44] окончившие довольно важные домашние занятия, как то поговорившие с своим доктором о погоде и небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровьи лошадей и детей своих, показывающих большие дарования,[45] прочитавшие афишу <и> важную статью в газетах о приезжающих[46] и наконец выпившие чашку кофию и чаю; к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным местом[47] чиновников по особым поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии,[48] отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы, как они возвышают и услаждают душу! Но, увы, я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия. Мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карман руками, дамы — в щегольских шляпках.

Вы встретите здесь бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстух, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, почти принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах; они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие! Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью неизобразимые; усы, которым [посвящена] лучшая половина жизни, предмет долгих бдений среди дня, как и ночи. Усы, на которые излились лучшие восхитительнейшие духи и ароматы и[49] которые

---

[35] и назидательно изъясняют [36] чтобы узнать [37] Мисс, мадам [38] мамзель, мадам [39] величаво держа в струнку [40] направляя их издалека или приказывая [41] держаться ровн<ее> [42] тем более [43] *а*) с своими пестрыми, разноцветными, слабыми подругами *б*) с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными и томными подругами [44] *Далее начато*: неимеющие уже в это время [45] и показывающих большие дарования детей [46] отъезжающих [47] *а*) благословенным местом в газетах *б*) благословенным заняти<ем> [48] *Далее начато*: боже, какие [49] *Далее начато*: помазан<ные>

умастили все редчайшие и драгоценнейшие сорты помад. Усы, которые заворачиваются на ночь одою известного писателя; усы, к которым дышет самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие.[50] Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, поясов пестрых, легких, к которым иногда на целые два дни сохраняется привязанность их владетельниц, ослепит хоть кого на Невском проспекте.[51] Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось разом со стебелька и волнуется морем над черными жуками мужеского пола. Вы встретите здесь такие талии, какие вам не снились никогда, талии тоненькие, узенькие, талии никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми, вы почтительно пройдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем овладеет робость и страх, чтобы каким-нибудь образом это прелестнейшее произведение природы и искусства не переломилось. А какие встретите дамские рукава на Невском проспекте![52] Ах, какая прелесть!

Они несколько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы ее не поддерживал мужчина, потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, <на>полненный шампанским.[53] При встрече нигде так непринужденно благородно не раскланиваются, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, chef-d'oeuvre[54] искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что вы увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете <ее>.[55] Здесь встретите разговаривающих о концерте или о погоде[56] с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений.[57] Да, странные характеры встречаются на Невском проспекте.[58] Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно[59] посмотрят на сапоги ваши, и когда вы пройдете, они оборотятся[60] непременно назад, посмотрят на спину вашу. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но нет, после решил,[61] что они большею частию служат по разным департаментам и многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое, или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет в кондитерских, словом, большею частию все порядочные люди. В это благословенное время от 2 до 3 часов, которое может назваться движущею<ся> столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произве-

---

[50]*Далее начато*: На Невском проспекте вы увидите дам и вы встрети<те> [51]*а*) Тысячи ∾ поясов осле<пительных>, легких [что все] *б*) Тысячи ∾ поясов пестрых легких так ослепляет вас *в*) Тысячи ∾ их владетельниц, ослепит вас всех [52]*а*) [Вы] А дамские рукава, эти роскош<ные> *б*) А какие ∾ на Невском проспекте! Кажется, вообразишь себе, что [53]*Далее начато*: на Невском проспекте [54] *В рукописи*: chef devre [55]*Далее начато*: Вы увидите [56]разговаривающих о погоде или театр<е> [57]*Далее начато*: Боже как есть <*1 нрзб*> [58]*Далее начато*: Вообразите [59]которые непр<еменно> [60]пово<ротятся> [61]но после уверился.

дений человека: один показывает сюртук[62] с бобром из сукна, другой — греческий прекрасный <нос>, третий несет превосходные[63] бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстух, возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в изумление.[64] Но бьет 3 часа, и выставка оканчивается, толпы редеют.

В три часа настает на Невском проспекте весна. Он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные и <1 нрзб> надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход.[65] Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари еще стараются воспользоваться временем и пройтись по Невскому проспекту с осанкою, показывающие, что они вовсе не сидели 6 часов в присутствии.

Но старые коллежские секретари и титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову. Им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих. Они еще не вполне оторвались от забот своих, в их голове ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел, им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии.

С 4-х часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит чрез Невский проспект с коробкою в руках. Какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повытчика, пущенная по миру во фризовой шинеле, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны.[66] Какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикулем и книжкой в руках. Какой-нибудь артельщик, русский человек в демикотоновом сюртуке с талией на спине, с узенькою бородкою, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится: спина и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару; иногда низкой ремесленник, — больше никого вы не встретите в это время на Невском проспекте.

Но как только сумерки упадут на домы и улицы, и будочник, на<де>вший рогожу, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низких окошек выглянут те эстампы, которые не смеют показываться среди дня, так уж[67] Невский проспект опять оживает и шевелится.[68] Настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый чрезвычайный свет. Вы встретите очень много[69] молодых людей, большею частию холостых, в их теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель или лучше похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное, шаги всех ускоряются и толкаются, вообще очень неровны, длинные тени мелькают и чуть не достают головами Полицейского моста.

---

[62]прекрасный сюртук [63]благо <родные?> [64]*Далее начато*: *а*) За три часа *б*) Но к <трем часам> [65]столон<ачальники> и другие начальники бегут, ускоряют ход свой. [66]*Далее начато*: Какой-нибудь артельщик с узенькой боро<дой> [67]то уж [68]Невский проспект в одно мгновенье наполняется гуляющими, но эти гуляющие молодые люди в [69]чрезвыча<йно> много

Молодые губернские регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются, но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники большею частью сидят дома или потому, что это[70] народ женатый, или им очень хорошо готовят кушанья живущие у них на домах кухарки-немки.[71] Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такою важностью и с таким удивительным благородством прогуливались[72] в 2 часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной даме, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так по душе многим гуляющим, но еще больше сидельцам и приказчикам, ходящим всегда в немецких сюртуках, под руку.

«Стой!» закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и в плаще: «видел?»

«Видел. Чудная, чудная, совершенная Перуджинова Бианка».

«Да ты об какой говоришь?»

«Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! боже, какие глаза и какие ресницы, и оклад лица чудесный!»

«Я говорю об блондинке, что прошлась моей стороной.[73]Что же ты не идешь за брюнеткою, когда она тебе так понравилась?»

«О, как можно», — вскрикнул, почти закрасневшись, молодой человек во фраке: «как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту. Один плащ на ней стоит больше 300 рублей; это должна быть какая-нибудь дама высшего...»

«Простак!» закричал поручик Пирогов, толкнувши его в ту сторону, <г>де далеко уже развевался щегольской яркой плащ красавицы... «Ступай, простофиля, прозеваешь, а я пойду за блондинкою».

Оба приятеля расстались. «Знаем мы всех их», — прибавил он с самодовольною и самонадеянною улыбкою, уверенный, что нет красоты, осмелившей<ся> ему противиться.

Молодой человек во фраке и плаще с робким и трепещущим движением поворотил в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ, беспрестанно[74] то окидывавший<ся> ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то покрыва<вшийся> темнотою по удалении от него. Сердце его билось и он ускорил шаг свой. Он не смел и думать о том, чтобы иметь какое-нибудь право <на> внимание улетавшей вдали красавицы; тем более допустить такую черную мысль, какую только что объявил поручик Пирогов. Но ему хотелось только видеть дом, заметить, где имеет свое жилище это прелестное существо, которое, казалось, сорвалось с неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит опять неизвестно куда. Он ускорил шаги свои[75] и, казалось, летел и, не глядя, сталкивал солидных господ с черными и поседевшими бакенбардами.

---

[70]что они [71]живущие у них на домах немки [72]расхажив<али> [73]что прошлась <в мою> сторону [74]вдруг [75]Он ускорил шаги свои сколько можно было ускорить

Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас странное явление и вовсе не принадлежит к гражданам Петербурга,[76] так же как лицо, являющееся нам в сновидении, не принадлеж<ит> к существенному миру. Это небольшое сословие чрезвычайно странно[77] в том городе, где все или чиновники, или купцы, или ремесленники-немцы.[78] Это сословие художников. Какое странное явление: художники петербургские! Художники северные! Художники в стране финнов, где все мокро, гладко,[79] ровно, бледно, серо, туманно. — Эти художники вовсе не похожи на художников италианских, гордых, горячих, как Италия и ее небо.

Петербургские художники совершенно другое. Это большею частью добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий пить с двумя приятелями своими в маленькой комнате чай и скромно потолковать об любимом предмете. Он[80] вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть,[81] с тем, чтобы перевести на полотно ее жалкую бесчувственную рожу; он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякий художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные станки, опрокинутую палитру, стены, запачканные[82] красками, с растворенным окном, в котором мелькает бледная Нева и бледные рыбаки в красных рубашках.[83]

У них всегда почти на всем серенький смутный колорит — неизгладимая печать севера, — но при всем том они с истинным желанием и даже <с> наслаждением трудятся над своими картинами. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только пахнул на них свежий пламенный воздух Италии, он бы, верно, развился вольно, ярко и широко[84] так, как растение, которое из теплицы выносят, наконец, на вольный ветер. Они вообще робки; их звезда и толстый эполет в такое приводит замешательство, что они невольно понижают цену своим произведениям. Они любят иногда пощеголять, но щегольство это кажется на них слишком резко и как-то несколько похоже[85] на заплату. На них вы встретите иногда отличный фрак[86] — и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет — и <*1 нрзб*> фрак весь в красках. Таким же самым образом на недоконченном их пейзаже вы увидите иногда опрокинутою вниз головою нимфу, которую он от рассеянности и, не желая искать нового грунта[87] наметал на прежней когда<то> им с наслаждением писанной[88] картине. Он никогда не глядит вам прямо[89] в глаза; если же глядит, то как-то мутно неопределенно и не вонзает в вас ястребиного взора наблюдателя или соколиного[90]

---

[76]*а*) который принадле<жит?> *б*) который не принадлежит к [какому] гражданам Петербурга, он представляет какое<то> маленькое, легонькое исключение [77]*Далее начато*: между тем [78]или немцы мастеровые [79]где все гладко, серо [80]*Далее начато*: любит [81] *Далее начато*: за что в качестве натурщицы [82]палитру, пол запачкан<ный> [83]*Далее начато*: они почти с любо<ью> [84]истинный талант, которому недостает только пламенной Италии, чтобы развернуться смело, вольно, широко и ярко [85]и несколько похоже [86]прекрасный [87]порожнего грунта [88]с наслаждением рисов<анной> [89]*Далее начато*: мутно [90]орлиного

взгляда кавалерийского офицера,[91] потому что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь геркулеса, стоящего в его комнате, или ему представляется[92] <*2 нрзб*> картина, за которую он готовится приняться, и от этого[93] отвечает он часто несвязно и вовсе невпопад, и эти мешающиеся в его голове предметы еще больше увеличивают его робость. К такому роду принадлежал описываемый нами молодой человек Палитрин, застенчивый, робкий, но в душе своей носивший огонек, готовый при удобном случае превратиться в пламень. С тайным трепетом спешил <он> за предметом, так сильно его поразившим и, казалось, дивился своей дерзости. Существо, к которому прикованы были[94] его глаза, мысли, чувства, вдруг оборотилось на повороте улицы и взглянуло на Палитрина. Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны [лоб], прелестнейший <лоб> надвинут был прекрасными как агат волосами. Они вились, эти прелестные волосы, и один [прелестный] [локон] упал из-под шляпы и коснулся щеки, тонко тронутой свежим румянцем,[95] проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты целым роем прелестнейших <?> грез, что остается от воспоминания о детстве, что доставляет мечтание и тихое вдохновение в священный час ночи при тихой лампаде поэта. Боже, все это, казалось, совокупилось, слилось, отразилось в ее гармонических устах.[96] Она взглянула на Палитрина, и при этом взгляде казалось упало, задрожало сердце. Она взглянула сурово, чувство негодования проступило у ней на лице при виде виде такого наглого преследования; но на этом прекрасном лице самый гнев[97] был обворожителен. Постигнутый стыдом и робостью, он остановился, потупив глаза. Но как утерять это божество, не узнать даже того святого места земли, где[98] оно решилось гостить? Такие мысли пришли в голову молодому мечтателю, и он решился преследовать. Но чтобы не дать этого заметить, он отдалился на далекое расстояние, беспечно глядел по сторонам и рассматривал вывески, а между тем не упускал из виду ни одного шага чудной незнакомки. Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише, красавица оглянулась и встретилась[99] с потупленными глазами Палитрина. Легкая улыбка сверкнула на губах и молнией сверкнула[100] на его сердце. Он задрожал, он не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим дал на лицо ее подобие улыбки, нет, это собственные мечты[101] его смеются над ним... Но дыхание занялось[102] в его груди, все обратилось в нем в неопределенный трепет, все чувства его горели,[103] и все перед ним окинулось каким-то туманом.[104] Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми были неподвижны, <мост> растягивался и ломался на своей <арке>,[105] дом стоял крышею вниз, будка

---

[91] взгляда военного [92] представляется та [93] и потому [94] к которому устремились [95] вечерним румянцем [96] отразилось в ее божественных чертах. [97] но на этом прекрасном лице черты [98] того святого места, где [99] встретилась глазами [100] улыбка блеснула [101] *а*) нет, это [глаза] напряженные глаза *б*) нет, это взор [102] но дыхание казалось улетело [103] все чувства его превратились [104] и все перед ним смешалось [105] ломался на своей опро<кинутой?> <арке>

валилась к нему навстречу и алебарда ее командира <?>, вместе с золотыми словами вывески[106] и нарисованными ножницами, блестела, казалось, на самой реснице его глаз, и все это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, он несся по легким воздушным следам прекрасных ножек, по временам только стараясь умерить быстроту своего <шага>, бежавшего[107] под такт сердца. Иногда овладевало им сомнение: действительно ли выражение лица ее лишено было гнева,[108] и тогда он на минуту останавливался, но сердечное биение, непреодолимая сила и тревога всех чувств стремила его вперед. Он не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный <дом>, все четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули[109] разом на него и перилы[110] у подъезда[111] противуставили ему железный толчек свой. Он видел, как незнакомка летела по лестнице, оглянулась, положила на губы палец и дала знак следовать за собою. Колени его дрожали; чувства, мысли горели.[112] Молния радости нестерпимым острием ударила в сердце. Нет, это уже не мечта! Боже, столько счастья![113] Такая чудесная жизнь в двух минутах!

Но не во сне ли это все ? Ужели та, за один небесный взор которой он бы готов был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу которой уже он почитал за неизъяснимое блаженство, ужели та была сию минуту так благосклонна и внимательна к нему? Он взлетел на лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту чист и непорочен,[114] как девственный юноша, еще дышущий неопределенною духовною потребностью любви, и то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие мысли,[115] то, напротив того, еще более освятило <ее>. Это доверие, которое оказало[116] слабое прекрасное существо, наложило[117] на него обет строгости рыцарской, обет самоотвержения, обет рабски исполнять[118] все повеления и он только желал,[119] чтобы эти веления были как можно труднее и неудобоисполнимее, чтобы с большим напряжением сил лететь преодолевать их. Он не сомневался, что какое-нибудь тайное и вместе важное происшествие заставило незнакомку емуввериться, что от него, верно, будут требоваться какие-нибудь великие услуги, и он чувствовал уже в себе непреодолимую силу отважиться на все. Лестница вилась выше и вместе с нею вились его мечты. «Идите осторожно» — зазвучал прелестный голос и наполнил его новым эдемом. В темной вышине четвертого этажа незнакомка постучала в дверь — она отворилась, и[120] они вошли вместе. Женщина довольно недурной наружности встретила их со свечою в руке, но так странно и нагло посмотрела на Палитрина, что он опустил глаза. Они вошли в

---

[106]алебарда ее командира блестела вместе с вывескою [107]ступа<вшего> [108]выражение лица ее изображало <гнев> [109]все четыре ряда окон глянули [110]и решетка [111]*Далее начато*: ударили [112]*Далее начато*: Нет, это уже не мечта [113]*а*) Боже, сколько счастья в один *б*) Боже, сколько счастья в течении. [114]*Далее начато*: это доверие к нему еще <более> [115]дерзкие страсти [116]которое удостоило [117]доставило [118]обет следова<ть> [119]и произвело только желание [120]*Далее начато*: вме<сте> проникла и

комнату.[121] Три женские фигуры в разных углах комнаты представились его глазам. Одна раскладывала карты, другая сидела за фортепьяно и играла двумя пальцами[122] какой-то пошлый полонез; третья сидела перед зеркалом, расчесывала гребнем свои длинные волоса и вовсе ни мало не думала оста[вить][123] свой туалет при входе[124] незнакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, <царствовал во всем>. Комнаты[125] довольно хорошие были покрыты пылью; паук застилал[126] своею паутиною лепной карниз. Две двери, одна против другой, вели в другие комнаты.[127] Около непритворенной двери другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира,[128] мужской голос и женский смех лились сквозь непритворенные <двери>. Боже, куда зашел он! Он сначала не верил и начал пристальнее всматриваться в предметы, наполнявшие комнаты. Но голые стены и окна без занавесей не показывали никакого присутствия заботливого наблюдения[129] хозяйки, поношенные лица этих жалких созданий, из которых одна села почти перед носом и так же спокойно его рассматривала, как пятно на чужом платье, все это уверило <его>, что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною[130] образованностью и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек святотатственно подавил все чистое и посмеялся над всем свят<ым>, скрашивающим мир,[131] где женщина, эта[132] красавица мира, обратилась в какое-то странное двусмысленное существо, где она — картина, правильно написанная и лишенная внутренней поэзии, где она лишилась всего женского вместе с чистотою души и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем грациозным,[133] тем так отличным от нас существом. Картина <написанная> правильно, но лишенная поэзии. Палитрин мерил ее с ног до головы выпученными от удивления глазами как бы желая увериться, та ли это, которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте. Но она стояла перед ним так же хороша, ее волосы были так же прекрасны; глаза казались все еще небесными. Она была свежа; ей было только 17 лет;[134] видно было, что еще недавно ужасный разврат ее настигнул, он еще не смел коснуться к ее щекам. Они были свежи и легко оттенены тонким румянцем. Она была прекрасна. Он стоял неподвижно перед нею и уже готов был так же простодушно позабыться, как позабылся прежде. Но красавица наскучила таким долгим молчанием и значительно улыбнулась[135] глядя ему прямо в глаза, но эта улыбка <была> так невыразимо несносна, так исполнена какой-то жалкой наглости, так шла к ее лицу, как идет выражение[136] набожности на роже взяточника или скряги, <как> поэту идет мундир или бухгалтерская книга. Он содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить, но все этот было так глупо, так пошло, как

---

[121] *Далее начато*: возле окна [122] другая [бренчала] играла двумя пальцами [123] и ни одна не остави<ла?> [124] при внезапном приходе [125] Кресла [126] затыкал [127] *Далее начато*: одна [128] блестела военная <выпушка> [129] заботливого правления [130] разврат, образован<ный> наружною [131] над всем укра<шающим мир?> [132] *Далее начато*: залетевшая [133] тем кротким [134] *Далее начато*: еще разврат [135] и улыб<нулась> [136] как идет чувство

будто бы вместе с непорочностью оставляет и ум человека. Он уже ничего не хотел слышать, он был чрезвычайно смешон и прост. Вместо того, чтобы воспользоваться благосклонностью, вместо того чтобы обрадоваться такому случаю, какому бы верно обрадовался на его месте всякий другой, <он> бросился вдруг со всех ног как дикая сайга[137] и выбежал на улицу. Повесивши голову и опустивши руки сидел он в своей комнате как бедняк нашедший бесценную жемчужину и тут же уронивший[138] ее в море. Такая красавица! такие божественные черты и где же? В таком презренном омуте! Эти восклицания вырвались у него прежде всего.[139]

В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами,[140] как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. Пусть он навеки остается с безобразием; если безобразие погружается <в него>, мы не жалеем, хотя должны бы жалеть по чувству человечества. Но красота нежная, нам кажется, должна быть каким-то божеством непорочности и чистоты. [Черты лица этой] красавицы, так околдовавшей нашего бедного мечтателя, были действительно чудесны, появление ее в этом презренном кругу еще более казалось чудесным. Черты лица ее были так чисты, как образовано все выражение прекрасного лица ее, которое означено <было> каким-то прекр<асным> благородств<ом>,[141] что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат уже распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, все богатства страстного[142] супруга; она была бы тихой звездой в незаметном[143] семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале на зеркальном паркете при блеске свечей, при безмолвной благоговейной толпе поверженных поклонников. Но, увы, она была какою <то> ужасною волею злого духа, смеющегося над всем святым и прекрасным, жаждущего везде рассеять гармонию мира и произвести расстройство естества, она была волею этого злого духа с хохотом[144] брошена в эту страшную пучину.

Проникнутый разрывающей[145] жалостью сидел он перед нагоревшею свечою. Уже и полночь давно минула,[146] колокол башенки бил половину первого. Он сидел неподвижный[147] без сна, без деятельного бдения.[148] Дремота, соскучившись его неподвижностью, начала тихонько одолевать <его>, уже комната[149] начала исчезать, один только огонь свечи еще просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук в двери заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась и вошел лакей в богатой ливрее. В его уединенную комнату никогда не заглядывала такая богатая ливрея и при том в такой необыкновенный <час>.[150] Он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел в оба на пришедшего лакея.[151]

---

[137]дикая коза [138]бедняк нашедший бесценную жемчужину и в то же время от нечаянной радости уронивший [139]эти восклицания прежде всего вырвались у него [140]никогда так сильно не овладевает нами чувство жалости [141]*а*) носило какое-то благородство *б*) означено было той прек<расной?> [142]верного [143]все в незаметном [144]с смехом [145]Проникнутый яд<овитой?> [146] давно возвещена [147] *Далее начато*: нак<онец> [148]без бдения [149]комната и све<ча> [150]*Далее начато*: чувство [151]*Далее начато*: Позвольте узнать

«Та барыня»,[152] начал лакей, «у которой вы[153] изволили быть за несколько часов перед сим, приказала просить и прислала за вами карету».

Палитрин стоял в безмолвном удивлении: карету, лакей в ливрее... Нет, здесь верно какая-нибудь ошибка... «Послушайте, любезный», — сказал он с робостью, — «вы, верно, не туда изволили зайти. Эта ваша барыня, без сомнения, <за> кем-нибудь другим, а не за мною прислала вас».

— Нет, я, сударь, не ошибся. Ведь вы изволили проводить барыню пешком до дома в Литейную, в комнату четвертого этажа?

— Я.

— Ну, так пожалуйте же скорее, барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже в собственный дом свой.

Палитрин сбежал с лестницы.[154] На дворе, точно, стояла карета. Он вошел, за ним дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами и перспектива домов с фонарями и вывеска<ми> понеслась мимо его по обеим сторонам каретных окон. Палитрин думал всю дорогу.[155] Собственный дом карета, лакей в богатой ливрее... он ничего не мог вывесть из этого.[156]

Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом и его разом поразили говор кучеров, ряд экипажей, глухо вылетавшие слова, яркие окна, звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сени с мрамор<ными> колонами, с облитым золотом швейцаром, с разбросанными плащами и шубами,[157] с яркой лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, надушенная ароматом, неслась вверх. Он уже был на ней, уже взошел в первую залу, испугавшись и попятившись при первом шаге от ужасного многолюдства. Ужасная пестрота привела его в страшное замешательство; ему казалось, что[158] какой-то демон искромсал весь мир на множество разных кусков и все эти куски без толку смешал вместе. Ослепительные дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы,[159] воздушные летящие газы и эфирные ленты, толстый смычок контрабаса, выглядывавший из-за перил великолепных хоров. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков[160] и полустариков с звездами на груди, дам так легко, гордо[161] и грациозно[162] выступавших по паркету и сидевших рядами, что растерялся совершенно. И в самом деле, молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстух...[163] Там так <дамы> были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так

[152]та барыня, у которой [153]вы сегодня [154]сбежал под вор<ота> [155]*Далее начато*: об этом своем [156]ничего, не мог понять [157]*Далее начато*: с сидящ<ими?> [158]ему казалось, что все началось перед<ним> [159]свечи, лампы [160]почтенных сед<ых> стариков [161]так легко, вольно [162]*Далее начато*: *а*) казавшихся *б*) всходивших [163]умели вставлять свои зубы и руки украшенные перстнями носи<ли?>

умели очаровательно улыбаться, но нечего говорить более, все клонилось к тому, чтобы совершенно...[164] Но толпа обступила танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным газом и <в> плать<ях>, сотканны<х> из самого воздуха, небрежно касались паркета и были более эфирны, нежели если бы вовсе не касались его. Но одна между ними всех лучше, всех роскошнее одета. Невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе и как будто она вовсе о нем не заботилась, но оно как бы невольно вылилось само. Она и глядела и не глядела на толпу плясавших и зрителей, прекрасные длинные ресницы опустились и чистая[165] белизна лица еще ослепительнее[166] бросилась в глаза, особливо когда при наклоне головы ее легкая тень осенила[167] очаровательный лоб. Пискарев продрался[168] ближе. Боже, это она! Она подняла свои полные безграничного и невыразимого блаженства ресницы и глянула своим ясным взглядом. О! как хороша! мог только он выговорить с захваченным почти дыханием. Она обвела своими глазами весь круг,[169] который наперерыв жаждал остановить[170] на себе ее взор, но с каким <то> утомлением тихо отвращала его,[171] с каким-то невниманием опускала его и встретилась с глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! дай силы, создатель, перенести этого.[172] Жизнь не может вместить, он разрушит ее, он исторгнет и унесет душу. Она подала знак не рукою, не наклонением головы, нет, в ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выражением, что никогда бы не заметил его, но он заметил.[173] Танец длился долго.[174] О, как нетерпеливо он ожидал, утомленная <музыка>, казалось вовсе погасала и замирала и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец,[175] танец кончился. Она села, усталая грудь ее вздымалась[176] под тонким дымом газа; рука ее[177] (боже, какие руки!) упала на колени, измявши[178] под собою ее воздушное платье и платье под нею, казалось, стало дышать;[179] отделка и тонкий сиреневый цвет его еще прелестнее означал эту божественную форм<у> этой прекрасной руки. Коснуться бы только и ничего больше, никаких других желаний — они все дерзки... Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать.[180] «Вам было скучно», произнесли ее уста.[181] — «Вы меня ненавидите». — «Вас ненавидеть? мне? я...» готов был произнести он, совершенно потерявшись, и наговорил бы, верно, кучу самых несвязных слов, но в это время подошел с каким<и-то> острыми и тонкими замечаниями камергер с прекрасным завитым на голове хохлом.[182] Он довольно приятно показывал свои зубы и каждою остротою своею вбивал кучу игл в сердце Пискарева. Наконец какой-то камергер к нему обратился с вопросом.[183] — «Как это скучно!» произнесла она, пользуясь временем: — «Я сяду на другом конце зала, будьте там». — Она

---

[164]словом все со<вершенно> *Фраза недописана.* [165]и стыдливая ее [166]еще ярче [167]при наклоне головы ее осенила [168]продрался сквозь [169]*Далее начато*: утомлены и не внимате<льно?> на все [170]жаждал пере<хватить?> [171]отвращала свой [172]перенести все его [173]но он заметил его [174]*Далее начато*: *а*) утомленная музыка казалось *б*) горло его [175]*Далее начато*: она последним звуком <*1 нрзб*> [176]грудь ее [вол<новалась>] утомилась [177]*Далее начато*: она бы<ла> [178]*Далее начато*: сжала [179]стала дышать ровнее [180]за стулом, не смея дышать, [181]ее очаровател<ьные> уста. [182]с прекрасным завитым хохлом. [183]наконец он заговорил с

проскользнула между толпою и исчезла. Он, как помешанный, растолкал толпу и был уж там. Там она сидела,[184] как царица,[185] всех лучше, всех прекраснее, и искала его глазами. — «Вы здесь?» произнесла[186] она тихо, его увидевши,[187] — и начала: «Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу творений, в котором вы встретили <меня>? Вам кажутся странными мои поступки,[188] но я[189] вам открою тайну... Будете ли в состоянии никогда не измениться?» — «О, буду! буду! буду!» — В это время подошел довольно пожилой человек, заговорил с ней на непонятном для Пискарева языке. Подал ей руку. Она умоляющим взором посмотрела на Пискарева и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода. Но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст, отправился вслед за нею, но толпа разделила их; он уже [даже] не видел сиреневого платья, с беспокойством пробирался[190] он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречных, но там были все тузы, все сидели за вистом, погруженные в мертвое обычное <молча-ние>,[191] в углу комнаты[192] спорило несколько важных пожилых людей о преимуществе[193] военной службы перед штатскою, в другом молодые люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта-труженика. Пискарев чувствовал, что один пожилой человек и почтенной наружности схватил за пуговицу фрака его и представлял на его суждение одно весьма справедливое его замечание, но он грубо оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно значительный орден. Он перебежал в другую комнату — и там нет ее, в третью — тоже нет. «Где же она? Дайте ее мне! О, я не могу жить, не взглянувши на нее! мне хочется выслущать то, что она хотела сказать». Но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, утомленный[194] он обратился в угол и смотрел на толпу, но напряженные глаза[195] начали ему представлять все в каком-то неясном виде. Наконец, ему начало явственно показывать стены его комнаты. Он поднял глаза, перед ним стоял подсвечник[196] с огнем, почти потухавшим в глубине его: свеча истаяла; сало было налито на ветхом столе[197] его. Так это он спал! Боже, какой прекрасный сон! И зачем было просыпаться, зачем было минуты не подождать, — она бы наверно опять явилась! Досадный <?> свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке. О, как отвратительна действительность, что она против мечты! Он разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая насильно призвать улетевшее сновидение. Сон, точно, не замедлил к нему явиться, снилось вовсе[198] не то, что бы желал он видеть: то поручик Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож,[199] то действительный статский советник, то голова чухонки, с которой он когда <то> рисовал портрет, и тому подобная дрянь.[200]

---

[184]она сидела, она искала [185]как царица, как сон [186]сказала [187]увидевши и подняла их на не<го> [188]Вам к<ажется странным> [моя] все что происходит и непостижимым [189]но я сейчас [190]с беспокойством переходил [191]сидели за вистом, молчали [192]по углам [193]спорило несколько ученых о каком<то> [194]Беспокойный [195]обратился к окну, но глаза [196]<стояла> свеча уже [197]на столе [198]*Далее начато*: представлялось както неясно [199]то академический сторож с инструментом [200]чорт знает, какая дрянь.

До самого полудня пролежал он в постели, желая заснуть, но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы прелестная рука грациозно мелькнула перед ним!

Все откинувши, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный только сновидения своего; ни к чему не думал он притронуться,[201] глаза его без всякого участи, безо всякой жизни глядели в окно, обращенное во двор где гряз<ный> водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: «*<1 нрзб> старого платья продать*», и нищие две старухи напевали во все горло какой-то жалобный марш. Действительность вседневная странно поражала его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностью бросился в постель, долго боролся с бессоницей, наконец, сон пересилил его.[202] Боже, какая радость! Опять она, но уже совершенно в другом мире. О, как хорошо она сидит <у> деревенского светлого домика! Наряд ее весь кажется[203] той простой тенью, которою[204] только облекается мысль поэта. Создатель! Прическа на голове ее — создатель, как хороша![205] Простенькая косынка была накинута[206] на стройной шейке и груди; все в ней скромно, все в ней — тайное чувство вкуса и музыки. Как чудесно[207] грациозна ее походка, как музыкален милый шум ее простого платья, как хороша кисть руки, стиснутая крепко браслетом! Она говорит ему с слезой[208] на глазах: «не презирайте меня, — я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Поглядите на меня, взгляните пристальнее и скажите: разве я способна к тому, что вы думаете? О, нет, нет! пусть тот, кто осмелится это подумать пусть тот...» Боже, но он проснулся. «Боже,[209] лучше бы ты вовсе не существовала, не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника! Я бы не отходил от холста, на котором изобразила тебя божественная кисть; я бы вечно глядел на тебя; я бы целовал тебя; я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшею мечтою, и я бы был тогда счастлив! Никаких бы желаний не простирал далее! О, тебя бы призывал я как ангела-хранителя перед сном и бдением, о тебе бы молился я, когда бы случилось мне представить божественное и святое. Но теперь <по>думай, какая ужасная жизнь! Что пользы, что она живет? Разве жизнь сумасшедшего приятна его родственникам и друзьям, некогда <его> любившим?[210] — Боже, что за жизнь наша? — вечный раздор мечты с существенностью!» Такие мы<сли> занимали его беспрестанно[211] и с этого времени жизнь его приняла странное направление. Ни о чем н не думал, даже почти не ел и[212] <с> нетерпением, со страстью любовника ожидал вечера и желанного видения. Беспрестанное устремление мыслей к одному, наконец, взяло такую власть над всем бытием его и чувствами, что желанный образ неотразимо

---

[201] *Далее начато*: он просто [202] пересилил его опять [203] весь кажется проникнут [204] той скромнюю простотою, как<ой?> [205] *Далее начато*: в своей [206] косынка завязывалась узлом [207] *Далее начато*: ее платья и башмаков [208] с слезкой <?> [209] Боже, но он проснулся. О боже. Боже! Это ужасно как болит расстроенное бедное сердце [210] родственникам и друзьям, которые его любили [211] *Далее было*: ни о чем он не думал даже в течение все<го> дня, ничего не ел почти и ожидал все [212] и только

являлся ему каждую ночь всегда почти в положении[213] противоположном действительности, потому что мысли его были совершенно чисты, как мысли ребенка. Через это сновидение самый предмет как бы более делался чистым и мало-помалу преображался. Жажда сновидений сделалась наконец его жизнью.[214] И с этого времени самая жизнь приняла странный образ; он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне.[215] Если бы его кто-нибудь видел сидящим дома или шедшим по улице, то, верно бы, принял его за лунатика[216] или разрушенного крепкими напитками; взгляд его был вовсе без всякого выражения, а природная рассеянность, наконец, развилась[217] и властительно вытесн<ила>[218] все чувства, все движения на его лице. Он оживлялся только приближению ночи. Такое состояние неминуемо должно было расстроить его силы и самое ужасное мучение[219] для него было то, что наконец сон начал оставлять его вовсе. Желая спасти единственное свое счастие, он употреблял все средства, наводящие сон, и наконец прибегнул к опиуму.[220] Это средство сильнее всех других помогло ему и сновидения начали ему представать еще в лучшем виде.[221] Они еще более раскаляли его мысли, и если когда-нибудь <был> влюбленный совершенно до безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он. Из всех сновидений его одно было радостнее, прекраснее для него всех; ему представилась его мастерская, картин было множество; он так прилежно с таким наслаждением[222] сидел с кистью в руках. И она тут. Она была его женой. Она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком на спинку его <стула>[223] и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства, все в комнате его дышало раем, было так светло, так убрано. Создатель! она склонила к нему на грудь прелестную головку. Лучшего <сна> он еще никогда не видывал. Он встал после него как-то свежее и менее рассеянный, нежели прежде. В голове его родились странные мысли. Может быть, она вовлечена каким-нибудь невольным случаем в разврат; может быть, движения души ее склонны к раскаянию; может быть, она желала бы сама вырваться из ужасного своего состояния,[224] и неужели равнодушно допустить ее гибель?[225] [тогда] как[226] только <стоит> подать руку, чтобы спасти ее от потопления.[227] Мысли его простиралась еще далее: «Меня никто не знает», говорил он сам в себе, — «да и кому какое дело ко мне?[228] да и мне тоже нет дела ни до кого. Если она изъявит чистое раскаяние, я женюсь на ней, я должен тогда жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие,[229] которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Мой подвиг будет велик: я возвращу миру прекрасней-

---

[213]в виде [214]*Далее начато*: образ [215]спал на яву и жил <во сне> [216]принял его за безумно задумчивого [217]разрослась [218]и властительно скрыла [219]самое ужасное наказание [220]*Далее начато*: *а*) Жизнь его опять началась *б*) Любимые сновидения опять снились [221]начали ему представлять еще в лучшем <виде?> все это [222]*а*) он так ра<достно?> *б*) он так живо и рад<остно?> [223]на стол [224]*Далее начато*: *а*) неужели он *б*) может быть она сама возвратится к добродетели [225]и неужели должна она погибнуть [226]*Далее начато*: одной [227]*Далее начато*: меня не <знает> [228]до <меня> [229]нежели многие статские [действительные статские] и даже действительные советники; Пискарев уже начал, [как сами читатели заметят, немного] вольнодумствовать

шее[230] его украшение».[231] Краска живости осенила мутное лицо его; он подошел к зеркалу и испугался сам впалых щек и бледности лица; тщательно начал он принаряжаться; приумылся, пригладил волоса, надел новый фрак, щегольский жилет, набросил плащ и вышел на улицу. Он дохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце, как больной выздоравливающий, в первый раз решившийся выйти после[232] своей долгой болезни.

Сердце его билось страшно,[233] когда он подходил к той улице, на которой нога его не была со времени роковой встречи. Долго он искал дома, но память ему изменила; он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец один показался ему похожим. Он взбежал на лестницу с сердцем, казалось, стремившимся вырваться из груди, постучал в дверь. Дверь отворилась — и кто же ему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которою он жил так ужасно, так страдательно, так сладко жил, — она, она сама стояла перед ним. Он задрожал;[234] он едва мог удержаться[235] на ногах от слабости, охваченный порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасна, хотя глаза ее были заспаны; бледность усталости проступала на ее лице, уже не так свежем, но она все была прекрасна. «А!» — сказала она, увидевши Пискарева и протирая глаза свои (тогда было уже два часа): «Зачем вы убежали тогда от меня?» Но он в изнеможении сел на стул и глядел на нее. — «А я только что теперь проснулась, меня ведь привезли совершенно без чувств, — тогда уже было 7 часов утра. Я была совсем почти пьяна», — прибавила она с улыбкою. «О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, нежели произносить такие речи!» В эти немногих словах выразилась вся беспорядочная, вся жалкая развратная жизнь. Однакож, несмотря <на это>, он[236] решился попробовать, не будут ли иметь над нею действия его увещания. Собравшись с духом, он дрожащим голосом начал представлять ужасное ее положение. Она слушала его с внимательным видом и с тем чувством удивления, которое мы изъявляем при виде какой-нибудь неожиданной странности.[237] Она взглянула на сидевшую в углу свою приятельницу,[238] которая оставила свои карты и тоже слушала со вниманием нового проповедника, и улыбнулась. «Правда, я беден», сказал наконец после долгого и поучительного увещания наш художник, — «но мы станем трудиться,[239] мы станем наперерыв один перед другим стараться улучшить нашу жизнь. Нет лучше, как быть обязану во всем самому себе. Я буду сидеть над картинами, ты будешь, сидя возле меня,[240] одушевлять мои труды, шить или заниматься другим рукоделием, и мы ни

[230]одно прекраснейшее [231]*На полях написано*: Он ждал как любовного свидания с нею; там было все его счастие; там был его весь рай, там была вся жизнь, вся ее поэзия, все небо [232]решившийся после [233]билось сильно [234]оригинал мечтательных картин, она, она сама; он затрепетал. [235]он едва не упал [236]Однакож Писка<рев> [237]*Далее начато*: или какой<-нибудь> неожиданно<сти> [238]на сидевшую в углу женщину [239]*Далее было*: труд будет нам приятен [240]сидеть возле него

в чем не будем иметь недостатка».— «Как можно», — прервала она речь: — «я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работой». Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата. — «Женитесь на мне», — подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница: — «Если я буду женою, я буду сидеть вот как», — при этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, причем красавица начала смеяться от души.

— «Боже! помоги мне вынесть!» — произнес отчаянным голосом Пискарев и уже готов <был> собрать весь гром сильного,[241] из самой души излитого красноречия, чтобы потрясти бесчувственную, замерзшую душу красавицы, как вдруг дверь отворилась, и вошел с шумом один офицер. — «Здравствуй, Липушка», — произнес <он>, без церемонии ударивши по плечу красавицу — «Не мешай же нам», сказала красавица, принимая глупо серьезный вид. — «Я выхожу замуж и сейчас должна принять предлагаемое мне сватовство».[242] О, этого уже нет сил перенести! бросился он вон,[243] потерявши и чувства, и мысли. Ум его помутился. Глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день;[244] никто не мог знать, ночевал ли он где-нибудь или <нет>. На другой только день он каким-то глупым инстинктом зашел на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепа<нными> волосами, с признаками безумия на лице. Он заперся в своей комнате и никого не пускал, ничего не требовал.[245] Четыре дня прошло, и его запертая комната ни разу не отворялась. Наконец прошла неделя и его комната все так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа. Наконец выломали дверь и нашли труп с перерезанным горлом. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному лицу можно было заключить, что бритва была довольно тупа и что он долго еще мучился прежде нежели[246] грешная душа его оставила тело. — Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий,[247] робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта[248] и, может быть, [249] совершивший бы когда-нибудь со славою свое поприще. Никто не поплакал над ним, никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры[250] квартального надзирателя и равнодушного лица городского лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту.[251] За ним идучи плакал один сторож и то потому только, что выпил по утру еще лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несча-

---

[241]весь гром душевно<го> [242]принять сватов<-ство> [243]как сумасшедший бросился он вон [244]бродил он весь день по гор<оду> [245]*Далее начато*: так что [246]прежде еще нежели [247]такой тихий [248]носивший в себе такую любовь [249]*Далее начато*: с блеском покаж<ет?> развившийся [250]кроме пошлой фигуры [251] *а*) Гроб его без утешительных обрядов религии *б*) Гроб его без обрядов христианских <*1 нрзб* >*в*) Гроб его отвезли скромно без всяких обря<дов>.

стного[252] бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство.

Впрочем ему было вовсе не до того:[253] он был занят чрезвычайным происшествием. Но обратимся к нему. Я не люблю трупов и покойников, мне всегда неприятно, когда мне переходит дорогу длинная погребальная процессия и инвалидные солдаты нюхают табак левою рукою, одетые[254] в черный капюшон, потому что в правой[255] они держат дымные факелы. Но для меня еще грустнее,[256] когда я вижу как ломовой извозчик[257] тащит красный непокрытый гроб бедняка и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется[258] за ним, не имея друго<го> дела. Мы оставили, кажется, Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Это было легонькое довольно интересное созданьице; она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные за стеклом кушаки,[259] платочки, серьги[260] или другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. — Ты, голубушка, уже моя, — говорил[261] с самоуверенностью Пирогов, продолжая свое преследование и закутавши лицо свое воротником[262] шинели, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Но кстати не мешает[263] читателю дать известие, кто таков был поручик Пирогов. Но поручик Пирогов имел кроме этого множество талантов, собственно ему принадлежащих. Он превосходно декламировал стихи из «Дмитрия Донского», из «Горе от ума» и имел особенное искусство, куря трубку, пускать дым кольцами так, что он мог вдруг около десяти колец нанизать одно на другое. Умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе. Впрочем[264] оно несколько трудно перечесть все таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапорщик; он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хоть иногда, ложась на диван, говорил: «Ох, ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?» Но втайне его очень льстило новое достоинство, и он в разговоре часто старался нечаянно обиняком намекнуть кое-что о себе. И один раз, когда попался ему на улице маленький кадет, жевавший крендель и проглядевший его, он остановил <его> и в немногих, но резких словах дал заметить, что он — поручик. Он тем более старался это изложить красноречивее, что в это время проходила мимо его[265] дама. Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое странное существо, что никогда не можно исчислять за одним разом всех <его> достоинств [или для этого очень много нужно места и времени; потому что] всякий раз когда ни всматриваешься[266] <в> него, встречаются беспрестанно[267] новые особенности и описание их было бы бесконечно. Итак, Пирогов не переставал преследовать незнакомку <и> от времени до времени занимать тонкими[268] вопросами, на которые она отвечала очень редко, отрывисто и какими-то неясными звука-

---

[252]на несчастный труп [253]не до того чтобы вспомнить об этом [254]инвалидные солдаты одетые <?> [255]потому что в левой [256]Но досада моя смешивается <с грустью> [257]как ванька [258]тащится [259]на всякие куш<аки> [260]серьги всяки [261]уже, говорил [262]бобровым воротником [263]Но кстати нужно [264]Впрочем всех талантов [265]возле него [266]когда не глядишь на него [267]встречаются вечно [268]занимать приятными

ми. Они вошли темными воротами Казанского в Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок немцев-ремесленников и чухонских нимф.[269] Блондинка бежала скорее, впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице[270] и вошла в двери, которыми Пирогов смело вобрался в комнату. Это большая комната с черными [стенами], закопченным потолком. Куча слесарных инструментов лежала на столе и на полу. Пирогов тотчас смекнул, что это[271] была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в дверь. Пирогов на минуту остановился, но наконец решился итти вперед, следуя русскому правилу. Он вошел в другую комнату, вовсе непохожую на переднюю, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. И что же он увидел вошедши в комнату? Перед ним сидел «Шиллер» не тот Шиллер, который написал Валленштейна и Историю Тридцатилетней войны, но известный Шиллер, слесарный мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, не писатель[272] Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на столе, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение обеих фигур. Шиллер сидел, выставивши свой нос довольно толстый и поднявши вверх голову, а Гофман держал его за этот толстый нос двумя пальцами и держал лезвие своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Оба лица говорили на немецком языке, и потому поручик Пирогов, который знал только по-немецки gut Morgen, ничего не мог <понять> из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем: «Я не хочу, мне не нужен нос», говорил он, размахивая руками. «У меня на один нос выходит[273] 3 фунта табаку в месяц. И я плачу в русской скверный магазин потому, что немецкий магазин не держит русского табаку, — я плачу в русской скверный магазин за каждый фунт по 40 копеек. Это будет 120 копеек.[274] Двенадцать раз рубль двадцать копеек... это будет 14 рублей 40 копеек. Слышишь, друг мой, Гофман, на один нос 14 рублей 40, да по праздникам я нюхаю Рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русской скверный табак. Прибл<изительно> я два фунта нюхаю Рапе в год по 2 рубля. Шесть да четырнадцать — двадцать рублей сорок копеек на один табак! Я швабский немец, у меня есть король в Германии. Я не хочу носа, режь мне нос! Вот мой нос. Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли?» Гофман, который был пьян, отвечал утвердительно. И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то безо всякого сомнения Гофман отрезал бы ни за что, ни про что[275] Шиллеров нос, потому что он уже привел нож свой совершенно в такое положение, как бы хотел кроить подошву.

Черткову очень неприятно было такое обхождение, вовсе неприличное его чину-званию, он несколько раз останавливался на лестнице как бы желая собраться с духом и подумать, каким образом дать почувствовать Шиллеру его дерзость, но наконец рассудил, что Шиллера можно изви-

[269] вечерних нимф. [270]взбежала на лестн<ицу>, Пирогов туда же. Она [271]Пирогов догадался, что она [272]не тот [273]выходит русского [274]Это будет рубль <20 копеек> [275]отрезал бы ни за что, ни про что как подошву

нить, потому что голова его была наполнена пивом и вином; к тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решил, что на этот раз ему можно извинить невольное преступление. На другой день поручик Пирогов в 10 часов утра явился как снег на голову в мастерскую оловянных дел мастера. В мастерской встретила его та же хорошенькая блондинка и довольно суровым голоском, который очень шел ее личику, спросила: «что вам угодно?»

— «А, здравствуйте, моя миленькая, — вы меня не узнали? Плутовочка, какие хорошенькие глазки!» — При этом поручик Пирогов хотел очень мило поднять своим пальцем ее подбородок. Но блондинка произнесла[276] пугливое восклицание и с той же суровостью спросила:[277] «что вам угодно?» — «Вас видеть, больше ничего мне не нужно», — произнес Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе, но заметив, что пугливая блондинка хотела проскользнуть к двери, прибавил: — «Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры.[278] Вы можете мне сделать шпоры? Хотя для того, чтобы любить, вовсе не нужны шпоры, скорее уздечку [нужно наложить на мои чувства, пылающие к вам]». Поручик Пирогов всегда очень бывал любезен[279] в изъяснения подобного рода.

«Я сейчас позову моего мужа», вскрикнула немка и ушла, а через несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходившего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. Взглянувши на офицера, он припомнил, как в смутном тумане, происшествия вчерашнего дня. Он ничего не помнил в таком же виде, как было, но чувствовал, что[280] сделал какую-то глупость, и потому принял офицера с очень суровым видом. — «Я за шпоры меньше не могу взять как пятнадцать рублей», произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел <его> в таком неприличном положении, потому что Шиллер любил пить совершенно без свидетелей с двумя-тремя приятелями[281] и запирался на это время даже от своих работников.[282] «Зачем же так дорого?» ласково сказал Пирогов. — «Немецкая работа!» — хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок: «Русской возьмет сделать за 2 рубли». — «Извольте, чтобы доказать, что я люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу 15 рублей».

Шиллер минуту оставался в размышлении: ему, как честному немцу, сделалось несколько совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше двух недель не может. Но Пирогов без всякого прекословия изъявил совершенное свое согласие. Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу так, чтобы она действительно стоила 15 рублей.

В это время блондинка впорхнула в мастерскую и начала рыться на столе, установленн<ом> кофейниками. Поручик воспользовался этим и,

---

[276]Но блондинка сде<лала> [277]и произнесла [278]сделать шпоры [279]бывал мил [280]чувствовал, как [281]двумя-тремя приятелями, так даже, чтобы [282]*Далее было*: но Пирогов к удивлению его согласился в ту же минуту

видя задумчивость Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось. «Mein Frua!»[283] закричал он.

«Was wollen sie doch?» отвечала блондинка.

«Gehen sie на кухня!» Блондинка удалилась.[284]

«Так через две недели», — сказал Пирогов. — «Да, через две недели», — отвечал в размышлении Шиллер: «у меня теперь очень много работы».

— «До свидания! я к вам зайду!» — «Прощайте», — отвечал Шиллер, запирая дверь.

Поручик Пирогов не решался оставить надежд своих, несмотря на то, что немка оказала явный отпор.[285] Он не мог никак понять, чтобы можно было долго ему противиться, тем более, что самая его любезность и блестящий чин, кажется, подавали[286] ему полное <право> на всякое внимание прекрасного пола.[287] Жена Шиллера была при всей миловидности своей очень глупа, но глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере я знаю многих мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит удивительные чудеса. Все пороки душевные в красавице, вместо того чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышет в них миловидностью; но исчезни она, — и женщина становится прямо <?> демон и ей нужно быть в двадцать раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе если не любовь, то, по крайней мере, уважение.

Впрочем жена Шиллера, при всей глупости, была всегда верна своей обязанности и потому Пирогову довольно трудно[288] было успеть в смелом своем предприятии; но блондинка становилась с каждым днем для него интереснее.[289] Он начал <посещать Шиллера> довольно часто, стал осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это наконец сделалось очень скучно. Он употребил все усилия, чтобы окончить проклятые шпоры; наконец, шпоры были готовы. —

«Ах, какая отличная работа!» — закричал поручик Пирогов. «Господи, как это хорошо сделано! у нашего генерала нет эдаких шпор!» Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело и он в мыслях совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер умный человек», — думал он сам про себя.

«Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, к кинжалу и другим вещам?» «О,[290]очень могу!» — сказал Шиллер с улыбкою. — «Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я сам принесу; у меня очень хороший турецкий кинжал, но оправу мне хотелось сделать другую». Шиллера это как бомбою хватило. Лоб его вдруг наморщился. «Вот тебе на!» — подумал он про себя, внутренно себя браня за то, что сам накли-

---

[283]*Так в рукописи* [284]*Далее начато*: Нет, я может не сделаю сам [285]оказала сопротив<ление> [286]мог пода<вать> [287]*Далее начато*: Чтобы зас<тавить?> [288]весьма трудно [289]но эта интрига его стала интересовать чрезвычайно [290]О! О!

кал работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, притом же русской офицер похвалил его работу. Он несколько <раз?> почесал свою голову, изъявил свое согласие. Но поцелуй, который, уходя, Пирогов влепил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение.

Я почитаю долгом познакомить читателя несколько покороче с Шиллером. Шиллер был совершенно немец в полном смысле этого слова. Еще с 20-летнего возраста, с [того] счастливого времени, в которо<е> русско<й> живет на фуфу, уже Шиллер размерил всю свою будущую жизнь и никакого ни в каком случае[291] не делал исключения.

Он положил вставать в семь часов, обедать в два,[292] трудиться,[293] быть пьяным каждое воскресенье,[294] а летом играть в кегли. Он положил себе в течение 10 лет составить капитал из пятидесяти тысяч и уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее земля разрушится [295]... Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек: если цена картофеля поднималась[296] против обыкновенного, он ни одной копейки не прибавлял, но уменьшал только количество и хотя оставался иногда несколько голодным,[297] но скоро однакоже привык к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену в сутки не более как два раза и чтобы не поцеловать лишний раз,[298] он никогда в свой суп не клал перцу более одной чайной ложечки. Впрочем, в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и бутылку тминной водки, которую впрочем он всегда бранил; пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь и нарезывается один. Напротив, он как немец пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с столяром Кунцом, тоже немцем и большим пьяницею. Таков был характер благородного Шиллера, который,[299] наконец, был приведен в чрезвычайно затруднительное положение. Хотя он был флегматик и немец, однакож поступки Пирогова возбудил<и> в нем что-то похожее на ревность. Он не знал,[300] каким образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем Пирогов, куря трубку в кругу своих товарищей (потому что уже так провидение устроило, что где офицеры, так и трубка), куря трубку в кругу своих товарищей, намекал очень значительно и с приятной улыбкою об интрижке с хорошенькой немкою, с которою, по словам его, он уже совершенно был накоротке. Однакоже поручик не довольствовался одними похвалами, хотя в самом деле он готов <был> лишиться терпения.[301] Наконец один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами, и к величайшей радости своей увидел голову блондинки,

---

[291]и никакого ни для <чего> [292]обедать в два, ложиться после обеда [293]трудиться по будням [294]весь день он по воскресеньям аккуратно <был пьян?> [295]*Не дописано* [296]была дороже [297]*Далее начато*: но никогда [298]и чтобы это не случилось [299]*Далее начато*: несмотря на то, что он был <флегматик> [300]Он вовсе не знал [301]*Далее начато*: *а*) он решился в самом деле скорее око<нчить> *б*) [непременно успеть] в оправдание слова

свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручкою и сказал«gut Morgen». Блондинка поклонилась ему как знакомому лицу.

— «Что, ваш муж дома?» — «Дома», отвечала блондинка. — «А когда он не бывает дома?» — «Он по воскресеньям не бывает», — сказала глупенькая блондинка. «Хорошо», подумал про себя Пирогов: «этим нужно воспользоваться», и в воскресенье явился как снег на голову перед блондинкой.[302] Шиллера, действительно, не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась, но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показал всю красоту своего гибкого перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными словами. Наконец, заходивши со всех сторон и видя, что ничто не может занять его хорошенькую[303] компанионку, он предложил ей танцовать. Немка согласилась в одну минуту, потому что молоденькие немки очень любят танцовать. Притом на этом Пирогов очень много основывал надежд: во-первых, это ей уже могло доставить удовольствие, во-вторых, это могло показать все совершенство его торнюры и ловкость в движении, в-третьих, — в танцах ближе можно сойтись, несколько раз обнять хорошенькую немку без всякого с ее стороны неудовольствия; короче сказать, на этом он основывал совершенный[304] успех. Он начал напевать какой-то гавот, зная что с немками нужна постепенность. Молоденькая[305] немка выступила на середину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он схватил ее в свои объятия[306] и засыпал поцелуями.[307] Немка начала кричать, и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова, который еще сильнее начал целовать. Как вдруг дверь отворилась и вошли Шиллер с Гофманом и столяром Кунцом; все эти ремесленники были пьяны, как сапожники. Но... я предоставляю самим читателям судить о гневе и негодовании Шиллера. — «Грубиян!» — закричал он в величайшем негодовании. — «Как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а ней русской офицер! Чорт побери, не так ли, мой друг Гофман?» Гофман отвечал утвердительно.[308] «Я не посмотрю на то, что ты офицер. О, я не хочу иметь рога![309] Бери его, мой друг Гофман, прямо за шею. Я не хочу», — продолжал <он>, — сильно размахивая руками, при чем лицо[310] его было похоже на красное сукно его жилета. «Я восемь лет живу в Петербурге; у меня в Швабии живет и мать моя, и дядя. Я немец, а не рогатая говядина. Прочь[311] с него платье! Мой друг Гофман, держи его за рука, мой камарат, мой Кунц», — и немцы схватили за ноги и руки Пирогова. Напрасно силился он отбиваться; эти три немца были самый дюжий народ из всех петербургских ремесленников.[312] Если бы Пирогов был в полной форме, то, вероятно, почтение к его чину

---

[302]и в воскресенье явился к квартире Шиллера [303]прекр<асную> [304]основывал весь свой [305] хорош<енькая> [306]что он набр<осился> [307]и начал целовать [308]*Далее начато*: О, я не хочу [309]*Далее было*: Я восемь лет как живу в Рос<сии> [310]причем все лицо [311]Вон [312]эти три немца были очень сильны.

и званию остановило бы буйных тевтонов. Но он прибыл совершенно как частный приватный человек[313] в сюртучке и без эполетов. Немцы с величайшим неистовством сорвали с него все платье <*1 нрзб*>. Гофман всей тяжестью своей сел ему на ноги, Кунц схватил за голову, а Шиллер схватил в руку пук прутьев, служивших метлою. Я должен с прискорбием признаться, что поручик Пирогов был очень больно высечен.

Я уверен, что Шиллера на другой день трясла страшная лихорадка, что он дрожал, как лист, ожидая с минуты на минуту прихода полиции; что он бы бог знает что дал, чтобы все то, что происходило вчера, происходило во сне; но что было, того уже нельзя переменить.

Но ничто не могло сравниться с гневом и негодованием самого Пирогова. Губы его сохнули и дрожали от ярости при одной мысли об этом ужасном оскорблении. Он не находил достаточного мщения. Сибирь и плети казались ему весьма легким наказанием за это ужасное бесчестие и наглое самоуправство.[314] Он летел домой, чтобы оттуда прямо итти к генералу, описать[315] ему самыми разительными красками это положение. Он разом хотел подать и письменную просьбу в Главный штаб. Если же Главный штаб определит недостаточное наказание, тогда прямо в Государственный совет, а не то самому государю.

Но все это как-то странно кончилось. По дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной Пчелы»[316] и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный[317] прохладный вечер заставил его несколько далее пройтись по Невскому проспекту. К 9 часам он почти совершенно успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоить генерала.[318] Притом он без сомнения куда-нибудь отозван, и потому он решился итти на вечер к одному правителю контрольной комиссии, где было очень приятное собрание многих чиновников и офицеров его корпуса, и там так хорошо отличился в мазурке,[319] что привел в восторг не только дам, но даже и офицеров его полку.[320]

«Дивно устроен свет наш! думал я, бредя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия.[321] «Один им<еет>», думал я, «все разом <*1 нрзб*>, другой <*2 нрзб*>.Тот стреляется по своей воле, другого секут когда он вовсе этого не желает; тому судьба дает прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая красоты <их>», тогда как другой, которого все сердце горит лошадиной любовью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусков никак не может отправить; другой имеет рот с хороший чемодан и гор-

---

[313]Но он прибыл приват<но?> [314]бесчестие и самоуправство. [315]к генералу с тем чтобы описать [316]прочитал Москов<ский Телеграф?> [317]Притом хор<оший> [318]*Далее начато*: который может быть [319]здесь он так хорошо танцовал [320]*Далее было*: Странные события случаются в свете [321]*Далее было*: Тот застрелился, другого высекли. Боже, как чудно устроен свет наш, как непостижимо играет нами судьба наша, одн<ому> дается все

ло,[322] что[323] мог бы проглотить пушечное ядро, но, увы, должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как непостижимо играет судьба наша!»

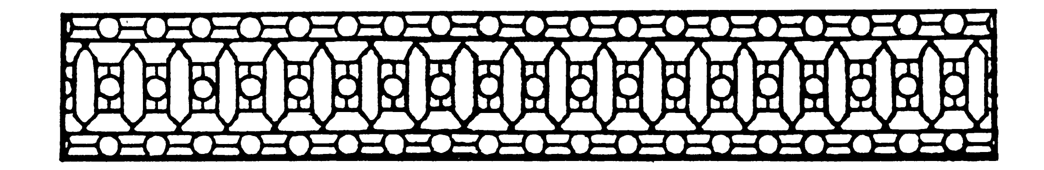
Но страннее всего происшествия случаются на Невском проспекте.[324] Я всегда закутываюсь крепче своим плащом, когда всхожу на Невский проспект, и стараюсь вовсе не глядеть <на> встречающиеся предметы.[325]

Не верьте ни в чем Невскому проспекту. Все обман, мечта. Вы думаете, что этот господин очень богат, который идет в красиво сшитом сюртучке? — Ничуть не бывало. Он весь состоит из своего сюртучка и всегда ожидает несколько часов дома, покамест стирается его белье, потому что второй переменой он не обзавелся еще. Вы воображает, что эти два господина, остановившиеся перед лютеранскою киркою, судят об ее архитектуре? — Совсем нет: они говорят о том и удивляются, как две вороны сели очень странным образом одна против другой.[326]

Вы воображаете, что этот господин в несколько истертом фраке, размахивающий[327] руками, говорит о вкусном обеде или о том, что жена бросила из окна шарик в вовсе незнакомого ему гвардейского офицера? — Ничуть не бывало: он доказывает, в чем состояла главная ошибка Лафайета. Вы воображаете, что эти дамы говорят <об> очень, очень смешном? Совсем нет: они для того шевелят губами с приятной улыбкою, что уверены во всей грациозности такого положения. Не заглядывайте в окна магазинов на сверкающую кучу[328] ослепительных безделок; они обольстительны, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Еще боже вас сохрани, не заглядывайте дамам <?> под шляпки.[329] Как привлекательно ни развевайся вечером вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Все обман... Мимо фонарей! скорее сколько можно проходите, и это еще счастье, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим маслом своим. — Он опасен необыкновенно, этот Невский проспект; опасен[330] для кармана, для сердца, для всего; он во всякое время лжет, обольщает, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет и отделит белые и палевые стены домов. Но огни сделают его почти транспарантом, когда весь город превратился в гром и блеск, [когда] мириады карет валятся с мостов, мелькая фонарями; форейторы кричат и прыгают на лошадях.[331] И когда сам демон зажигает ярко лампы[332] для того, чтобы все[333] показать не в настоящем виде.

---

[322]и горло как широко<е?> <*1 нрзб*> [323]*Далее начато*: было <*2 нрзб*> [324]*Далее было*: я никогда не гля<жу?>, я положил себе за правило никогда не глядеть на предметы, попадающиеся на Невском проспекте [325]*а*) и стараюсь не глядеть <на> то, на что *б*) и стараюсь ∾ предметы. Все обман [326]они сообщают друг другу как странно [327]что этот господин раз<махивающий> [328]на весь этот [329]*Далее начато*: пусть [330]он опасен [331]форейторы кричат и прыгают. [332]зажигает обольстительные <?> лампы [333]для того, чтобы там все



НОС

I

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОК

23 числа 1832-го года случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие. Цирюльник, живущий в Вознесенской улице, Иван Иванович (фамилия его утратилась, по крайней мере на вывеске его изображен[1] господин с намыленною бородою и подписью внизу: и кровь отворяют, выставлено:[2] Иван Иванович, больше[3] ничего). Цирюльник, говорю, Иван Иванович, проснулся и натащил на себя запачканный фрак, которого воротник и клапаны испускали запах вовсе не похожий на амбре. Супруга Ивана Ивановича, которой имя[4] чрезвычайно трудное, начала вынимать из печки горячие хлебы. «А дай-ка я вместо кофию, да съем горячего хлебца», сказал Иван Федорович. И хорошо, подумала про себя супруга, бывшая вовсе не прочь от <того>, чтобы самой выпить кофейник. Иван Федорович переломил хлеб и какое же было его изумление, когда он увидел сидящий там нос. Нос мужской, довольно крепкой[5] и толстый... Изумление его решительно превзошло всякие границы,[6] когда он узнал,[7] что это был нос[8] коллежского асессора Ковалева,[9] — тот нос, который теребил во время бритья и упирался[10] большим пальцем. Он не мог ошибиться: нос был[11] полноват, с едва заметными тонкими[12] и самыми нежными жилками, потому что коллежский асессор любил после обеда выпить рюмку хорошего вина.

II

ПЕРВАЯ ПОЛНАЯ РЕДАКЦИЯ

Сего февраля 23 числа случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие: цирюльник Иван Федорович, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена и даже на вывеске его, где изображен

---

[1] Даже на вывеске, на которой изображен [2] *Далее начато*: на этой вывеске написано вверху [3] и больше [4] *а*) имени *б*) которой имя было какое-то [5] довольно прямой [6] Какие можно было положить границы его <изумлению> [7] увидел [8] что этот нос был [9] *Далее начато*: он нико<гда> [10] на котором упирался [11] не мог не ошибиться, потому что нос был [12] тонкими жилками

господин с намыленною щекою с надписью: «и кровь отворяют»[1] не выставлено никакой фамилии).[2] Цирюльник Иван Федорович проснулся[3] довольно рано[4] и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала[5] из печи только что выпеченные хлебы. «Сегодня я, Парасковья Осиповна, не буду пить кофию», сказал Иван Федорович, «а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком». То-есть Иван Федорович хотел бы и того и другого, но знал, что двух вещей совершенно невозможно требовать, ибо Парасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.[6] «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», подумала про себя супруга.[7] «Останется[8] кофию лишняя порция», и бросила один хлеб на стол. Иван Федорович для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку и взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. — Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и к удивлению своему увидел что-то выглядыва<ющее>, белевшее. Иван Федорович ковырнул ножом и пощупал пальцем: «холодное!», сказал он сам про себя: «что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил довольно крепкой и мясистый нос... Вынувши его, он и руки опустил. Начал протирать глаза и щупать его, пальцем: нос, точно нос! и еще казалось как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Федоровича. Но этот ужас был ничто против того негодования, которое овладело его супругою: «Где это ты, зверь, отрезал нос» закричала она с гневом. «Мошенник, пьяница,[9] я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уже я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еще держатся».

Но Иван Федорович был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот <нос> принадлежал коллежскому асессору Ковалеву, которого он брил каждую середу и воскресенье. «Стой, Парасковья Осиповна, я положу его, завернувши <в> тряпку, в уголок, пусть там маленечко полежит, а после его вынесу».[10] «И слушать не хочу, зверь проклятый! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу? — Не будет этого, не будет! Найдут полицейские обыскивать да подумают, что я была участницею в таком. Вон его, вон! неси куда хочешь, чтобы я духу его не слышала!» Иван Федорович стоял совершенно как убитый. Он думал и не мог придумать, каким образом это случилось. Одна мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его как отрезавшего этот нос,[11] приводила в ужас.[12] Уже ему мерещился красный воротник, шпага[13] и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье[14] и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь сопровождаемый нелегкими увещаниями Парасковьи Осиповны. Завернул нос в тряпку

---

[1]*Далее было*: ничего другого не напи<сано> [2]*Далее было*: кроме Иван Федорович [3]встал [4] *Далее было*: поворотился на своей кровати, привстал [5]сажа́ла в [6]не любила этого [7]солидная супруга [8]Мне оста<нется> [9]*Далее начато*: Разбойник на [10]а после я его вынесу и выкину. [11] *а*) и почтут его отрезавшим <этот нос> *б*) и обвинят его в отрезании [12]подирала его по коже [13]длинная шпага [14]*Далее было*: напялил его

и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить да и повернуть в переулок, но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который почел за дело спросить его: куда идешь? или[15] поговорить о[16] дороговизне цен. Так что Иван Федорович никак не нашелся подсунуть. Один раз он вздумал было уронить, но бутошник еще издали указал ему алебардою, сказавши:[17] «Подыми, вон ты что-то уронил», и Иван Федорович должен был[18] поднять нос и спрятать в карман. — Отчаяние овладело им, тем более, что народу беспрестанно увеличивалось на улице по мере того как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился итти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть ему в Неву. — Но я виноват: давно бы следовало кое-что сказать об Иване Яковлевиче,[19] человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякой порядочный русской человек, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно небрит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегой: то-есть он был черный, но весь в коричневых, желтых и серых яблоках,[20] на воротнике лоснился и вместо многих пуговиц[21] висели только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник: и когда коллежский асессор Ковалев говорил[22] ему во время бритья[23] по обыкновению каждый раз вечером: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно[24] воняют руки»; то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» — «Не знаю, братец, только воняют», говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это щеки, и под носом, и за ухом, и под бородою, и везде где только ему была охота.[25] — Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего обсмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть <как> течет вода под мост, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал как будто бы 10 пуд разом с него свалилось. Иван Яковлевич даже усмехнулся[26] и, вместо того чтобы итти брить чиновные[27] подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье с чаем» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального[28] надзирателя благородной наружности с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою и заложенным за пуговицу пальцем. — Он обмер. А между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А поди сюда, любезный!»

Иван Яковлевич, зная форму, снял еще издали картуз свой и, подошедши довольно поспешно, сказал: «Желая доброго дня вашему благородию».

«Нет, нет, братец, не благородию, а скажи, что ты там делал на мосту».

---

[15] *Далее начато*: *а*) от чего *б*) кого <какой> или собрался [16] *Далее начато*: о последствиях дороговизны [17] *Далее начато*: Вон [18] был в<ынужден> [19] Федоровиче [20] в коричневых яблоках [21] не было <?> пуговиц [22] спрашивал [23] во время бритья *вписано* [24] верно [25] *Далее было*: Итак Иван Яковлевич был в ужасном затруднении, как бы ему избавиться от носа [26] усмехнулся от радости [27] служ<ебные> [28] по-лице<йского>

«Ей богу, судырь, ходил брить, да посмотрел только шибко ли река идет».

«Врешь. Врешь. Этим не отбояришься.[29] Изволь-ка отвечать все!»

«Я уж вашей милости,[30] как сами изволите назначить два ли раза в неделю или три,[31] готов брить без всякого профиту», отвечал Иван <Яковлевич>.

«Нет, это пустяки, приятель. Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка признаться, что там делал?..»

Иван Яковлевич побледнел... но здесь происшествие скрывается совершенно туманом, и что далее произошло, решительно ничего неизвестно.

2

Коллежский асессор[32] Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: брр..., что всегда он делал, когда просыпался, хотя и сам не мог растолковать[33] по какой причине.[34] Потянувшись, он приказал подать к себе небольшое стоявшее на столе зеркало, чтобы взглянуть наново прыщик, который выскочил вчера вечером на его лбу [когда он очень долго прохаживался по Невскому просп<екту>]. К величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место. Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: — точно, нет носа... — Он начал щупать рукою, ущипнул себя, чтобы узнать, не спит ли он. Кажется, не спит...

Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: все нет носа. Он велел тотчас дать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.

Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть какого рода человек был этот коллежский асессор.[35] Асессоров, которые получают это звание[36] с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнить с теми коллежскими асессорами, которые получают это звание на Кавказе. Это два совершенно особые рода. Ученые коллежские профессора... Хм... Россия такая чудная земля, что если скажешь что-нибудь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессора от Риги до Камчатки[37] непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах от высших до низших. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года еще только состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог позабыть его, а чтобы еще более облагородить его он никогда не называл себя просто коллежским асессором, но всегда маиором. «Послушай, голубушка», говорил он обыкновен-

---

[29] *Далее начато*: отвечай! А вот [30] *Далее было*: под праздник [31] или когда и три [32] Коллежский проф<ессор?> [33] хотя совершенно и сам не мог растолковать [34] *Далее было*: Прежде всего, что делал Ковалев, это было [35] *Далее начато*: а) Вообще коллежских б) Есть [36] *Далее начато*: обык<новенно> [37] *Далее начато*: при<мут>

но, встретив на улице бабу, продававшую манишки: «ты приходи ко мне на дом, квартира моя в Садовой,[38]спроси только,[39] здесь живет маиор Ковалев — тебе всякой покажет!» — Если же встречал нечаянно <?> какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание и всегда повторял: «Ты спроси, душинька, квартиру маиора Ковалева». Потому самому пока будем вперед этого коллежского асессора <называть> маиором.

Маиор Ковалев имел обыкновение каждый почти день[40] прохаживаться по Невскому проспекту. Воротник у него был чрезвычайно накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских[41] поветовых землемеров, у архитекторов и, если только они русские люди,[42] также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, у которых чрезвычайно полные и румяные щеки и которые хорошо играют в бостон.[43] Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Маиор Ковалев[44] носил большое множество печаток сердоликовых с гербами и таких на которых только было вырезано: середа, четверг, понедельник и проч. Маиор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своего звания <места>. Если удастся,[45] то виц-губернатора, а не то экзекутора в каком-нибудь видном департаменте. Маиор Ковалев был непрочь и жениться. Но только в таком случае, когда невеста будет иметь двести тысяч капиталу. — И потому читатель может посудить теперь в полной мере, каково было положение этого маиора,[46] когда он увидел вместо довольно недурного, умеренного[47] носа, — преглупое, ровное, гладкое место.

Как на беду его, еще ни один извозчик не выезжал на улицу и он должен был итти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком <лицо>, показывая вид, как будто бы у него шла кровь. «На авось-либо мне так представилось, не может быть, чтобы нос пропал неизвестно куда»,[48] подумал он и зашел в кондитерскую нарочно, чтобы посмотреть в зеркало.[49] К счастью в кондитерской никого не было; мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сонными глазами выносили горячие пирожки; по столам и стульям валялись залитые кофием вчерашние газеты.[50] Он робко подошел к зеркалу и глянул. «Чорт знает что, какая дрянь!» произнес он, плюнувши. «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего».

С досадою закусивши губы, вышел он из кондитерской[51] и не решился глядеть ни на кого, что было он всегда делал прежде,[52] сопровождая это приятною улыбкою. Вдруг он остановился как вкопанный у дверей одного магазина. Перед магазином остановилась карета и из нее выпрыгнул, со-

[38]*Далее начато*: мо<жешь?> [39]только маиора Ковалева [40]каждое во<скресенье> [41]губернских *вписано* [42]архитекторов и у полицейских людей [43]которые хорошо играют в бостон *вписано* [44]*Далее начато*: имел кажется [45]Если можно [46]Ковалева [47]довольно порядочного [48]не может быть ∾ куда *вписано* [49]*Далее начато*: Осмотревши позади себя, не глядит ли какой-нибудь мальчишка, он [50]*Далее было*: Слава, богу, никого нет, подумал Ковалев и глянул Теперь можно поглядеть [51]*Далее начато*: Но как только [52]*Далее начато*: очень

гнувшись, господин в мундире. Ковалев с радостью и ужасом узнал, что этот господин был его собственный нос. Он решился дождаться его возврата в карету и стоял как в лихорадке. Через две минуты нос, действительно, вышел из магазина. Он был в модном парике[53] <и> мундире шитом золотом с большим стоящим воротником, на нем были замшевые [54] панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было видеть, что он считался в ранге статского советника.[55] Заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны и закричал кучеру: подавай! — сел и уехал. — Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал как и подумать об таком странном происшествии.[56] Как же можно, чтобы нос мог ездить и ходить в мундире. Он побежал за каретою, которая к счастию отъехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями только для глаз,[57] над которыми он прежде так[58] смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе[59] в двери. Ковалев чувствовал, что он в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах[60] был молиться. Он искал господина носа по всем углам и наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос совершенно спрятал лицо свое в большой стоящий воротник и с выражением величайшей набожности молился. «Как подойти к нему?» думал Ковалев:[61] «Одет как господин и при том еще статский советник. Чорт его знает!»[62] Он начал, стоя около него, покашливать, но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны. «Милостивый государь!»[63] сказал Ковалев, стараясь ободрить себя. «Милостивый государь...» — «Что вам угодно?», отвечал он, оборотившись. «Мне странно, милостивый государь... мне кажется... вы должны знать свое место. И я вас вдруг нахожу... и где же? — в церкви. Согласитесь...»

«Я не могу понять, как вы изволите говорить: объяснитесь». «Как мне ему объяснить?» подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал: «Конечно я... впрочем я...[64] Мне ходить без носа, согласитесь это не то что какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, — можно сидеть без него. Но для лица, получив<шего?> губернаторского места, что без сомнения[65] последует... Я не знаю, милостивый государь!» при этом маиор пожал плечами: «извините...[66] Если на это смотреть собразно с правилами долга и чести... вы сами можете понять...»

«Ничего решительно», отвечал нос: «изъясняйтесь удовлетворительнее».

---

[53]модном парике [54]лосинные [55]*Далее начато*: Он посм<отрел> [56]Он не знал происшествии *вписано* [57]оставившими две дыры только для глаз [58]так прежде [59]на проходе [60]не в состоянии<?> [61]*Далее было*: Господин, совершенно господин [62]*Далее начато*: как и<?> [63]*Далее начато*: Мне странно [64]*Далее начато*: <*1 нрзб*> и маиорский чин [65]которое мне без сомнения [66]*Далее начато*: как говорят это

«Милостивый государь!» сказал Ковалев с чувством достоинства: «Я не знаю, как понимать слова ваши... Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно[67]... или вы не хотите... Ведь вы мой собственный нос...[68]»

Нос посмотрел на маиора и брови[69] его несколько нахмурились. «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. При том между нами не может быть никаких тесных сношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить в сенате[70] или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части».[71] Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.

Ковалев совершенно смешался и сконфузился. «Что тут делать?» подумал он. В это время в стороне послышался приятный шум дамского платья. Вошла пожилая дама довольно широкого размера, вся убранная кружевами, несколько походившая на готическое строение, и с нею тоненькая, в платье очень мило драпировавшемся на ее стройниньких формах, в палевой шляпке, легкой как бисквитное пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий господин с большими бакенбардами и целой партией воротников.

Ковалев выступил поближе, высунул и поправил батистовый воротник манишки, поправил печатки от часов и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легинькую дамку, которая как весенний цветочик слегка наклонялась и подносила руку с белинькими прозрачными пальцами ко лбу. Улыбка на лице Ковалева расширилась еще далее, когда он увидел[72] из-под шляпки часть ее подбородка[73] и часть щеки. — Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно ничего нет. И слезы выдавились из глаз его. Он оборотился, чтобы прямо сказать этому господину, что прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего кроме собственный нос. — Но носа не было. Он успел ускакать вероятно опять к кому-нибудь с визитом. — Он вышел из церкви. Время бесподобное. Солнце светит. На Невском народу гибель. Дам так и сыплет целым водопадом.[74] Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо если это случалось при посторонних. Вон и Ярыжкин, столоначальник в сенате, большой приятель, вечно обремизивавшийся, когда играл в бостон восемь. — Вон и другой маиор, получивший на Кавказе коллежского асессора, махает ему рукой, чтобы шел к нему.

«А, чорт возьми!» сказал Ковалев. «Ей, извозчик! вези прямо к обер-полицмейстеру».

Ковалев сел в дрожки и только приказывал извозчику валять[75] во всю ивановскую.

«У себя обер-полицмейстер», вскричал он, взошедши в сени. «Никак нет», отвечал швейцар: «только что уехали».

«Вот тебе раз!»

---

[67]Здесь очевидно [68]Ведь вы [мой], если не ошибаюсь, мой собственный нос... [69]лоб [70]*Далее начато*: Я же [71]служу по ученой части [72]*Далее начато*: часть [73]щеки [74]*Далее начато*: *а*) водопадо<м> *б*) разноцветны<м> водопадом [75]ду<ть>

«Да, уехали», отвечал швейцар.[76] «А оно и не так давно, но уехал. Только минуточкой бы пришли раньше, то может и застали бы дома».

Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал совершенно потерянным голосом: «пошел!»

«Куда?» сказал извозчик. «Пошел прямо». — «Да направо или налево?»

«В управу Благочиния, или нет, стой! в Газетную экспедицию».

В полицию своим порядком, а между тем нужно объявить в газету,[77] потому что этот плут может сегодня же как-нибудь улизнуть, — так думал[78] коллежский асессор и кричал извозчику: «Скорей подлец, скорей мошенник, а не то будут вытянуты из тебя на страшном суде все кишки! Пошел разбойник!» — «Эх, барин», говорил извозчик и гнал лошадь. Они остановились и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник в старом фраке и в очках сидел за столом и,[79] взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.

«Кто здесь принимает объявления?» закричал Ковалев. «А, здравствуйте!»

«Мое почтение...» сказал седой господин, поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на накладенные горки денег.

«Я желаю припечатать...» — «Позвольте, немножко прошу повременить», произнес чиновник, ставя цифру и, смотря на бумажку,[80] передвигая пальцем левой руки два очка на счетах. Лакей с галунами и с довольно чистою наружностью, показывавшею его пребавания в аристокр<атическом>[81] доме, стоял возле стола с запискою[82] в руках и почел приличным показать свою разговорчивость и общежительность. «Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит восьми гривен, то-есть я бы за нее не дал 8 копеек.[83] Вечно дрянная под ноги так и лезет.[84] Как-нибудь наступишь ей на лапу — куда? Графиня такой подымет крик, что описать нельзя. И вот тому, кто только отыщет эту паскудную собачонку, 100 рублей![85] Понять нельзя какой вкус нашла в ней графиня. Уж когда охотник, держи лягавую или пуделя, не пожалей 500, тысячу дай, да уж чтобы была хорошая». Почтенный чиновник слушал это с значительною миною и в то же время занимался считанием[86] принесенных им денег,[87] отделяя 2 рубли 33 копейки за припечатанье объявления. — По сторонам стояло множество старух,[88] купеческих сидельцев, дворников, кучеров с записками. В одной отдавался кучер трезвого поведения, в другой мало подержанная коляска, работанная за Петра,[89] у которой не было ни одного винта целого. Там отдавалась здоровая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачешном деле, годная и для других работ в доме, у которой уже несколько зубов недоставало во рту; прочные дрожки без одной рессоры; молодая, горячая, в

[76] *Далее начато*: Минуто<чкой> <?> [77] в газетную экспедицию [78] сказал [79] *Далее начато*: счи<тал> [80] смотря на бумажку *вписано*: [81] богатом [82] с бумажкою [83] *Далее было*: Пусть бы была лягавая или пудель, ну бесспорно бы эту можно держать при себе охотнику, но эта [84] *Далее было*: То-есть не знаю какой вкус нашла в ней графиня. [85] *Далее начато*: которая то-есть и [86] другим делом [87] принесенной им суммы [88] *Далее начато*: сидель<цев> [89] *Далее начато*: в кот<орой>

серых яблоках, лошадь 17 лет от роду. Новые полученные из Лондона семена репы[90] и редис, так называемый индейской редис; отличная дача со всеми[91] угодьями, двумя стоялками для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный сад.[92] Там же было извещение о потерянном кошельке с обещаниями приличного награждения,[93] вызов желающих купить старые подошвы и [благо]волящих[94] явиться к переторжке в таком-то часу. — Комнатка, в которой все то находилось, была маленькая, закопченная и воздух в ней был так густ, хоть топор повесь, потому что русские мужики имеют удивительное свойство сгущать атмосферу,[95] и где соберутся и четыре дворника в красных рубашках и один кучер, там смело можно повесить на воздухе топор. — К счастью коллежский асессор Ковалев не мог ничего этого услышать,[96] потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.

«Милостивый государь, позвольте вас попросить... мне очень нужно».

«Сейчас, сейчас![97] 2 рубли 43 копейки![98] Рубль 60 копеек!» говорил седовласый господин, бросая в глаза старухам и дворникам записки.

«Вам что угодно?», наконец сказал он, обратившись к Ковалеву. «Я особенно прошу» сказал Ковалев: «случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто этого подлеца[99] ко мне представит, получит достаточное вознаграждение».

«Гм. Позвольте узнать, как ваша фамилия?»

«Коллежский асессор Ковалев. Впрочем[100] вы можете просто написать, состоящий в маиорском чине».

«Да что, сбежавший-то был ваш дворовый человек?»

«Какой дворовый человек? Это бы еще было не такое большое мошенничество. Но это нос...[101]»

«Гм. Какая странная фамилия. И на большую сумму этот Носов обокрал вас?»

«Нос, то-есть... Вы не то думаете. Нос, мой собственный нос пропал неизвестно <куда>. Сам сатана-дьявол захотел подшутить надо мною. Только этот нос разъезжает теперь господином по городу и дурачит всех. Так я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил ко мне мошенника, подлеца, сукина... но я закашлялся и у меня пересохло в горле: я не могу ничего говорить!»

Чиновник задумался, что означали его крепко сжавшиеся губы.

«Нет, я не могу поместить такого объявления в газету», сказал он наконец после долгого молчания.

«Как, отчего?»

---

[90]*Далее начато*: Там отдавалась дача [91]с местом [92]*Далее начато*: Извещение [93]*Далее начато*: о прод<аже> [94] *а*) благо<волящих> *б*) и гвоздей [95]воздух [96]заметить [97]*Далее начато*: Три [98]*Далее начато*: <*1 нрзб*> копеек [99]мошенника этого [100]Впрочем *вписано* [101]Но вот этой мой нос... *Далее было*: И на большую сумму <ограбил он?>

«Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос или губы... И так уже говорят, что печатают[102] много несообразностей и ложных слухов».

«Да когда у меня точно пропал нос».

«Если пропал, то это дело медика. Говорят, есть такие люди, которые[103] могут приставить какой угодно нос. Но впрочем я замечаю, что <вы> должны быть человек веселого нрава и любите пошутить».

«Клянусь вам, вот как бог свят, если лгу. Хотите ли, я вам покажу?»

«Зачем беспокоиться!» продолжал чиновник, нюхая табак. «Впрочем, если вам не в беспокойство, то желательно бы взглянуть», продолжал он с движением любопытства.

Коллежский асессор отнял платок.

«В самом деле, чрезвычайно странно!» сказал[104] чиновник. «Совершенно как только что выпеченный блин, место до невероятности ровное».

«Ну что, и теперь будете говорить! Извольте же сей же час напечатать».

«Напечатать-то, конечно, дело небольшое, только я не предвижу в этом большой пользы.[105] Если уже хотите, то вы можете дать кому-нибудь описать искусным пером, как редкое произведение натуры и напечатать занимательную статейку в Северной Пчеле...» чиновник понюхал табак: «для пользы юношества, упражняющегося в науках...» при этом он утер нос: «или так, для общего любопытства».

Коллежский асессор был в положении человека совершенно сраженного унынием. Он опустил глаза в лист газеты, где было извещение о спектаклях[106] и уже лицо его готово было улыбнуться, встретивши имя актрисы, хорошинькой собою, и рука взялась за карман пощупать, есть ли синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры,[107] по мнению Ковалева, должны сидеть в крестах, но мысль о носе как острый нож вонзилась в его сердце.[108]

Бедный Ковалев в нестерпимой тоске отправился к квартальному надзирателю, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы.[109] Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты; шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам и[110] грозную трехугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его, и он, после боевой, бранной жизни, готовился вкусить удовольствия мира.

Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал, «Эх, славно засну два часика». И потому можно было <предвидеть> сначала, что приход коллежского асессора[111] был совершенно не во-время. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принял слишком радушно.[112] Част-

---

[102]пишут [103]*Далее начато*: учены в при<ставлении> [104]продол<жал> [105]решительно никакой пользы [106]о двух водеви<лях> [107]*Далее начато*: должны [108]душу. [109]нанесли к нему купцы. [110]*Далее начато*: этот [111]нового <человека> [112]то <вряд> едва <?> ли бы он был принят хорошо

ный[113] был большой поощритель всех искусств и мануфактурности, хотя иногда и говорил, что нет почтеннее вещи как государственная ассигнация: «места займет немного, в карман всегда поместится, уронишь — не разобьется». Частный принял довольно сухо Ковалева, сказал, что после обеда не такое время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы человек, наевшись,[114] немного отдохнул (из этого[115] видно было, что частный пристав был философ[116]) и что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких маиоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. То-есть, это уже было не в бровь, а прямо в глаз. Нужно знать, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог извинить, что ни говори о нем самом, но никак не извинял, если это касалось к чину и званию. Он полагал, что по театральным пиэсам можно пропускать[117] свободно все, что относится[118] к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать. Такой прием частного его так сконфузил, что он немножко стряхнул головою и с чувством собственного достоинства сказал, расставив руки: «Признаюсь, после этаких с вашей стороны обидных замечаний... я ничего не могу прибавить...» и вышел.

Он приехал домой едва слыша в себе[119] душу, а под собою ноги, после всех[120] этих душевных революций. Усталый бросился он в кресла и, отдохнувши немного, сказал: «Боже мой! Боже мой! за что это такое несчастие? Будь я без руки или без ноги — все бы это лучше. Будь я без обоих ушей даже, все сноснее, но без носа человек хоть выбрось. Если бы кто-нибудь отрезал или я сам был причиною... но вот штука — пропал сам собою. Ей богу, это невероятно. Может быть я сплю и мне все это снится». Коллежский асессор пальцем себя щипнул и сам чуть <не> вскрикнул от боли. «Нет, чорт возьми, я не сплю». Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза, потом вдруг глянул — авось либо есть нос, но в ту же минуту отошел от зеркала, сказавши: «Чорт знает что, какая дрянь!» Действительно, это происшествие было до невозможности <не>вероятно, так что его можно было совершенно назвать сновидением, если бы оно не случилось в самом деле и если бы не представлялось[121] множество самых удовлетворительных доказательств.

Он долго передумывал, кто бы здесь был виною, и, наконец, едва ли не остановился на том, что здесь главною причиною должна быть одна вдова, тоже штабс-офицерша, которая желала, чтобы он женился на ее дочери, за которою он любил приволакивать, но всегда избегал окончательной разделки[122] и, когда вдова объявила ему напрямик,[123] что она желает выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами, сказавши, что еще молод и[124] что нужно еще прослужить[125] лет пяток, чтобы было ровно 42 года. И потому теперь, по его мнению, вдова хотела ему непременно отомстить и решилась его испортить. И верно наняла[126] баб

---

[113]Хотя впрочем частный [114]нагрузив тело [115]Этот [116]большой философ [117] *а)* все пропускать *б)* нападать [118]что не относится [119]под собой [120]таких [121]не было [122]отд<елки> [123]*Далее было*: свое намерение [124]*Далее было*: не может жениться [125]еще нужно прослужить ему [126]подгово<рила>

ворожей или сама, может быть, удружила. Рассуждая таким образом, он услышал в передней[127] голос: «Здесь живет коллежский асессор Ковалев?»

«Войдите, маиор Ковалев здесь!» сказал он, вскочивши со стула и отворяя дверь.

Это был полицейский чиновник благородной наружности, который стоял в конце Исакиевского <моста>.[128] «Вы, кажется, изволите затерять нос свой?» — «Так точно». — «Он теперь перехвачен». — «Нет, что вы говорите?» закричал в величайшей радости маиор. «Каким образом?..»

«Странным случаем его перехватили[129] почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт уже давно был написан на имя Тамбовского директора училищ. И странно то, что я сам принял его за господина, но к счастью были со мною очки, и я, уже надевши их, увидел, что это был нос. Ведь я близорук и если вы передо мною станете, то я вижу только что лицо, но ни носа, ни бороды — ничего не замечу. Моя теща, т. е. мать жены моей — тоже ничего не видит».

Ковалев был вне себя. «Где же он, где? Я сейчас побежу».

«Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, нарочно принес его <с> собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цирульник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно, впрочем, подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он[130] в Гостином полдюжины жилетных пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был».[131] При этом квартальный полез в боковой карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.

«Так, он!» закричал Ковалев в радости: «Точно он! такой же самой пипочкой! <?>. Откушайте сегодня со мною чашечку чаю».

«С большою приятностью желал бы, но не могу: занят. Очень большая теперь поднялась дороговизна на все припасы. У меня в доме живет и теща, т. е. мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие надежды, умный мальчишка,[132] но средств к воспитанию совершенно нет никаких».

Ковалев догадался и, схватив со стола красную асситнацию, сунул в руки надзирателю, который расшаркавшись вышел[133] за дверь, и в ту же [почти минуту] Ковалев слышал[134] уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего с своею телегою как раз на бульвар.[135]

Коллежский асессор, наконец, пришел в себя,[136] потому что радость повергнула почти в беспамятство... «Ну, теперь, слава богу, что есть нос. А ну, приложим его». Сказавши это, он начал ставить[137] его на свое место, но к удивлению заметил, что нос никак не приклеивался. «Ну же! ну! полезай дурак!» говорил он ему; но нос был совершенно глуп и падал прямо на стол, как только он отнимал руку.

---

[127] *Далее начато*: Не здесь [128] благородной наружности ∾ Исакиевского <моста> *вписано* [129] *Далее начато*: мы на дороге [130] украл он [131] Нос ∾ как был *вписано* [132] умный мальчишка *вписано* [133] ушел [134] услышал [135] наехавшего с своею телегою на перилы, ограждающие бульварные липы [136] *Далее начато*: от и<зумления?> [137] при<ставлять>

Лицо маиора слезливо искривилось. «Неужели он не пристанет?» сказал он в испуге. Но нос действительно отпадал.

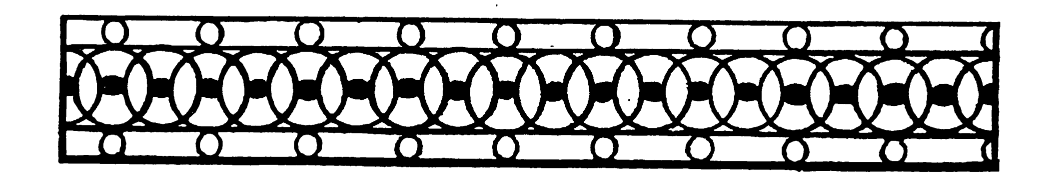
«Ах, боже мой! да ведь каким же <образом> он может пристать? Я и позабыл о том, что уж если что отрезано, то нельзя приставить».

И бедный Ковалев вдруг из величайшей радости повергнулся в самую глубокую горесть.

Между тем слух об этом необыкновенном происшествии распространился по всей столице. И как всегда водится, не без особенных прибавлений.[138] Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному. Недавно, только что занимали[139] весь город опыты действия магнетизма.[140] Притом история о танцующих стульях в Конюшенной была свежа и потому нечего удивляться,[141] что скоро начали говорить, что нос коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа каждый день прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. — Этому происшествию были чрезвычайно рады все светские и[142] необходимые посетители раутов, любившие смешить дам,[143] которых запас уже совершенно истощился. Но многие слушали об этом с неудовольствием, и один господин со звездою с негодованием говорил, что он удивляется, как в нынешний просвещенный век могут распространяться такие слухи и нелепые выдумки, и что он еще более удивляется как не обратит на это внимание правительство. Этот господин был один из числа тех людей, которые бы желали впутать[144] правительство во все и даже в их домашние ссоры с своею супругою. Обо всех этих слухах бедный коллежский асессор, сам не зная каким образом, узнавал, не выходя почти из своей комнаты... Он не велел никого впускать к себе; не появлялся никуда, даже в театре,[145] какой бы ни игрался там водевиль; не играл даже в бостон;[146] не видал даже Ярышкина, с которым был большой приятель, и в продолжении месяца так исхудал и иссох, что был похож больше на мертвеца, нежели на человека и даже... Впрочем все это,[147] что ни описано здесь, виделось маиору во сне. И когда он проснулся, то в такую пришел радость, что вскочил с кровати, подбежал к зеркалу и, увидевши все на своих местах, бросился плясать в одной рубашке по всей комнате [танец], составленный[148] из кадрили и мазурки вместе. И когда лакей его Иван просунул голову в двери посмотреть, что делает барин, он закричал ему: «Пошел! Что тут нашел дивного?» Через минуту он оделся и, севши на кровать, закричал: «Ей, Иван!» — «Чего изволите-с?» — «Что, не спрашивала ли[149] маиора Ковалева одна девчонка, такая хорошенькая собою?» — «Никак нет». — «Гм!», сказал маиор Ковалев и посмотрел, улыбаясь, в зеркало.

---

[138]с величайшими прибавлениями. [139]только что прежде занимали [140]опыты маг<нетизма> [141]и оттого немудрено [142]*Далее начато*: любозн<ательные> [143]любившие смешить дам *вписано* [144]чтобы [145]*Далее начато*: хоть часто [146]ни в бостон [147]*Далее начато*: виде<лось> [148]танец, который состоял <?> [149]*Далее начато*: одна



ПОРТРЕТ

Повесть

§ I

Нигде столько не останавливалось народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок; картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и вымазанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, — вот обыкновенные их сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками тех картин, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. На одной из них была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другой город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей куча. Какой-нибудь забулдыга-лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ними, верно, уже стоит солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинных ножика; торговка из Охты с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают сурьезно; лакеи-мальчишки и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи в фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит.

В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чертков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодежи. Он остановился

перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами; наконец невольно овладело им размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Ерусланов, Лазаричей*, на *объедал* и *обпивал*, на *Фому* и *Ерему* — это ему не казалось удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу, но где покупатели этих пестрых, грязных масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в которых выразилось все глубокое его унижение? Если бы это были труды ребенка, покоряющегося одному невольному желанию, если бы они совсем не имели никакой правильности, не сохраняли даже первых условий механического рисования, если бы в них было все в карикатурном виде, но в этом карикатурном виде просвечивалось бы хотя какое-нибудь старание, какой-нибудь порыв произвести подобное природе, — но ничего этого нельзя было отыскать в них. Какое-то тупоумие старости, какая-то бессмысленная охота, или, лучше сказать, неволя, водили рукою их творцов. Кто трудился над ними? И трудился, без сомнения, один и тот же, потому что те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку.

Он все так же стоял перед этими грязными картинами и глядел на них, но уже совершенно не глядя, между тем как содержатель этого живописного магазина, серенький человек лет пятидесяти, во фризовой шинели, с давно не бритым подбородком, рассказывал ему, что «Картины *самый первый сорт* и только что получены с биржи, еще и лак не высох и в рамки не вставлены. *Смотрите сами, честью уверяю, что останетесь довольны*». Все эти заманчивые речи летели мимо ушей Черткова. Наконец, чтобы немного ободрить хозяина, он поднял с полу несколько запылившихся картин. Это были старые фамильные портреты, которых потомки вряд ли бы отыскались. Почти машинально начал он с одного из них стирать пыль. Легкая краска вспыхнула на лице его, краска, которая означает тайное удовольствие при чем-нибудь неожиданном. Он стал нетерпеливо тереть рукою и скоро увидел портрет, на котором ясно была видна мастерская кисть, хотя краски казались несколько мутными и почерневшими. Это был старик с каким-то беспокойным и даже злобным выражением лица; в устах его была улыбка, резкая, язвительная, и вместе какой-то страх; румянец болезни был тонко разлит по лицу, исковерканному морщинами; глаза его были велики, черны, тусклы; но вместе с этим в них была заметна какая-то странная живость. Казалось, этот портрет изображал какого-нибудь скрягу, проведшего жизнь над сундуком, или одного из тех несчастных, которых всю жизнь мучит счастие других. Лицо вообще сохраняло яркий отпечаток важной физиогномии. Смуглота, черные как смоль волосы с пробившеюся проседью — все это не попадается у жителей северных губерний. Во всем портрете была видна какая-то неоконченность, но если бы он приведен был в совершенное исполнение, то знаток потерял бы голову в догадках, каким образом совершенней-

шее творение Вандика очутилось в России и зашло в лавочку на Щукин двор.

С биющимся сердцем молодой художник, отложивши его в сторону, начал перебирать другие, не найдется ли еще чего подобного, но все прочее составляло совершенно другой мир и показывало только, что этот гость глупым счастьем попал между ними. Наконец Чертков спросил о цене. Пронырливый купец, заметив по его вниманию, что портрет чего-нибудь стоит, почесал за ухом и сказал:

— Да что, ведь десять рублей будет за него маловато.

Чертков протянул руку в карман.

— Я даю одиннадцать! — раздалось позади его.

Он оборотился и увидел, что народу собралась куча и что один господин в плаще долго, подобно ему, стоял перед картиною. Сердце у него сильно забилось и губы тихо задрожали, как у человека, который чувствует, что у него хотят отнять предмет его исканий. Осмотревши внимательно нового покупщика, он несколько утешился, заметив на нем костюм, нимало не уступавший его собственному, и произнес дрожащим голосом:

— Я дам тебе двенадцать рублей, картина моя.

— Хозяин! картина за мною, вот тебе пятнадцать рублей! — произнес покупщик.

Лицо Черткова судорожно вздрогнуло, дух захватился, и он невольно выговорил:

— Двадцать рублей.

Купец потирал руки от удовольствия, видя, что покупщики сами торгуются в его пользу. Народ гуще обступил покупающих, услышав носом, что обыкновенная продажа превратилась в аукцион, всегда имеющий сильный интерес даже для посторонних. Цену наконец набили до пятидесяти рублей. Почти отчаянно закричал Чертков: «Пятьдесят», — вспомнивши, что у него вся сумма в пятидесяти рублях, из которых он должен хотя часть заплатить за квартиру и, кроме того, купить красок и еще кое-каких необходимых вещей. Противник в это время отступился: сумма, казалось, превосходила также его состояние, — и картина осталась за Чертковым. Вынувши из кармана ассигнацию, он бросил ее в лицо купцу и ухватился с жадностью за картину, но вдруг отскочил от нее, пораженный страхом. Темные глаза нарисованного старика глядели так живо и вместе мертвенно, что нельзя было не ощутить испуга. Казалось, в них неизъяснимо странною силою удержана была часть жизни. Это были не нарисованные, это были живые, это были человеческие глаза. Они были неподвижны, но, верно, не были бы так ужасны, если бы двигались. Какое-то дикое чувство — не страх, но то неизъяснимое ощущение, которое мы чувствуем при появлении странности, представляющей беспорядок природы, или, лучше сказать, какое-то сумасшествие природы, — это самое чувство заставило вскрикнуть почти всех. С трепетом провел Чертков рукою по полотну, но полотно было гладко. Действие, произведенное портретом, было всеобщее: народ с каким-то ужасом отхлынул от лавки; покупщик, вошедший с ним в соперничество, боязливо удалился. Сумерки

в это время сгустились, казалось, для того, чтобы сделать еще более ужасным это непостижимое явление. Чертков не в силах был оставаться более. Не смея и думать о том, чтобы взять его с собою, он выбежал на улицу. Свежий воздух, гром мостовой, говор народа, казалось, на минуту освежил его, но душа была все еще сжата каким-то тягостным чувством. Сколько ни обращал он глаза по сторонам на окружающие предметы, но мысли его были заняты одним необыкновенным явлением. «Что это? — думал он сам про себя, — искусство или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законов природы? Какая странная, какая непостижимая задача! Или для человека есть такая черта, до которой доводит высшее познание, и чрез которую шагнув, он уже похищает несоздаваемое трудом человека, он вырывает что-то живое из жизни, одушевляющей оригинал? Отчего же этот переход за черту, положенную границею для воображения, так ужасен? Или за воображением, за порывом следует, наконец, действительность, та ужасная действительность, на которую соскакивает воображение с своей оси каким-то посторонним толчком, та ужасная действительность, которая представляется жаждущему ее тогда, когда он, желая постигнуть прекрасного человека, во- оружается анатомическим ножом, раскрывает его внутренности и видит отвратительного человека? Непостижимо! такая изумительная, такая ужасная живость! Или чересчур близкое подражание природе так же приторно, как блюдо, имеющее чересчур сладкий вкус?» С такими мыслями вошел он в свою маленькую комнатку в небольшом деревянном доме на Васильевском острове в Пятнадцатой линии, в которой лежали разбросанные во всех углах ученические его начатки, копии с антиков, тщательные, точные, показывающие в художнике старание постигнуть фундаментальные законы и внутренний размер природы. Долго рассматривал он их, и наконец мысли его потянулись одна за другою и стали выражаться почти словами, — так живо чувствовал он то, о чем размышлял!

«И вот год, как я тружусь над этим сухим, скелетным трудом! Стараюсь всеми силами узнать то, что так чудно дается великим творцам и кажется плодом минутного быстрого вдохновения. Только тронут они кистью, и уже является у них человек вольный, свободный, таков, каким он создан природою; движения его живы, непринужденны. Им это дано вдруг, а мне должно трудиться всю жизнь; всю жизнь исследовать скучные начала и стихии, всю жизнь отдать бесцветной, не отвечающей на чувства работе. Вот мои маранья! Они верны, схожи с оригиналами; но захоти я произвесть свое — и у меня выйдет совсем не то; нога не станет так верно и непринужденно; рука не подымется так легко и свободно; поворот головы у меня вовеки не будет так естествен, как у них, а мысль, а те невыразимые явления... Нет, я не буду никогда великим художником!»

Размышления его прерваны были вошедшим его камердинером, парнем лет осьмнадцати, в русской рубашке, с розовым лицом и рыжими волосами. Он без церемонии начал стягивать с Черткова сапоги, который был погружен в свои размышления. Этот парень в красной рубашке был его лакей, натурщик, чистил ему сапоги, зевал в маленькой его передней,

тер краски и пачкал грязными ногами его пол. Взявши сапоги, он бросил ему халат и выходил уже из комнаты, как вдруг оборотил голову назад и произнес громко:

— Барин, свечу зажигать или нет?

— Зажги, — отвечал рассеянно Чертков.

— Да еще хозяин приходил, — примолвил кстати грязный камердинер, следуя похвальному обычаю всех людей его звания упоминать в P. S. о том, что поважнее. — Хозяин приходил и сказал, что если не заплатите денег, то вышвырнет все ваши картины за окошко вместе с кроватью.

— Скажи хозяину, чтобы не беспокоился о деньгах, — отвечал Чертков, — я достал деньги.

При этом он обратился к карману фрака, но вдруг вспомнил, что все деньги свои оставил за портрет у лавочника. Мысленно начал он укорять себя в безрассудности, что выбежал без всякой причины из лавки, испугавшись ничтожного случая, и не взял с собою ни денег, ни портрета. Завтра же решился он идти к купцу и взять деньги, почитая себя совершенно вправе отказаться от такой покупки, тем более что его домашние обстоятельства не позволяли сделать никакой лишней издержки.

Свет луны ярким белым окном ложился на его пол, захватывая часть кровати и оканчиваясь на стене. Все предметы и картины, висевшие в его комнате, как-то улыбались, захватившие иногда краями своими часть этого вечно прекрасного сияния. В эту минуту как-то нечаянно он взглянул на стену и увидел на ней тот же самый странный портрет, так поразивший его в лавке. Легкая дрожь невольно пробежала по его телу. Первым делом его было позвать своего камердинера и натурщика и расспросить, каким образом и кто принес к нему портрет; но камердинер-натурщик клялся, что никто не приходил, выключая хозяина, который был еще поутру и кроме ключа ничего не имел в своих руках. Чертков чувствовал, что волосы его зашевелились на голове. Севши возле окна, он силился себя уверить, что здесь не могло ничего быть сверхъестественного, что мальчик его мог в это время заснуть, что хозяин портрета мог его прислать, узнавши каким-нибудь особенным случаем его квартиру... Короче, он начал приводить все те плоские изъяснения, которые мы употребляем, когда хотим, чтобы случившееся случилось непременно так, как мы думаем. Он положил себе не смотреть на портрет, но голова его невольно к нему обращалась и взгляд, казалось, прикипал к странному изображению. Неподвижный взгляд старика был нестерпим; глаза совершенно светились, вбирая в себя лунный свет, и живость их до такой степени была страшна, что Чертков невольно закрыл свои глаза рукою. Казалось, слеза дрожала на ресницах старика; светлые сумерки, в которые владычица луна превратила ночь, увеличивали действие; полотно пропадало, и страшное лицо старика выдвинулось и глядело из рам, как будто из окошка.

Приписывая это сверхъестественное действие луне, чудесный свет которой имеет в себе тайное свойство придавать предметам часть звуков и красок другого мира, он приказал подать скорее свечу, около которой

копался его лакей; но выражение портрета ничуть не уменьшилось; лунный свет, слившись с сиянием свечи, придал ему еще более непостижимой и вместе странной живости. Схвативши простыню, он начал закрывать портрет, свернул ее втрое, чтобы он не мог сквозь нее просвечивать, но при всем том, или это было следствие сильно потревоженного воображения, или собственные глаза его, утомленные сильным напряжением, получили какую-то беглую, движущуюся сноровку, — только ему долго казалось, что взор старика сверкал сквозь полотно. Наконец он решился погасить свечу и лечь в постель, которая была заставлена ширмами, скрывавшими от него портрет. Напрасно ожидал он сна; мысли самые неутешительные прогоняли то спокойное состояние, которое ведет за собою сон. Тоска, досада, хозяин, требующий денег, недоконченные картины — создания бессильных порывов, бедность — все это двигалось перед ним и сменялось одно другим. И когда на минуту удавалось ему прогнать их, то чудный портрет властительно втеснялся в его воображение, и казалось, сквозь щелку в ширмах сверкали его убийственные глаза. Никогда не чувствовал он на душе своей такого тяжелого гнета. Свет луны, который содержит в себе столько музыки, когда вторгается в одинокую спальню поэта и проносит младенчески-очаровательные полусны над его изголовьем, — этот свет луны не наводил на него музыкальных мечтаний; его мечтания были болезненны. Наконец впал он не в сон, но в какое-то полузабытье, в то тягостное состояние, когда одним глазом видим приступающие грезы сновидений, а другим — в неясном облике окружающие предметы. Он видел, как поверхность старика отделялась и сходила с портрета, так же как снимается с кипящей жидкости верхняя пена, подымалась на воздух и неслась к нему ближе и ближе, наконец приближалась к самой его кровати. Чертков чувствовал занимавшееся дыхание, силился приподняться, — но руки его были неподвижны. Глаза старика мутно горели и вперились в него всею магнитною своею силою.

— Не бойся, — говорил страшный старик, и Чертков заметил у него на губах улыбку, которая, казалось, жалила его своим осклаблением и яркою живостью осветила тусклые морщины его лица. — Не бойся меня, — говорило странное явление. — Мы с тобою никогда не разлучимся. Ты задумал весьма глупое дело: что тебе за охота целые веки корпеть за азбукою, когда ты давно можешь читать по верхам? Ты думаешь, что долгими усилиями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь что-нибудь? Да, ты получишь, — при этом лицо его странно исковеркалось и какой-то неподвижный смех выразился на всех его морщинах, — ты получишь завидное право кинуться с Исакиевского моста в Неву или, завязавши шею платком, повеситься на первом попавшемся гвозде; а труды твои первый маляр, накупивши их на рубль, замажет грунтом, чтобы нарисовать на нем какую-нибудь красную рожу. Брось свою глупую мысль! Все делается в свете для пользы. Бери же скорее кисть и рисуй портреты со всего города! бери все, что ни закажут; но не влюбляйся в свою работу, не сиди над нею дни и ночи; время летит скоро, и жизнь не останавливается. Чем более смастеришь ты в день своих

картин, тем больше в кармане будет у тебя денег и славы. Брось этот чердак и найми богатую квартиру. Я тебя люблю и потому даю тебе такие советы; я тебе и денег дам, только приходи ко мне. — При этом старик опять выразил на лице своем тот же неподвижный, страшный смех.

Непостижимая дрожь проняла Черткова и выступила холодным потом на его лице. Собравши все свои усилия, он приподнял руку и наконец привстал с кровати. Но образ старика сделался тусклым, и он только заметил, как он ушел в свои рамы. Чертков встал с беспокойством и начал ходить по комнате. Чтобы немного освежить себя, он приблизился к окну. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо; изредка долетало до слуха отдаленное дребезжание дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Чертков уверился, наконец, что воображение его слишком расстроено и представило ему во сне творение его же возмущенных мыслей. Он подошел еще раз к портрету: простыня его совершенно скрывала от взоров, и казалось, только маленькая искра сквозила изредка сквозь нее. Наконец он заснул и проспал до самого утра.

Проснувшись, он долго чувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара: голова его неприятно болела. В комнате было тускло, неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленных картинами или натянутым грунтом. Скоро у дверей раздался стук, и вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких так же неприятно, как для богатых умильное лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чертков, был одно из тех творений, какими обыкновенно бывают владетели домов в Пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны; творение, каких очень много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был и капитан, и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп, но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке; уже не щеголял, не хвастал, не задирался; любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по своей комнате, оправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для того чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать, — одним словом, был человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладной остаются одни пошлые привычки.

— Извольте сами глядеть, — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставляя руки, — извольте распорядиться и объявить ему.

— Я должен вам объявить, — сказал квартальный надзиратель, заложивши руку за петлю своего мундира, — что вы должны непременно заплатить должные вами уже за три месяца квартирные деньги.

— Я бы рад заплатить: но что же делать, когда нечем, — сказал хладнокровно Чертков.

— В таком случае хозяин должен взять себе вашу движимость, равностоящую сумме квартирных денег, а вам дóлжно немедленно сегодня же выехать.

— Берите все, что хотите, — отвечал почти бесчувственно Чертков.

— Картины многие не без искусства сделаны, — продолжал квартальный, перебирая из них некоторые. — Жаль только, что не кончены и краски-то не так живы... Верно, недостаток в деньгах не позволял вам купить их? А это что за картина, завернутая в холстину?

При этом квартальный, без церемонии подошедши к картине, сдернул с нее простыню, потому что эти господа всегда позволяют себе маленькую вольность там, где видят совершенную беззащитность или бедность. Портрет, казалось, изумил его, потому что необыкновенная живость глаз производила на всех равное действие. Рассматривая картину, он несколько крепко сжал ее рамы, и так как руки у полицейских служителей всегда несколько отзываются топорной работою, то рамка вдруг лопнула; небольшая дощечка упала на пол вместе с брякнувшим на землю свертком золота, и несколько блестящих кружков покатилось во все стороны. Чертков с жадностью бросился подбирать и вырвал из полицейских рук несколько поднятых им червонцев.

— Как же вы говорите, что не имеете чем заплатить, — заметил квартальный, приятно улыбаясь, — а между тем у вас столько золотой монеты.

— Эти деньги для меня священны! — вскричал Чертков, опасаясь искусных рук полицейского. — Я должен их хранить, они вверены мне покойным отцом. Впрочем, чтоб вас удовлетворить, вот вам за квартиру! — При этом он бросил несколько червонцев хозяину дома.

Физиогномия и приемы в одну минуту изменились у хозяина и достойного блюстителя за правами пьяных извозчиков.

Полицейский стал извиняться и уверять, что он только исполнял предписанную форму, а впрочем, никак не имел права его принудить; а чтобы более в этом уверить Черткова, он предложил ему приз табаку. Хозяин дома уверял, что он только пошутил, и уверял с такою божбою и бессовестностью, с какою обыкновенно уверяет купец в Гостином дворе.

Но Чертков выбежал вон и не решился более оставаться на прежней квартире. Он не имел даже времени подумать о странности этого происшествия. Осмотревши сверток, он увидел в нем более сотни червонцев. Первым делом его было нанять щегольскую квартиру. Квартира, попавшаяся ему, была как нарочно для него приготовлена: четыре в ряд высокие комнаты, большие окна, все выгоды и удобства для художника! Лежа на турецком диване и глядя в цельные окна на растущие и мелькающие волны народа, он был погружен в какое-то самодовольное забвение и дивился сам своей судьбе, еще вчера пресмыкавшейся с ним на чердаке. Недоконченные и оконченные картины развесились по стройным колоссальным стенам: между ними висел таинственный пор-

трет, который достался ему таким единственным образом. Он опять стал думать о причине необыкновенной живости его глаз. Мысли его обратились к видимому им полусновидению, наконец к чудному кладу, скрывавшемуся в его рамках. Все привело его к тому, что какая-нибудь история соединена с существованием портрета и что даже, может быть, его собственное бытие связано с этим портретом. Он вскочил с своего дивана и начал его внимательно рассматривать: в раме находился ящик, прикрытый тоненькой дощечкой, но так искусно заделанной и заглаженной с поверхностью, что никто бы не мог узнать о его существовании, если бы тяжелый палец квартального не продавил дощечки. Он поставил его на место и еще раз на него посмотрел. Живость глаз уже не казалась ему так страшною среди яркого света, наполнявшего его комнату сквозь огромные окна, и многолюдного шума улицы, громившего его слух, но она заключала в себе что-то неприятное, так что он постарался скорее от него отворотиться.

В это время зазвенел звонок у дверей, и вошла к нему почтенная дама пожилых лет, с талией в рюмочку, в сопровождении молоденькой, лет осьмнадцати; лакей в богатой ливрее отворил им дверь и остановился в передней.

— Я к вам с просьбою, — произнесла дама ласковым тоном, с каким обыкновенно они говорят с художниками, французскими парикмахерами и прочими людьми, рожденными для удовольствия других. — Я слышала о ваших дарованиях... (Чертков удивился такой скорой своей славе.) Мне хочется, чтобы вы сняли портрет с моей дочери.

При этом бледное личико дочери обратилось к художнику, который, если бы был знаток сердца, то вдруг бы прочел на нем немноготомную историю ее: ребяческая страсть к балам, тоска и скука продолжительного времени до обеда и после обеда, желание побегать в платье последней моды на многолюдном гулянье, нетерпеливость увидеть свою приятельницу для того, чтобы ей сказать: «Ах, милая, как я скучала», — или объявить, какую мадам Сихлер сделала уборку к платью княгини Б... Вот все, что выражало лицо молодой посетительницы, бледное, почти без выражения, с оттенкою какой-то болезненной желтизны.

— Я бы желала, чтобы вы теперь же принялись за работу, — продолжала дама, — мы можем вам дать час.

Чертков бросился к краскам и кистям, взял уже готовый натянутый грунт и устроился как следует.

— Я вас должна несколько предуведомить, — говорила дама, — насчет моей Анет и этим облегчить несколько ваш труд. В глазах ее и даже во всех чертах лица всегда была заметна томность; моя Анет очень чувствительна, и, признаюсь, я никогда не даю ей читать новых романов! — Художник смотрел в оба и не заметил никакой томности. — Мне бы хотелось, чтобы вы изобразили ее просто в семейном кругу или, еще лучше, одну на чистом воздухе, в зеленой тени, чтобы ничто не показывало, будто она едет на бал. Наши балы, должна признаться, так скучны так убивают душу, что, право, я не понимаю удовольствия бывать на них.

Но на лице дочери и даже самой почтенной дамы было написано резкими чертами, что они не пропускают ни одного бала.

Чертков был минуту в размышлении, как согласить эти небольшие противуположности, наконец решился избрать благоразумную середину. Притом его прельщало желание победить трудности и восторжествовать искусством, сохранив двусмысленное выражение портрета. Кисть бросила на полотно первый туман, художнический хаос; из него начали делиться и выходить медленно образующиеся черты. Он приник весь к своему оригиналу и уже начал уловлять те неуловимые черты, которые самому бесцветному оригиналу придают в правдивой копии какой-то характер, составляющий высокое торжество истины. Какой-то сладкий трепет начал им одолевать, когда он чувствовал, что наконец подметил и, может быть, выразит то, что очень редко удается выражать. Это наслаждение, неизъяснимое и прогрессивно возвышающееся, известно только таланту. Под кистью его лицо портрета как будто невольно приобретало тот колорит, который был для него самого внезапным открытием; но оригинал начал так сильно вертеться и зевать перед ним, что художнику, еще неопытному, трудно было ловить урывками и мгновеньями постоянное его выражение.

— Мне кажется, на первый раз довольно, — произнесла почтенная дама.

Боже, как это ужасно! А душа и силы разохотились и хотели разгуляться. Повесивши голову и бросивши палитру, стоял он перед своею картиною.

— Мне, однако ж, сказали, что вы в два сеанса оканчиваете совершенно портрет, — произнесла дама, подходя к картине, — а у вас до сих пор еще только почти один абрис. Мы приедем к вам завтра в это же время.

Молчаливо выпроводил своих гостей художник и остался в неприятном размышлении. В его тесном чердаке никто не перебивал ему, когда он сидел над своею незаказною работою. С досадой отодвинул он начатый портрет и хотел заняться другими недоконченными работами. Но как будто можно мысль и чувства, проникнувшие уже до души, заместить новыми, в которые еще не успело влюбиться наше воображение? Бросивши кисть, он вышел из дому.

Юность счастлива тем, что перед нею бежит множество разных дорог, что ее живая, свежая душа доступна тысяче разных наслаждений; и потому Чертков рассеялся почти в одну минуту. Несколько червонцев в кармане — и что не во власти исполненной сил юности! Притом русский человек, а особливо дворянин или художник, имеет странное свойство: как только завелся у него в кармане грош — ему все трын-трава и море по колена. У него оставалось еще от денег, заплаченных вперед за квартиру, около тридцати червонцев. И все эти тридцать червонцев он спустил в один вечер. Прежде всего он приказал себе подать обед отличнейший, выпил две бутылки вина и не захотел взять сдачи, нанял щегольскую карету, чтобы только съездить в театр, находившийся в двух шагах от его квартиры, угостил в кондитерской трех своих приятелей, зашел еще

кое-куда и возвратился домой без копейки в кармане. Бросившись в кровать, он уснул крепко, но сновидения его были так же несвязны, и грудь, как и в первую ночь, сжималась, как будто чувствовала на себе что-то тяжелое; он увидел сквозь щелку своих ширм, что изображение старика отделилось от полотна и с выражением беспокойства пересчитывало кучи денег, золото сыпалось из его рук... Глаза Черткова горели; казалось, его чувства узнали в золоте ту неизъяснимую прелесть, которая дотоле ему не была понятна. Старик его манил пальцем и показывал ему целую гору червонцев. Чертков судорожно протянул руку и проснулся. Проснувшись, он подошел к портрету, тряс его, изрезал ножом все его рамы, но нигде не находил запрятанных денег; наконец махнул рукою и решился работать, дал себе слово не сидеть долго и не увлекаться заманчивою кистью.

В это время приехала вчерашняя дама с своею бледною Анетою. Художник поставил на станок свой портрет, и на этот раз кисть его неслась быстрее. Солнечный день, ясное освещение дали какое-то особенное выражение оригиналу, и открылось множество дотоле не замеченных тонкостей. Душа его загорелась опять напряжением. Он силился схватить мельчайшую точку или черту, даже самую желтизну и неровное изменение колорита в лице зевавшей и изнуренной красавицы с тою точностию, которую позволяют себе неопытные артисты, воображающие, что истина может нравиться так же и другим, как нравится им самим. Кисть его только что хотела схватить одно общее выражение всего целого, как досадное «довольно» раздалось над его ушами и дама подошла к портрету.

— Ах, боже мой! что это вы нарисовали? — вскрикнула она с досадою. — Анет у вас желта; у ней под глазами какие-то темные пятна; она как будто приняла несколько склянок микстуры. Нет, ради бога, исправьте наш портрет: это совсем не ее лицо. Мы к вам будем завтра в это же время.

Чертков с досадою бросил кисть; он проклинал и себя, и палитру, и ласковую даму, и дочь ее, и весь мир. Голодный просидел он в своей великолепной комнате и не имел сил приняться ни за одну картину. На другой день, вставши рано, он схватил первую попавшуюся ему работу: это была давно начатая им Псишея, поставил ее на станок, с намерением насильно продолжать. В это время вошла вчерашняя дама.

— Ах, Анет, посмотри, посмотри сюда! — вскричала дама с радостным видом. — Ах, как похоже! прелесть! прелесть! и нос, и рот, и брови! чем вас благодарить за этот прекрасный сюрприз? Как это мило! Как хорошо, что эта рука немного приподнята. Я вижу, что вы, точно, тот великий художник, о котором мне говорили.

Чертков стоял как оторопелый, увидевши, что дама приняла его Псишею за портрет своей дочери. С застенчивостью новичка он начал уверять, что этим слабым эскизом хотел изобразить Псишею; но дочь приняла это себе за комплимент и довольно мило улыбнулась, улыбку разделила мать. Адская мысль блеснула в голове художника, чувство досады и злости подкрепило ее, и он решился этим воспользоваться.

— Позвольте мне попросить вас сегодня посидеть немного подолее, — произнес он, обратясь к довольной на этот раз блондинке. — Вы видите, что платье я еще не делал вовсе, потому что хотел все с большею точностью рисовать с натуры.

Быстро он одел свою Псишею в костюм XIX века; тронул слегка глаза, губы, просветлил слегка волосы и отдал портрет своим посетительницам. Пук ассигнаций и ласковая улыбка благодарности были ему наградою.

Но художник стоял, как прикованный к одному месту. Его грызла совесть; им овладела та разборчивая, мнительная боязнь за свое непорочное имя, которая чувствуется юношею, носящим в душе благородство таланта, которая заставляет если не истреблять, то, по крайней мере, скрывать от света те произведения, в которых он сам видит несовершенство, которая заставляет скорее вытерпеть презрение всей толпы, нежели презрение истинного ценителя. Ему казалось, что уже стоит перед его картиною грозный судия и, качая головою, укоряет его в бесстыдстве и бездарности. Чего бы он не дал, чтоб возвратить только ее назад! Уже он хотел бежать вслед за дамою, вырвать портрет из рук ее, разорвать и растоптать его ногами, но как это сделать? Куда идти? Он не знал даже фамилии его посетительницы.

С этого времени, однако ж, произошла в жизни его счастливая перемена. Он ожидал, что бесславие покроет его имя, но вышло совершенно напротив. Дама, заказывавшая портрет, рассказала с восторгом о необыкновенном художнике, и мастерская нашего Черткова наполнилась посетителями, желавшими удвоить и, если можно, удесятерить свое изображение. Но свежий, еще невинный, чувствующий в душе недостойным себя к принятию такого подвига, Чертков, чтобы сколько-нибудь загладить и искупить свое преступление, решился заняться со всевозможным старанием своею работою, решился удвоить напряжение своих сил, которое одно производит чудеса. Но намерения его встретили непредвиденные препятствия: посетители его, с которых он рисовал портреты, были большею частию народ нетерпеливый, занятой, торопящийся, и потому, едва только кисть его начинала творить что-нибудь не совсем обыкновенное, как уже вваливался новый посетитель, преважно выставляя свою голову, горя желанием увидеть ее скорее на полотне, и художник спешил скорее оканчивать свою работу. Время его наконец было так разобрано, что он ни на одну минуту не мог предаться размышлению; и вдохновение, беспрестанно истребляемое при самом рождении своем, наконец отвыкло навещать его. Наконец, чтобы ускорить свою работу, он начал заключаться в известные, определенные, однообразные, давно изношенные формы. Скоро портреты его были похожи на те фамильные изображения старых художников, которые так часто можно встретить во всех краях Европы и даже во всех углах мира, где дамы изображены с сложенными на груди руками и держащими цветок в руке, а кавалеры в мундире, с заложенною за пуговицу рукою. Иногда желал он дать новое, еще не избитое положение, отличавшееся бы оригинальностью и непринужденностью, но, увы! все непринужденное и легкое у поэта и художника достается слишком принужденно и есть плод

великих усилий. Для того, чтобы дать новое, смелое выражение, постигнуть новую тайну в живописи, для этого нужно было ему долго думать, отвративши глаза от всего окружающего, унесшись от всего мирского и жизни. Но на это у него не оставалось времени, и притом он слишком был изнурен дневною работою, чтобы быть в готовности принять вдохновение; мир же, с которого он рисовал свои произведения, был слишком обыкновенен и однообразен, чтобы вызвать и возмутить воображение. Глубокоразмышляющее и вместе неподвижное лицо директора департамента, красивое, но вечно на одну мерку лицо уланского ротмистра, бледное, с натянутою улыбкою петербургской красавицы и множество других, уже чересчур обыкновенных, — вот все, что каждый день менялось перед нашим живописцем. Казалось, кисть его сама приобрела наконец ту бесцветность и отсутствие энергии, которою означались его оригиналы.

Беспрестанно мелькавшие перед ним ассигнации и золото наконец усыпили девственные движения души его. Он бесстыдно воспользовался слабостью людей, которые за лишнюю черту красоты, прибавленную художником к их изображению, готовы простить ему все недостатки, хотя бы эта красота была во вред самому сходству.

Чертков наконец сделался совершенно модным живописцем. Вся столица обратилась к нему; его портреты видны были во всех кабинетах, спальнях, гостиных и будуарах. Истинные художники пожимали плечами, глядя на произведения этого баловня могущественного случая. Напрасно силились они отыскать в нем хотя одну черту верной истины, брошенную жарким вдохновением: это были правильные лица, почти всегда недурные собою, потому что понятие красоты удержалось еще в художнике, но никакого знания сердца, страстей или хотя привычек человека, — ничего такого, что бы отзывалось сильным развитием тонкого вкуса. Некоторые же, знавшие Черткова, удивлялись этому странному событию, потому что видели в первых его началах присутствие таланта, и старались разрешить непостижимую загадку: как может дарование угаснуть в цвете сил, вместо того чтобы развиться в полном блеске?

Но этих толков не слышал самодовольный художник и величался всеобщею славою, потряхивая червонцами своими и начиная верить, что все в свете обыкновенно и просто, что откровения свыше в мире не существует и все необходимо должно быть подведено под строгий порядок аккуратности и однообразия. Уже жизнь его коснулась тех лет, когда все дышащее порывом сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновение красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательнее в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может насытить и дать наслаждения тому, который украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целию. Пуки ассигнаций

росли в сундуках его. И как всякий, которому достается этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему и равнодушным ко всему. Казалось, он готов был превратиться в одно из тех странных существ которые иногда попадаются в мире, на которых с ужасом глядит исполненный энергии и страсти человек и которому они кажутся живыми телами, заключающими в себе мертвеца. Но, однако же, одно событие сильно потрясло его и дало совершенно другое направление его жизни.

В один день он увидел на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом присланном из Италии произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству; с пламенною силою труженика погряз в нем всею душою своею и для него, оторвавшись от друзей, от родных, от милых привычек, бросился без всяких пособий в неизвестную землю; терпел бедность, унижение, даже голод, но с редким самоотвержением, презревши все, был бесчувствен ко всему, кроме своего милого искусства.

Вошедши в залу, нашел он толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Чертков, принявши значительную физиогномию знатока, приблизился к картине; но, боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло перед ним произведение художника. И хоть бы какое-нибудь видно было в нем желание блеснуть, хотя бы даже извинительное тщеславие, хотя бы мысль о том, чтобы показаться черни, — никакой, никаких! Оно возносилось скромно. Оно было просто, невинно, божественно, как талант, как гений. Изумительно прекрасные фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна и, изумленные столькими устремленными на них взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасные ресницы. В чертах божественных лиц дышали те тайные явления, которых душа не умеет, не знает пересказать другому; невыразимо выразимое покоилось на них; и все это было наброшено так легко, так скромно-свободно, что, казалось, было плодом минутного вдохновения художника, вдруг осенившей его мысли. Вся картина была — мгновение, но то мгновение, к которому вся жизнь человеческая — есть одно приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окружавших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чертков перед картиною и наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда наконец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное пошлое суждение зачерствелых художников: что произведение хорошо и в художнике виден талант, но жела-

тельно, чтобы во многих местах лучше была выполнена мысль и отделка, — но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.

С минуту неподвижный и бесчувственный стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. Боже! и погубить так безжалостно все лучшие годы своей юности, истребить, погасить искру огня, может быть теплившегося в груди, может быть развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить все это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице, весь обратился он в одно желание и, можно сказать, загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. В досаде он принял прочь из своей комнаты все труды свои, означенные мертвою бледностью поверхностной моды, запер дверь, не велел никого впускать к себе и занялся, как жаркий юноша, своею работою. Но, увы! на каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Иногда осенял его внезапный призрак великой мысли, воображение видело в темной перспективе что-то такое, что, схвативши и бросивши на полотно, можно было сделать необыкновенным и вместе доступным для всякой души, какая-то звезда чудесного сверкала в неясном тумане его мыслей, потому что он точно носил в себе призрак таланта; но, боже! какое-нибудь незначащее условие, знакомое ученику, анатомическое мертвое правило — и мысль замирала, порыв бессильного воображения цепенел нерассказанный, неизображенный; кисть его невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженными и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам! Пот катился с него градом, губы дрожали, и после долгой паузы, во время которой бунтовали внутри его все чувства, он принимался снова; но в тридцать с лишком лет труднее изучать скучную лестницу трудных правил и анатомии, еще труднее постигнуть то вдруг, что развивается медленно и дается за долгие усилия, за великие напряжения, за глубокое самоотвержение. Наконец он узнал ту ужасную муку, которая как поразительное исключение является иногда в

природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться, ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду, ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства, Желчьпроступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. Наконец в душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая ужасным смехом адского наслаждения. Едва только появлялось где-нибудь свежее произведение, дышащее огнем нового таланта, он употреблял все усилия купить его во что бы то ни стало. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. И люди, носившие в себе искру божественного познания, жадные одного великого, были безжалостно, бесчеловечно лишены тех святых, прекрасных произведений, в которых великое искусство приподняло покров с неба и показало человеку часть исполненного звуков и священных тайн его же внутреннего мира. Нигде, ни в каком уголке не могли они сокрыться от его хищной страсти, не знавшей никакой пощады. Его зоркий, огненный глаз проникал всюду и находил даже в заброшенной пыли след художественной кисти. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на его лицо; на нем всегда почти была разлита желчь; глаза сверкали почти безумно; нависнувшие брови и вечно перерезанный морщинами лоб придавали ему какое-то дикое выражение и отделяли его совершенно от спокойных обитателей земли.

К счастию мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться; размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладели им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Портрет этот двоился, четвертился в его глазах, и, наконец,

ему чудилось, что все стены были увешаны этими ужасными портретами, устремившими на него свои неподвижные живые глаза. Страшные портреты глядели на него с потолка, с полу, и вдобавок он видел, как комната расширялась и продолжалась пространнее, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и пронзительным, невыразимо раздирающим голосом кричал и молил, чтобы приняли от него неотразимый портрет с живыми глазами, которого место он описывал с странными для безумного подробностями. Напрасно употребляли все старания, чтобы отыскать этот чудный портрет. Все было перерыто в доме, но портрет не отыскался. Тогда больной приподнимался с беспокойством и опять начинал описывать его место с такою точностью, которая показывала присутствие ясного и проницательного ума; но все поиски были тщетны. Наконец доктор заключил, что это было больше ничего, кроме особенное явление безумия. Скоро жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств, но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

§ II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпою посетителей, налетевших, как хищные птицы, на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и даже толкучего рынка, в синих немецких сюртуках. Вид их и физиогномия была здесь как-то тверже, вольнее и не означалась тою приторною услужливостью, которая так видна в русском купце. Они вовсе не чинились, несмотря на то что в этой же зале находилось множество тех значительных аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитающие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1-го часа;

наконец, те благородные господа, которых платья и карманы чрезвычайно худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин разбросано было совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели и книги с вензелями прежнего владетеля, который, верно, не имел похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старинные мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты — все было навалено и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона странно: в нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах всех, и голоса: «Сто рублей!», «Рубль и двадцать копеек!», «Четыреста рублей пятьдесят копеек!» — протяжно вырывающиеся из уст, как-то дики для слуха. Но еще более производит впечатления погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь, искусствам.

Однако же аукцион еще не начинался; посетители рассматривали разные вещи, набросанные горою на полу. Между тем небольшая толпа остановилась перед одним портретом: на нем был изображен старик с такою странною живостью глаз, что невольно приковал к себе их внимание. В художнике нельзя было не признать истинного таланта; произведение хотя было не окончено, но, однако же, носило на себе резкий признак могущественной кисти; но при всем том эта сверхъестественная живость глаз возбуждала какой-то невольный упрек художнику. Они чувствовали, что это верх истины, что изобразить ее в такой степени может только гений, но что этот гений уже слишком дерзко перешагнул границы воли человека. Внимание их прервало внезапное восклицание одного, уже несколько пожилых лет, посетителя. «Ах, это он!» — вскрикнул он в сильном движении и неподвижно вперил глаза на портрет. Такое восклицание, натурально, зажгло во всех любопытство, и некоторые из рассматривающих никак не утерпели, чтобы не сказать, оборотившись к нему:

— Вам, верно, известно что-нибудь об этом портрете?

— Вы не ошиблись, — отвечал сделавший невольное восклицание. — Точно, мне более, нежели кому другому, известна история этого портрета. Все уверяет меня, что он должен быть тот самый, о котором я хочу говорить. Так как я замечаю, что вас всех интересует о нем узнать, то я теперь же готов несколько удовлетворить вас.

Посетители наклонением головы изъявили свою благодарность и с большою внимательностию приготовились слушать.

— Без сомнения, немногим из вас, — так начал он, — известна хорошо та часть города, которую называют Коломной. Характеристика ее отличается резкою особенностью от других частей города. Нравы, занятия,

состояния, привычки жителей совершенно отличны от прочих. Здесь ничто не похоже на столицу, но вместе с этим не похоже и на провинциальный городок, потому что раздробленность многосторонней и, если можно сказать, цивилизированной жизни проникла и сюда и оказалась в таких тонких мелочах, какие может только родить многолюдная столица. Тут совершенно другой свет, и, въехавши в уединенные коломенские улицы, вы, кажется, слышите, как оставляют вас молодые желания и порывы. Сюда не заглядывает живительное, радужное будущее. Здесь все тишина и отставка. Здесь все, что осело от движения столицы. И в самом деле, сюда переезжают отставные чиновники, которых пенсион не превышает пятисот рублей в год; вдовы, жившие прежде мужними трудами; небогатые люди, имеющие приятное знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь на целую жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавке и забирающие каждый день на пять копеек кофию и на четыре копейки сахару; наконец, весь тот разряд людей, который я назову пепельным, которые с своим платьем, лицом, волосами имеют какую-то тусклую пепельную наружность. Они похожи на серенький день, когда солнце не слепит своим ярким блеском, когда тоже буря не свищет, сопровождаемая громом, дождем и градом, но просто когда на небе бывает ни се ни то: сеется туман и отнимает всю резкость у предметов. Лица этих людей бывают как-то искрасна-рыжеватые, волосы тоже красноватые; глаза почти всегда без блеска; платье их тоже совершенно матовое и представляет тот мутный цвет, который происходит, когда смешаешь все краски вместе, и вообще вся их наружность совершенно матовая. К этому разряду можно причислить отставных театральных капельдинеров, уволенных пятидесятилетних титулярных советников, отставных питомцев Марса с двухсотрублевым пенсионом, выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: им все трын-трава; идут они, совершенно не обращая внимания ни на какие предметы, молчат, совершенно не думая ни о чем. В комнате их только кровать и штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого смелого прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот студент Мещанской улицы, один владеющий тротуаром за двенадцать часов ночи.

Жизнь в Коломне всегда однообразна: редко гремит в мирных улицах карета, кроме разве той, в которой ездят актеры и которая звоном, громом и бряканьем своим смущает всеобщую тишину. Здесь все почти — пешеходы. Извозчик редко, лениво, и почти всегда без седока, волочится, таща вместе с собою сено для своей скромной клячи. Цена квартир редко достигает тысячи рублей; их больше от пятнадцати до двадцати и тридцати рублей в месяц, не считая множества углов, которые отдаются с отоплением и кофием за четыре с полтиною в месяц. Вдовы-чиновницы, получающие пенсион, самые солидные обитательницы этой части. Они ведут себя очень хорошо, метут довольно часто свою комнату и говорят

с своими соседками и приятельницами о дороговизне говядины, картофеля и капусты; при них находится очень часто молоденькая дочь, молчаливое, безгласное существо, впрочем иногда довольно миловидное; при них находится также довольно гадкая собачонка и старинные часы с печально постукивающим маятником. Эти-то чиновницы занимают лучшие отделения, от двадцати до тридцати, а иногда и до сорока рублей. За ними следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны. Это народ свободный, как все артисты, живущие для наслаждения. Они, сидя в своих халатах, или вытачивают из кости какие-нибудь безделки, или починивают пистолет, или клеят из картона какие-нибудь полезные для дома вещи, или играют с пришедшим приятелем в шашки или карты и так проводят утро; то же делают ввечеру, примешивая к этому часто пунш. После этих тузов, этого аристократства Коломны, следует необыкновенная дробь и мелочь; и для наблюдателя так же трудно сделать перечень всем лицам, занимающим разные углы и закоулки одной комнаты, как поименовать все то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Какого народа вы там не встретите! Старухи, которые молятся, старухи, которые пьянствуют, старухи, которые пьянствуют и молятся вместе, старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи таскают с собою старые тряпья и белье от Калинкина моста до толкучего рынка с тем, чтобы продать его там за пятнадцать копеек. Словом, весь жалкий и несчастный осадок человечества.

Естественное дело, что этот народ терпит иногда большой недостаток, не дающий возможности вести их обыкновенную, бедную жизнь; они должны часто делать экстренные займы, чтобы выпутаться из своих обстоятельств. Тогда находятся между ними такие люди, которые носят громкое название капиталистов и могут снабжать за разные проценты, всегда почти непомерные, суммою от двенадцати до ста рублей. Эти люди мало-помалу составляют состояние, которое позволяет завестись иногда собственным домиком. Но на этих ростовщиков вовсе не было похоже одно странное существо, носившее фамилию Петромихали. Был ли он грек, или армянин, или молдаван — этого никто не знал, но, по крайней мере, черты лица его были совершенно южные. Ходил он всегда в широком азиатском платье, был высокого роста, лицо его было темно-оливкового цвета, нависнувшие черные с проседью брови и такие же усы придавали ему несколько страшный вид. Никакого выражения нельзя было заметить на его лице: оно всегда почти было неподвижно и представляло странный контраст своею южною резкою физиогномией с пепельными обитателями Коломны. Петромихали вовсе не был похож на помянутых ростовщиков этой уединенной части города. Он мог выдать сумму, какую бы только от него не потребовали; натурально, что за то и проценты были тоже необыкновенны. Ветхий дом его со множеством пристроек находился на Козьем болоте. Он был бы не так дряхл, если бы владелец его сколько-нибудь разорился на починку, но Петромихали не делал решительно никаких издержек. Все комнаты его, выключая небольшой лачужки, которую он занимал сам, были холодные кладовые, в которых кучами были набро-

саны фарфоровые, золотые, яшмовые вазы, всякий хлам, даже мебели, которые приносили ему в залог разных чинов и званий должники, потому что Петромихали не пренебрегал ничем, и, несмотря на то что давал по сотне тысяч, он также готов был служить суммою, не превышавшею рубля. Старое негодное белье, изломанные стулья, даже изодранные сапоги — все готов он был принять в свои кладовые, и нищий смело адресовался к нему с узелком в руке. Дорогие жемчуги, обвивавшие, может быть, прелестнейшую шею в мире, заключались в его грязном железном сундуке вместе с старинною табакеркою пятидесятилетней дамы, вместе с диадемою, возвышавшеюся над алебастровым лбом красавицы, и бриллиантовым перстнем бедного чиновника, получившего его в награду неутомимых своих трудов. Но нужно заметить, что одна только слишком крайняя нужда заставляла обращаться к нему. Его условия были так тягостны, что отбивали всякое желание. Но страннее всего, что с первого разу проценты казались не очень велики. Он посредством своих странных и необыкновенных выкладок расположил таким непонятным образом, что они росли у него страшною прогрессией, и даже контрольные чиновники не могли проникнуть этого непостижимого правила, тем более что оно казалось основанным на законах строгой математической истины; они видели явно преувеличение итога, но видели тоже, что в этих вычетах нет никакой ошибки. Жалость, как и все другие страсти чувствующего человека, никогда не достигала к нему, и никакие мольбы не могли преклонить его к отсрочке или к уменьшению платежа. Несколько раз находили у дверей его окостеневших от холода несчастных старух, которых посиневшие лица, замерзнувшие члены и мертвые вытянутые руки, казалось, и по смерти еще молили его о милости. Это возбуждало часто всеобщее негодование, и полиция несколько раз хотела разобрать внимательнее поступки этого странного человека, но квартальные надзиратели всегда умели под какими-нибудь предлогами уклонить и представить дело в другом виде, несмотря на то что они гроша не получали от него. Но богатство имеет такую странную силу, что ему верят, как государственной ассигнации. Она, не показываясь, может невидимо двигать всеми как раболепными слугами. Это странное существо сидело, поджавши под себя ноги, на почерневшем диване, принимая недвижно просителей, слегка только мигнувши бровью в знак поклона; и ничего не можно было от него услышать лишнего или постороннего. Носились, однако ж, слухи, что будто бы он иногда давал деньги даром, не требуя возврата, но только такое предлагал условие, что все бежали от него с ужасом, и даже самые болтливые хозяйки не имели сил пошевелить губами, чтобы пересказать их другим. Те же, которые имели дух принять даваемые им деньги, желтели, чахли и умирали, не смея открыть тайны.

В этой части города имел небольшой домик один художник, славившийся в тогдашнее время своими действительно прекрасными произведениями. Этот художник был отец мой. Я могу вам показать несколько работ его, выказывающих решительный талант. Жизнь его была самая безмятежная. Это был тот скромный набожный живописец, какие только жили

во время религиозных средних веков. Он мог бы иметь большую известность и нажить большое состояние, если бы решился заняться множеством работ, которые предлагали ему со всех сторон; но он любил более заниматься предметами религиозными и за небольшую цену взялся расписать весь иконостас приходской церкви. Часто случалось ему нуждаться в деньгах, но никогда не решался он прибегнуть к ужасному ростовщику, хотя имел всегда впереди возможность уплатить долг, потому что ему стоило только присесть и написать несколько портретов — и деньги были бы в его кармане. Но ему так жалко было оторваться от своих занятий, так грустно было разлучиться хотя на время с любимою мыслью, что он лучше готов был несколько дней просидеть голодным в своей комнате, и на что бы он всегда решился, если бы не имел страстно любимой им жены и двух детей, из которых одного вы видите теперь перед собою. Однако же один раз крайность его так увеличилась, что он готов уже был идти к греку, как вдруг внезапно распространилась весть, что ужасный ростовщик находился при смерти. Это происшествие его поразило, и он уже готов был признать его нарочно посланным свыше для воспрепятствования его намерению, как встретил в сенях своих запыхавшуюся старуху, исправлявшую при ростовщике три разные должности: кухарки, дворника и камердинера. Старуха, совершенно отвыкшая говорить, находясь при своем странном господине, глухо пробормотала несколько несвязных отрывистых слов, из которых отец мой мог только узнать, что господин ее имеет в нем крайнюю нужду и просил его взять с собою краски и кисти. Отец мой не мог придумать, на что бы он мог быть ему нужен в такое время, и притом еще с красками и кистями, но побуждаемый любопытством, схватил свой ящик с живописным прибором и отправился за старухою.

Он насилу мог продраться сквозь толпу нищих, обступивших жилище умиравшего ростовщика и питавших себя надеждою, что авось-либо наконец перед смертию раскается этот грешник и раздаст малую часть из бесчисленного своего богатства. Он вошел в небольшую комнату и увидел протянувшееся почти во всю длину ее тело азиатца, которое он принял было за умершее, так оно вытянулось и было неподвижно. Наконец высохшая голова его приподнялась и глаза его так страшно устремились, что отец мой задрожал. Петромихали сделал глухое восклицание и наконец произнес: «Нарисуй с меня портрет!» Отец мой изумился такому странному желанию; он начал представлять ему, что теперь уже не время об этом думать, что он должен отвергнуть всякое земное желание, что уже немного минут осталось жить ему и потому пора помыслить о прежних своих делах и принести покаяние всевышнему. «Я не хочу ничего; нарисуй с меня портрет!» — произнес твердым голосом Петромихали, причем лицо его покрылось такими конвульсиями, что отец мой, верно бы, ушел, если бы чувство, весьма извинительное в художнике, пораженном необыкновенным предметом для кисти, не остановило его. Лицо ростовщика именно было одно из тех, которые составляют клад для артиста. Со страхом и вместе с каким-то тайным желанием поставил он холст за

неимением станка к себе на колени и начал рисовать. Мысль употребить после это лицо в своей картине, где хотел он изобразить одержимого бесами, которых изгоняет могущественное слово спасителя, эта мысль заставила его усилить свое рвение. С поспешностию набросал он абрис и первые тени, опасаясь каждую минуту, что жизнь ростовщика вдруг перервется, потому что смерть уже, казалось, носилась на устах его. Изредка только он издавал хрипение и с беспокойством устремлял страшный взгляд свой на картину; наконец что-то подобное радости мелькнуло в его глазах при виде, как черты его ложились на полотно. Опасаясь ежеминутно за жизнь его, отец мой прежде всего решился заняться окончательною отделкою глаз. Это был предмет самый трудный, потому что чувство, в них изображавшееся, было совершенно необыкновенно и невыразимо. Около часу трудился он возле них и наконец совершенно схватил тот огонь, который уже потухал в его оригинале. С тайным удовольствием он отошел немного подалее от картины, чтобы лучше рассмотреть ее, и с ужасом отскочил от нее, увидев живые, глядящие на него глаза. Непостижимый страх овладел им в такой степени, что он, швырнув палитру и краски, бросился к дверям; но страшное, почти полумертвое тело ростовщика приподнялось с своей кровати и схватило его тощею рукою, приказывая продолжать работу. Отец мой клялся и крестился, что не станет продолжать. Тогда это ужасное существо повалилось с своей кровати, так что его кости застучали, собрало все свои силы, глаза его блеснули живостью, руки обхватили ноги моего отца, и он, ползая, целовал полы его платья и умолял дорисовать портрет. Но отец был неумолим и дивился только силе его воли, перемогшей самое приближение смерти. Наконец отчаянный Петромихали выдвинул с необыкновенною силою из-под кровати сундук, и страшная куча золота грянула к ногам моего отца; видя и тут его непреклонность, он повалился ему в ноги, и целый поток заклинаний полился из его молчаливых дотоле уст. Невозможно было не чувствовать какого-то ужасного и даже, если можно сказать, отвратительного сострадания. «Добрый человек! Божий человек! Христов человек! — говорил с выражением отчаяния этот живой скелет. — Заклинаю тебя маленькими детьми твоими, прекрасною женою, гробом отца твоего, кончи портрет с меня! еще один час только посиди за ним! Слушай, я тебе объявлю одну тайну. — При этом смертная бледность начала сильнее проступать на лице его. — Но тайны этой никому не объявляй — ни жене, на детям твоим, а не то и ты умрешь, и они умрут, и все вы будете несчастны. Слушай, если ты теперь не сжалишься, то уже больше не стану просить. После смерти я должен идти к тому, к которому бы я не хотел идти. Там я должен вытерпеть муки, каких тебе и во сне не слышалось; но я могу долго еще не идти к нему, до тех пор, покуда стоит земля наша, если ты только докончишь портрет мой. Я узнал, что половина жизни моей перейдет в мой портрет, если только он будет сделан искусным живописцем. Ты видишь, что уже в глазах осталась часть жизни; она будет и во всех чертах, когда ты докончишь. И хотя тело мое сгибнет, но половина жизни моей останется на земле и я убегу надолго еще от мук.

Дорисуй! дорисуй! дорисуй!..» — кричало раздирающим и умирающим голосом это странное существо. Ужас еще более овладел моим отцом. Он слышал, как поднялись его волоса от этой ужасной тайны, и выронил кисть, которую было уже поднял, тронутый его мольбами. «А, так ты не хочешь дорисовать меня? — произнес хрипящим голосом Петромихали. — Так возьми же себе портрет мой: я тебе его дарю». При сих словах что-то вроде страшного смеха выразилось на устах его; жизнь, казалось, еще раз блеснула в его чертах, и чрез минуту пред ним остался синий труп. Отец не хотел притронуться к кистям и краскам, рисовавшим эти богоотступные черты, и выбежал из комнаты.

Чтобы развлечь неприятные мысли, нанесенные этим происшествием, он долго ходил по городу и ввечеру возвратился домой. Первый предмет, попавшийся ему в мастерской его, был писанный им портрет ростовщика. Он обратился к жене, к женщине, прислуживавшей на кухне, к дворнику, но все дали решительный ответ, что никто не приносил портрета и даже не приходил во время его отсутствия. Это заставило его минуту задуматься. Он приблизился к портрету и невольно отвратил глаза свои, проникнутый отвращением к собственной работе. Он приказал его снять и вынесть на чердак, но при всем том чувствовал какую-то странную тягость, присутствие таких мыслей, которых сам пугался. Но более всего поразило его, когда уже он лег в постелю, следующее, почти невероятное происшествие: он увидел ясно, как вошел в его комнату Петромихали и остановился перед его кроватью. Долго глядел он на него своими живыми глазами, наконец начал предлагать ему такие ужасные предложения, такое адское направление хотел дать его искусству, что отец мой с болезненным стоном схватился с кровати, проникнутый холодным потом, нестерпимою тяжестью на душе и вместе самым пламенным негодованием. Он видел, как чудное изображение умершего Петромихали ушло в раму портрета, который висел снова перед ним на стене. Он решился в тот же день сжечь это проклятое произведение рук своих. Как только затоплен был камин, он бросил его в разгоревшийся огонь и с тайным наслаждением видел, как лопались рамы, на которых натянут был холст, как шипели еще не высохшие краски; наконец куча золы одна только осталась от его существования. И когда начала она улетать легкою пылью в трубу, казалось, как будто неясный образ Петромихали улетел вместе с нею. Он почувствовал на душе какое-то облегчение. С чувством выздоровевшего от продолжительной болезни оборотился он к углу комнаты, где висел писанный им образ, чтобы принесть чистое покаяние, и с ужасом увидел, что перед ним стоял тот же портрет Петромихали, которого глаза, казалось, еще более получили живости, так что даже дети испустили крик, взглянувши на него. Это чрезвычайно поразило моего отца. Он решился открыться во всем священнику нашего прихода и просить у него совета, как поступить в этом необыкновенном деле. Священник был рассудительный человек и, кроме того, преданный с теплою любовию своей должности. Он немедленно явился по первому призыву к моему отцу, которого уважал как достойнейшего прихожанина. Отец не считал даже нужным

отводить его в сторону и решился тут же, при матери моей и детях, рассказать ему это непостижимое происшествие. Но едва только произнес он первое слово, как мать моя вдруг глухо вскрикнула и упала без чувств на пол. Лицо ее покрылось страшною бледностью, уста остались неподвижны, открыты, и все черты ее исковеркались судорогами. Отец и священник подбежали к ней и с ужасом увидели, что она нечаянно проглотила десяток иголок, которые держала во рту. Пришедший доктор объявил, что это было неизлечимо: иголки остановились у нее в горле, другие прошли в желудок и во внутренность, и мать моя скончалась ужасною смертью.

Это происшествие произвело сильное влияние на всю жизнь моего отца. С этого времени какая-то мрачность овладела его душою. Редко он чем-нибудь занимался, всегда почти оставался безмолвным и убегал всякого сообщества. Но между тем ужасный образ Петромихали с его живыми глазами стал преследовать его неотлучнее, и часто отец мой чувствовал прилив таких отчаянных, свирепых мыслей, которых невольно содрогался сам. Все то, что улегается, как черный осадок, во глубине человека, истребляется и выгоняется воспитанием, благородными подвигами и лицезрением прекрасного, — все это он чувствовал возмущавшимся и беспрестанно силившимся выйти внаружу и развиться во всем своем порочном совершенстве. Мрачное состояние души его именно было таково, чтобы заставить его ухватиться за эту черную сторону человека. Но я должен заметить, что сила характера отца моего была беспримерна; власть, которую он брал над собою и над страстями, была непостижима, его убеждения были тверже гранита, и чем сильнее было искушение, тем он более рвался противуставить ему несокрушимую силу души своей. Наконец, обессилев от этой борьбы, он решился излить и обнажить всего себя в изображении всей повести своих страданий тому же священнику, который всегда почти доставлял ему исцеление размышляющими своими речами.

Это было в начале осени; день был прекрасный, солнце сияло каким-то свежим осенним светом; окна наших комнат были отворены; отец мой сидел с достойным священником в мастерской; мы играли с братом в комнате, которая была рядом с нею. Обе эти комнаты были во втором этаже, составлявшем антресоли нашего маленького дома. Дверь в мастерской была несколько растворена; я как-то нечаянно заглянул в отверстие, увидел, что отец мой придвинулся ближе к священнику, и услышал даже, как он сказал ему: «Наконец я открою всю эту тайну...» Вдруг мгновенный крик заставил меня оборотиться: брата моего не было. Я подошел к окну и — боже! я никогда не могу забыть этого происшествия: на мостовой лежал облитый кровью труп моего брата. Играя, он, верно, как-нибудь неосторожно перегнулся чрез окошко и упал, без сомнения, головою вниз, потому что она была размозжена. Я никогда не позабуду этого ужасного случая. Отец мой стоял неподвижен перед окном, сложа накрест руки и подняв глаза к небу. Священник был проникнут страхом, вспомнив об ужасной смерти моей матери, и сам требовал от отца моего, чтобы он хранил эту ужасную тайну.

После этого отец мой отдал меня в корпус, где я провел все время своего воспитания, а сам удалился в монастырь одного уединенного городка, окруженного пустынею, где бедный север уже представлял только дикую природу, и торжественно принял сан монашеский. Все тяжкие обязанности этого звания он нес с такою покорностью и смирением, всю труженическую жизнь свою он вел с таким смирением, соединенным с энтузиазмом и пламенем веры, что, по-видимому, преступное не имело воли коснуться к нему. Но страшный им же начертанный образ с живыми глазами преследовал его и в этом почти гробовом уединении. Игумен, узнавши о необыкновенном таланте отца моего в живописи, поручил ему украсить церковь некоторыми образами. Нужно было видеть, с каким высоким религиозным смирением трудился он над своею работою: в строгом посте и молитве, в глубоком размышлении и уединении души приуготовлялся он к своему подвигу. Неотлучно проводил ночи над своими священными изображениями, и оттого, может быть, редко найдете вы произведений даже значительных художников, которые носили бы на себе печать таких истинно христианских чувств и мыслей. В его праведниках было такое небесное спокойствие, в его кающихся такое душевное сокрушение, какие я очень редко встречал даже в картинах известных художников. Наконец все мысли и желание его устремились к тому, чтобы изобразить божественную матерь, кротко простирающую руки над молящимся народом. Над этим произведением трудился он с таким самоотвержением и с таким забвением себя и всего мира, что часть спокойствия, разлитого его кистью в чертах божественной покровительницы мира, казалось, перешла в собственную его душу. По крайней мере, страшный образ ростовщика перестал навещать его, и портрет пропал неизвестно куда.

Между тем воспитание мое в корпусе окончилось. Я был выпущен офицером, но, к величайшему сожалению, обстоятельства не позволили мне видеть моего отца. Нас отправили тогда в действующую армию, которая, по поводу объявленной войны турками, находилась на границе. Не буду надоедать вам рассказами о жизни, проведенной мною среди походов, бивак и жарких схваток; довольно сказать, что труды, опасности и жаркий климат изменили меня совершенно, так что знавшие меня прежде не узнавали вовсе. Загоревшее лицо, огромные усы и хриплый крикливый голос придали мне совершенно другую физиогномию. Я был весельчак, не думал о завтрашнем, любил выпорожнить лишнюю бутылку с товарищем, болтать вздор с смазливенькими девчонками, отпустить спроста глупость — словом, был военный беспечный человек. Однако ж, как только окончилась кампания, я почел первым долгом навестить отца.

Когда подъехал я к уединенному монастырю, мною овладело странное чувство, какого прежде я никогда не испытывал: я чувствовал, что я еще связан с одним существом, что есть еще что-то неполное в моем состоянии. Уединенный монастырь посреди природы, бледной, обнаженной, навел на меня какое-то пиитическое забвение и дал странное, неопределенное направление моим мыслям, какое обыкновенно мы чувствуем в глубокую осень, когда листья шумят под нашими ногами, над головами ни листа,

черные ветви сквозят редкою сетью, вороны каркают в далекой вышине, и мы невольно ускоряем свой шаг, как бы стараясь собрать рассеявшиеся мысли. Множество деревянных почерневших пристроек окружали каменное строение. Я вступил под длинные, местами прогнившие, позеленевшие мохом, галереи, находившиеся вокруг келий, и спросил монаха отца Григория. Это было имя, которое отец мой принял по вступлении в монашеское звание. Мне указали его келью.

Никогда не позабуду произведенного им на меня впечатления. Я увидел старца, на бледном, изнуренном лице которого не присутствовало, казалось, ни одной черты, ни одной мысли о земном. Глаза его, привыкшие быть устремленными к небу, получили тот бесстрастный, проникнутый нездешним огнем вид, который в минуту только вдохновения осеняет художника. Он сидел передо мною неподвижно, как святой, глядящий с полотна, на которое перенесла его рука художника, на молящийся народ; он, казалось, вовсе не заметил меня, хотя глаза его были обращены к той стороне, откуда я вошел к нему. Я не хотел еще открыться и потому попросил у него просто благословения как путешествующий молельщик; но каково было мое удивление, когда он произнес: «Здравствуй, сын мой, Леон!» Меня это изумило: я десяти лет еще расстался с ним; притом меня не узнавали даже те, которые меня видели не так давно. «Я знал, что ты ко мне прибудешь, — продолжал он. — Я просил об этом пречистую деву и святого угодника и ожидал тебя с часу на час, потому что чувствую близкую кончину и хочу тебе открыть важную тайну. Пойдем, сын мой, со мною и прежде помолимся!» Мы вошли в церковь, и он подвел меня к большой картине, изображавшей божию матерь, благословляющую народ. Я был поражен глубоким выражением божественности в ее лице. Долго лежал он, повергшись перед изображением, и наконец, после долгого молчания и размышления, вышел вместе со мною.

После того отец мой рассказал все то, что вы сейчас от меня слышали. В истину его я верил потому, что сам был свидетелем многих печальных случаев нашей жизни. «Теперь я расскажу тебе, сын мой, прибавил он после этой истории, — то, что мне открыл виденный мною святой, не узнанный среди многолюдного народа никем, кроме меня, которого милосердый создатель сподобил такой неизглаголенной своей благости». При этом отец мой сложил руки и устремил глаза к небу, весь отданный ему всем своим бытием. И я наконец услышал то, что сейчас готовлюсь рассказать вам. Вы не должны удивляться странности его речей: я увидел, что он находился в том состоянии души, которое овладевает человеком, когда он испытывает сильные, нестерпимые несчастия; когда, желая собрать всю силу, всю железную силу души и не находя ее довольно мощною, весь повергается в религию; и чем сильнее гнет его несчастий, тем пламеннее его духовные созерцания и молитвы. Он уже не походит на того тихого размышляющего отшельника, который, как к желанной пристани, причалил к своей пустыне с желанием отдохнуть от жизни и с христианским смирением молиться тому, к которому он стал ближе и доступнее; напротив того, он становится чем-то исполинским. В нем не угаснул пыл души, но, напротив, стремится и вырывается с большею

силою. Он тогда весь обратился в религиозный пламень. Его голова вечно наполнена чудными снами. Он видит на каждом шагу видения и слышит откровения; мысли его раскалены; глаз его уже не видит ничего, принадлежащего земле; все движения, следствия вечного устремления к одному, исполнены энтузиазма. Я с первого раза заметил в нем это состояние и упоминаю о нем потому, чтобы вам не казались слишком удивительными те речи, которые я от него услышал.

«Сын мой! — сказал он мне после долгого, почти неподвижного устремления глаз своих к небу, — уже скоро, скоро приблизится то время, когда искуситель рода человеческого, антихрист, народится в мир. Ужасно будет это время: оно будет перед концом мира. Он промчится на коне-гиганте, и великие потерпят муки те, которые останутся верными Христу. Слушай, сын мой: уже давно хочет народиться антихрист, но не может, потому что должен родиться сверхъестественным образом; а в мире нашем все устроено всемогущим так, что совершается все в естественном порядке, и потому ему никакие силы, сын мой, не помогут прорваться в мир. Но земля наша — прах пред создателем. Она, по его законам, должна разрушаться, и с каждым днем законы природы будут становиться слабее, и оттого границы, удерживающие сверхъестественное, приступнее. Он уже и теперь нарождается, но только некоторая часть его порывается показаться в мир. Он избирает для себя жилищем самого человека и показывается в тех людях, от которых уже, кажется, при самом рождении отшатнулся ангел, и они заклеймены страшною ненавистью к людям и ко всему, что есть создание творца. Таков-то был тот дивный ростовщик, которого дерзнул я, окаянный, изобразить преступною своею кистью. Это он, сын мой, это был сам антихрист. Если бы моя преступная рука не дерзнула его изобразить, он бы удалился и исчезнул, потому что не мог жить долее того тела, в котором заключил себя. В этих отвратительных живых глазах удержалось бесовское чувство. Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во все силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо, без образа, на земле. Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуту самых чистых и святых помышлений. О, если бы моя кисть не остановила своей адской работы, он бы еще более наделал зла, и нет сил человеческих противустать ему. Потому что он именно выбирает то время, когда величайшие несчастия постигают нас. Горе, сын мой, бедному человечеству! Но слушай, что мне открыла в час святого видения сама божия матерь. Когда я трудился над изображением пречистого лика девы Марии, лил слезы покаяния о моей протекшей жизни и долго пребывал в посте и молитве, чтобы быть достойнее изобразить божественные черты ее, я был посещен, сын мой, вдохновением, я чувствовал, что высшая сила осенила меня и ангел возносил мою грешную руку, и я чувствовал, как шевелились на мне волоса мои и душа вся трепетала. О сын мой! За эту минуту я бы тысячи взял мук на себя. И я сам дивился тому, что изобразила кисть моя. Тогда же предстал мне во сне пречистый лик девы,

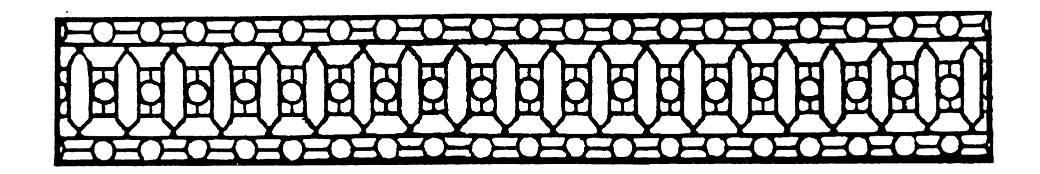
и я узнал, что в награду моих трудов и молитв сверхъестественное существование этого демона в портрете будет не вечно, что если кто торжественно объявит его историю по истечении пятидесяти лет в первое новолуние, то сила его погаснет и рассеется, яко прах, и что я могу тебе передать это перед моею смертию. Уже тридцать лет, как он с того времени живет; двадцать впереди. Помолимся, сын мой!» При этом он повергнулся на колени и весь превратился в молитву.

Признаюсь, я внутренно все эти слова приписывал распаленному его воображению, воздвигнутому беспрестанным постом и молитвами, и потому из уважения не хотел делать какого-нибудь замечания или соображения. Но когда я увидел, как он поднял к небу иссохшие свои руки, с каким глубоким сокрушением молчал он, уничтоженный в себе самом, с каким невыразимым умилением молил о тех, которые не в силах были противиться адскому обольстителю и погубили все возвышенное души своей, с какою пламенною скорбию простерся он, и по лицу его лились говорящие слезы, и во всех чертах его выразилось одно безмолвное рыдание — о! тогда я не в силах был предаться холодному размышлению и разбирать слова его.

Несколько лет прошло после его смерти. Я не верил этой истории и даже мало думал о ней; но никогда не мог ее никому пересказать. Я не знаю, отчего это было, но только я чувствовал всегда что-то удерживавшее меня от того. Сегодня без всякой цели зашел я на аукцион и в первый раз рассказал историю этого необыкновенного портрета, — так что я невольно начинаю думать, не сегодня ли то новолуние, о котором говорил отец мой, потому что действительно с того времени прошло уже двадцать лет.

Тут рассказывавший остановился, и слушатели, внимавшие ему с неразвлекаемым участием, невольно обратили глаза свои к странному портрету и, к удивлению своему, заметили, что глаза его вовсе не сохраняли той странной живости, которая так поразила их сначала. Удивление еще более увеличилось, когда черты странного изображения почти нечувствительно начали исчезать, как исчезает дыхание с чистой стали. Что-то мутное осталось на полотне. И когда подошли к нему ближе, то увидели какой-то незначащий пейзаж. Так что посетители, уже уходя, долго недоумевали: действительно ли они видели таинственный портрет или это была мечта и представилась мгновенно глазам, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.





ШИНЕЛЬ

I

ПОВЕСТЬ О ЧИНОВНИКЕ, КРАДУЩЕМ ШИНЕЛИ

В департаменте податей и сборов, который впрочем иногда называют департаментом подлостей и вздоров, не по тому чтобы в самом деле были там подлости, но потому что господа чиновники любят так же как и военные офицеры немножко поострить, — итак в этом департаменте служил чиновник, собой не очень взрачный, низенький, плешивый, рябоват, красноват, дале на вид несколько подслеповат, [служил он очень беспорочно].[1] В то время еще не выходил указ о том, чтобы застегнуть чиновников в вицмундиры. Он ходил во фраке, цвету коровьей коврижки. Он был [очень] доволен службою и чином титулярного советника. Никаких замыслов на коллежского асессора, ни надежд на прибавку жалованья: в существе своем это было очень доброе животное и то, что называют благонамеренный человек, ибо в самом деле от него почти никогда не слыхали ни дурного, ни доброго слова. Он совершенно жил [и назы<вался?>] и наслаждался своим должностным занятием, и потому на себя почти никогда не глядел, даже брился без зеркала. На фраке у него вечно были перья, и он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно в то самое время, когда из него выбрасывали какую-нибудь дрянь, и потому он вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Зато нужно было поглядеть на него, когда он сидел в присутствии за столом и переписывал; нужно было видеть наслаждение, выражавшееся на его лице; некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если [он] добирался, то на лице у него просто был восторг.[2] Он всегда приходил раньше

---

[1] *Вместо* «[служил беспорочно]» *на полях написано*: Был он то, что называют вечный титулярный советник, чин, над которым, как известно, наострились немало разные писатели, которых сочинения [доныне] еще [читаются в деревнях] смешат разных невинных читателей, любящих почитать от скуки и для препровождения времени. [2] *Сверху и на полях написано*: то чувствовал [такой] восторг, [что] описать нельзя: и подсмеивался и подмигивал и голову совсем на бок, так что [иногда] для охотника можно в лице читать бы[ло] всякую букву. Живете, мыслете, слово, твердо — все это просто рисовалось и отпечатывалось на лице его. Губы его невольно и сжимались и послаблялись и [обраща<лись?>] как будто даже отчасти помогали. Тогда он не глядел ни на что и не слушал ничего, рассказывал ли один чиновник другому, что он заказал новый фрак и почем сукно [или] и споры о том, кто лучше шьет, о Петергофе, о театре или хоть даже анекдот весьма интересный, потому что довольно старый и знакомый, [шла ли <речь>] о том, как одному коменданту сказали, что у статуи Петра отрублен хвост, шла ли речь наконец о нем самом. Ему хоть трава не расти. Он в это время жил <?>

всех. Если не было переписывать, подшивал бумаги, [чи<нил>] перечинивал перья. [При все том] словом служил очень ревностно на пользу отечества,[3] но выслужил[4] пряжку в петлицу да гиморой в поясницу.[5] Несмотря на то уважения к нему было очень немного: молодые чиновники над ним подсмеивались, и сыпали на голову ему бумажки, что называли снегом; старые швыряли ему бумаги, говоря «на, перепиши»; сторожа даже не приподнимались с мест своих, когда он проходил. Жалованья ему было четыреста рублей в год. На это жалованье[6] он ел что-то в роде[7] супа[8] и какое-то блюдо из говядины, [пахнувшее страшно][9] луком; валялся в [узкой] узе́нькой[10] комнате над сараями, в Свечном переулке, [штопал сапоги и клал заплаты][11] на свои панталоны вечно[12] на одном и том же месте.[13] Право не помню его фамилии. Дело в том, что это был первый человек, довольный своим состоянием, если бы не одно маленькое, очень затруднительное впрочем обстоятельство. В то время, когда Петербург дрожит от холода и двадцатиградусный мороз дает свои колючие щелчки по носам даже [и] действительных тайных советников первого и второго класса, бедные титулярные советники остаются решительно без всякой защиты. Чиновник, о котором идет дело, укрывал кое-как, как знал, свой нос, впрочем очень не замечательный, тупой, и несколько похожий на то пирожное, которое делают[14] кухарки в Петербурге, называемое пышками. Он его упрятывал во что-то больше похожее на капот, чем на шинель, что-то очень неопределенное и очень поношенное. [С каждым годом] На сорок втором году своей жизни он заметил, что этот капот или шинель становится очень холодновата.[15] Рассмотревши его всего насквозь, к свету и так, он решился снести его к портному, жившему [в том же доме, в такой же] почти комнатке, который [чинил] [занимался] несмотря на свой кривой глаз[16] занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков.[17]

---

[3] *На полях написано*: Служил так ревностно как решительно нельзя уже ревностнее. [4]*Сверху написано*: кажется что-то очень не много, только [5]*Сверху и на полях написано*: вот и всего. Конечно, это было немного, но большего даже трудно было и дать ему, потому что когда один попробовали употребить <его> на дело немного высшее, именно [дали] поручено было из готового дела составить отношение в какое-то присутствие<енное место> <?>, все дело состояло в том чтобы переменить только заглавие и поставить в третьем лице все то, что находилось в первом, это задало ему такую головоломку, что он вспотел совершенно, тер лоб и сказал, чтобы дали ему переписать что-нибудь. [6]*Сверху написано*: На это жалованье он доставлял себе множество наслаждений [7]*Сверху написано*: щей или [8]*Сверху написано*: Бог его знает впрочем [9]Вместо «пахнувшее страшно»: прошпигованное немилосердно [10] *Вместо* «валялся узенькой»: отлеживался во всю волю на кровати [11] *Вместо*: «штопал заплаты»: и платил [за штопку] за помещение заплаты [12] *Вместо*«вечно»: почти [13]*Сверху и на полях написано*: и все это за те же 400 рублей и даже ему оставалось <1 нрзб> на поставку подметок в год на сапоги, которые он очень берег, [и потому] <по> этой причине [до́ма] на квартире сидел всегда в чулках. [14]*Сверху написано*: некоторым чиновникам [15]*Сверху написано*: Он уже издавна стал замечать, что шинель становится чем далее как будто бы немного холодноватее. [16] *Сверху написано*: <и> рябизну по всему телу [17]*Вместо* «жившему фраков»: которому эта шинель была [решительно] так же знакома, как собственная, и он знал совершенно местоположе́ние всех худых и дырявых мест. *Весь этот текст написан рукой М. П. Погодина, а исправления — рукой Гоголя.*

Об этом портном нечего и говорить, но читатели народ ужасно любопытный, им непременно хочется узнать, что и какой портной и был <ли> он женат и в которой улице живет и сколько расходует и как у него нос, крив ли и вздернут ли просто лепешкой. Итак, хоть оно казалось нечего бы и говорить о портном, но т. к. автор совершенно во власти читателя [то]... нечего делать.

Сначала он назывался просто Петр и был крепостным человеком не помню у какого-то барина. Петровичем же он стал называться с тех пор как получил отпускную,[18] женился и стал попивать довольно сильно по праздникам, сначала главным, а потом и всем церковным, где только есть в календаре крестик, нужды нет что не в кружке. С этой стороны Петрович был сильно привязан к религии. На счет же,[19] на третьей ли жене он женат или на первой, прошу пред читателями извинения, право не знаю; знаю только что есть жена, расхаживает и по воскресным дням надевает даже чепчик. Собой же кажется вовсе не смазлива, так что одни только гвардейские солдаты заглядывают ей в лицо, когда <1 нрзб> моргнувши как водится и испустивши потом что-то подобное на рычание сквозь...[20]

Портной, взявши в руки капот и вскинувши немного пол<ы>, посмотрел его всего против света очень тщательно и покачав головою полез в карман за табаком.[21] Понюхав табаку,[22] он перевернул шинель[23] вниз и так верх ногами, и вновь начал[24] рассматривать против света.[25] Последовало вновь качание[26] головой,[27] после чего он полез в карман за табаком[28] и вновь натащил в нос табаку,[29] после чего положил шинель на стол и сказал: Нет. Ничего нельзя сделать. Можно бы еще. Если бы сукно не было больно так попротерто.[30] Клинчики и кусочки[31] можно бы еще как-нибудь положить: посмотрите только сукно не выдержит.[32] Таков ответ до того смутил...[33]

---

[18]с тех пор как отпуще<н> [19]На счет того [20]*Не дописано* [21]*На полях написано*: а) Акакий Акакиевич очень понимал этот жест: он всегда употреблялся в дело <?>, это значило, что положение дела должно быть было довольно трудно. Чрез несколько минут [вышла] [вытащил] [показа<лась?>] рука Петровича вышла из кармана с табакеркой.б) а сам полез в карман своего довольно дурно сшитого сертука, что как известно почти всегда бывает у хороших портных. Вытащенная им из кармана вещь была табакерка с портретом какого<-то> генерала, какого именно не известно потому что лицо в месте, которое занимало лицо, была проткнута пальцем дырка, которую он залепил бумажкой; вынувши табакерку он попринялся набивать себе ноздри. [22]*Сверху написано*: Набивши обе ноздри и потом [23]*Сверху написано*: которая была [обровн<ена?>] [на меху] изнутри подбита каким-то мехом похожим несколько на [шерсть которую] мех, которым обивают внутри зимние валенки <?> [24]и стал [25]рассматривать против света. Но недобравшись, только <?> всю распл<астал?> *Сверху написано*: нагрузивши обе ноздри и встряхнувши руками [26] *Сверху написано*: так случилось то же самое [27]качание головою и самое крепкое набитие носа табаком [28]за табаком натыкавши [29]а) и вновь понаровил себе обе ноздри б) и вновь нафабрил [30]не было так протерто [31]Клинчики и лоск<утки> [32]*Далее начато*: Это [33] *не дописано.*

II

ОТРЫВКИ ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ

1

<А> В департаменте податей и сборов или, как любят иногда называть его чиновники любящие поострить, подлостей и вздоров[1]

<Б> В департаменте... не хочу сказать каком.[2] Ибо департаменты пресердитое сословие и чуть только назови один из них по имени, в ту же минуту названный обидится и будет утверждать, что над ним смеются, хотя бы просто автор сказал, что в департаменте весьма чисто и опрятно.[3] Итак, в одном департаменте служил один чиновник довольно низенького роста,[4] несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшою лысинкой на лбу [и] морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется несколько геморроидальным. Что ж делать. Автор в этом совершенно не виноват. Таково действие петербургского климата...[5] Что касается до чина, ибо[6] у нас на Руси прежде всего нужно объявить чин[7] [говорится: как, скажите <?> ваш чин, имя и фамилия, а не фамилия, имя, чин... Итак, что касается до чина], то он был то что называют вечный титулярный советник, [чин] над которым как известно у нас немало потрунили и поострились разные писатели, [которых сочинения и доныне еще смешат некоторых читателей, сделавшихся читателями[8] от скуки и из препровождения времени] [и] которые имеют похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться.[9] [Имя и] фамилия его была Акакий Акакиевич Тишкевич.

Может быть это имя покажется несколько странным [но что ж делать], никак нельзя было без него обойтись[10] и это читатель сейчас[11] увидит, всю историю как[12] это произошло. Родился он как раз против ночи на 4 февраля зимою в самое дурное время. Покойница матушка чиновница и очень хорошая женщина[13] тотчас же приказала[14] позвать священника, чтобы окрестить ребенка. Ибо Акакий Акакиевич был тогда без галстуха, без фрака и без морщин. Словом, был ребенок. Покойница лежала на кровати против дверей, с правой стороны кум, служивший[15] в 4 департаменте сената и жена квартального офицера.[16] Священник открыл святцы и, как водится мальчику давать имя святых

---

[1]*Сноска автора*: [назван<ие>] да не подумают впрочем читатели, чтобы это название основано было в самом деле на какой-нибудь истине, ничуть, здесь все дело только в этимологическом подобии слов. Вследствие этого департамент горных и соляных дел называется депар<таментом> горьких и соленых дел и тому подобное. Много приходит на ум иногда чиновникам во время, остающееся между службой и вистом, когда на зло трескучему морозу где-нибудь в комнате, при освещенном свечами вечере и шипячем самоваре *не дописано*
[2]*Далее начато*: Вообще [3]весьма чисто и выметаются хорошо <полы> [4]больше низенького чем среднего роста [5]*Далее начато*: Был он [6]потому что [7]сословие [8]читателей, читающих [9]<которые не> кусаются [10]*Далее начато*: совершенно нельзя и вот [11]совершенно сейчас [12]увидит как [13]*Далее было*: генеральша Кулебякина ее любила [14]тотчас же послала [15]кум стряпчий [16]квартального чиновника

несколькими днями вперед, то священник представил матушке любой из трех: Еввул, Моккий, Евголий. — Вот это, батюшка, какие имена, я таких и не слышала. Это такие имена[17] — и людей таких нет. — Священник перевернул через страницу [и] вышли опять три имени: Варахасий, Дула и Трифилий. — Ах, боже мой, еще чуднее имена. Да разве, батюшка, были такие имена. Какие право! Странно — уж пусть бы еще Варадат или Фармуфий, а то...[18] Трифилий. Я и не выговорю таких. — Священник перевернул страницу и вышли два: Павсакакий и Фрументий. — Ну, уж коли так, сказала мать, так пусть[19] так называется как отец.[20] Отец был Акакий, так пусть и сын называется Акакий, и таким образом составился Акакий Акакиевич. Его тут же окрестили.

Итак, это произошло совершенно по необходимости, что чиновник стал носить такое имя.

Но как он служил, клянусь, этак трудно служить, этак не служат. Это не то что иной,[21] [как] говорится, отзвонил да и с колокольни, прибавивши: чорт побери присутствие, и вытянувшись пошел подпрыгивать[22] по улице и натягивать на пальцы белую перчатку. Акакий Акакиевич пил службу как воздух.[23] В службе его было все существование, источник радостей и всего.

2

Всходя[24] по чердачной <?> лестнице, которая[25] была облита вся водой и помоями[26] и вела прямо в комнату Петровича с окном в какую-то коню<шню>, Акакий Акакиевич думал уже между тем о цене и сколько именно запросит Петрович за работу и готовился мысленно надавать[27] на пять рублей два рубля.

Дверь была отворена, потому что хозяйка готовя какую-то рыбу напустила дыму в кухню[28] и для этого...[29] Пройдя через кухню, которая несмотря на то что была[30] маленька, но была грязнее кожи <?> мужика идущего в баню[31] и где была вволю тараканов прусаков и прочих хозяйственных необходимостей,[32] Акакий Акакиевич вошел наконец в комнатку, где увидел Петровича сидящего возле на столе,[33] подвернувшего под себя ноги как султан. Ноги сами по себе, по обычаю портных сидящих за работою, были[34] нагишом[35] и большой палец, очень знакомый Акакию Акакиевичу, с каким<-то> изуродованным ногтем, толстым большим и

---

[17] *Далее было*: Священник показал святцы [18] а то... это право [19] пусть будет [20] как и отец его Акакий. [21] *далее было*: занимающий даже и штатное место 7 класса и выше. Насидевшись [22] попрыгивать [23] жил службою [24] *Перед этим начато*: Подходя [25] которая вела к Петровичу [26] *Сверху написано*: проникнув тем спиртуозным запахом, который властвует на наполненных местах [27] уже мыслен<но> готовясь давать [28] в короб <?> [29] *Недописано* [30] которая была хоть [31] маленька, но как водится весьма грязненька [32] и снабжена <?> вволю тараканами прусаками и прочими хозяйственными необходимостями [33] сидящего на столе [34] по обычаю портных были [35] [Надо] Не нужно говорить, что ноги эти были натурально нагишом

крепким как череп у черепахи, со своей стороны приветствовал его. Петрович кивнул головою и посмотрел на руки Акакия Акакиевича желая знать, какого рода добычу тот несет. На шее у него висел моток шелку и ниток, а на коленях какая-то ветошь. Петрович за минуту до прихода продевал с четверть часа нитку в иглу и все не попадал и потому сердился и бранил темное время.[36] Акакию Акакиевичу неприятно было, что он пришел в ту минуту, когда Петрович [сердился].[37] Он особенно[38] любил заказывать Петровичу[39] когда он[40] уже был неско<лько>[41] под куражем или как выражалась жена его: осадился сивухой, одноглазый чорт. В таком состоянии[42] Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался и всякой раз даже кланялся и благодарил.[43] Потом, правда, приходила жена его с плачем, что [де] дешево де взялся, но гривенника было <довольно?> прибавить и дело в шляпе. А теперь Акакий Акакиевич спохватился, да нечего делать, дело было сделано.

— Здравствуй Петрович, а я вот того.

— Здравствовать желаю, сказал Петрович, посмотревши единственным глазом на фрак Акакия <Акакиевича>, начиная с рукавов и на покрой спинки, который ему очень был знаком, но таков уже обычай портных.[44] Это первое что он сделает, прежде чем начнет говорить...

— Вот я того, Петрович... Шинель-то местах в трех повытерлась...[45] Так того, чтобы заплаточка, знаешь... да и подкладку тоже в иных <местах> подшить, где разорвалась и кое где и того, нового колинкорца[46] вставить.

3

А ты, Петрович, заплаточку!

Гм. Да ведь заплаточку-то уж нельзя положить. Укрепиться ей не за что.[47] Повернешь иголку, а оно и ползет. Подержка-то уж очень большая.[48] Ведь это оно только слава что сукно, оно что порох, вон так на ветер и летит.[49]

А ты, Петрович, все-таки как-нибудь укрепи.

Да что прикрепить? прикрепить-то можно прикрепить, да было бы к чему. Тут поставишь заплатку, а на другой день нужно опять и другую.

— Ну, а ты, Петрович, и другую поставишь потом.

— Да что ж <?>, уж ее просто только бросить, если говорить правду. Как зимний холод придет, так вы онучки из <нее> для ног сделайте, потому что чулок не согреет.[50] Это немцы выдумали, чтобы денег побольше себе заби-

---

[36]сердился браня темноту [37]сердился, но нечего делать, дело было сделано. [38]Ему бы особенно [39]любил к Петровичу приходить в то время [40]когда т<от> [41]был немножко [42]В это время [43]и всякий раз даже благ<одарил>. [44]обычай портных обсм<отреть> на нем [45]<?>местах в трех прот<ерлась> [46]новые штучки. [47]*Далее начато*: Тут [48]Сукно-то больно издержалось [49]оно что прогорелое, ты его ткнешь <?> только вон лезет. [50]*Вместо*: «Да чтож ∾ не согреет»: Да ведь это выходит, одна подчинка дороже чем шинель, а вы уж нечего делать. Ведь она просто разве на мусор только ее продать — а ведь нечего делать, оставьте ее так

рать <Петрович любил при случае кольнуть немцев>. [Да] а шинель нужно новую[51] делать.

III

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ ЭПИЛОГА

Акакий Акакиевич уже и не слышал, как он сошел с лестницы и выбрался. Ни рук, ни ног под собою он не чувствовал, в жизнь свою он не был еще[1] так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Это обстоятельство совершенно доканало его; <он> шел разинув рот,[2] куды попало в снег <?>. Ветер по петербургскому обычаю со всех четырех сторон дул в него из переул<ков>[3] проникая до костей и несколько раз сваливая его с ног и наконец в довершение насвистал ему в горло жабу. Пришедши домой он[4] не мог сказать ни одного связного слова, весь распух и слег в постель. На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря[5] деятельному и великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла сильно быстрее ожиданию вплоть до воспаления. Департаментский доктор пришел больше для[6] того только чтобы видеть ход болезни и объявить, что <в> два дни больной[7] будет совершенно готов[8] откланяться. Все это время больной Акакий Акакиевич впадал в поминутный бред: то видел Петровича и заказывал[9] ему сделать шинель с пистолетами, чтобы она могла отстреливать если еще <?> нападут мошенники, потому что в его комнате везде сидят воры и [мошенники]. То казалось[10] ему, что он стоит перед генералом и слушает надлежащее распекание[11] приговаривая: да, виноват, виноват, ваше превосходительство. То, наконец, даже сквернохульничал выражаясь[12] совершенно извозчичьим слогом или тем, которым производят порядки на улицах, чего от роду за ним не бывало от времени[13] самого рождения.[14] — Я не посмотрю, что ты генерал, вскрикивал он иногда голосом таким громким. — Я у тебя отниму шинель.[15] Я Платону Ивановичу столоначал<ьнику> [нажалуюсь] [наконец]. Далее он говорил совершенную бессмыслицу и ничего решительно нельзя было понять. Можно было заметить,[16] что беспорядочные расстроенные слова[17] все ворочались около шинели. Наконец, бедный <Акакий> Акакиевич испустил дух. Комнату и вещи его не опечатали, потому что во-первых не было наследников и, во-вторых, потому что наследства оставалось что-то очень немного, именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, две-три[18] пуговицы, оторванные <от>

---

[51] шинель новую нужно.

[1] он еще не был [2] раскрыв рот [3] со всех переулков [4] когда пришел он [5] На другой же день благодаря [6] пришел для [7] что больному [8] больной готов [9] то заказывал [10] то виделось [11] слушает распекание [12] и говорил [13] от времени. [14] *Далее начато*: и вскрикивал он [15] я твою шинель <отниму ?> [16] Заметно было только [17] что слова [18] несколько

панталон, пары две носков и известный уже читателю капот. Кому все это досталось, бог знает. Это не наше дело, Акакия Акакиевича свезли и похоронили, и Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы его в нем и никогда не было. Исчезло и скрылось существо никем незащищенное и никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя взгляд естествонаблюдателя и только покорно понесшее канцелярские насмешки и никогда во всю жизнь свою не изрекшее ропота на свою участь и не знающее, есть ли на свете[19] лучшая участь; но для которого все же таки перед концом[20] жизни мелькнул какой-то светлый гость в'виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которого обрушилось так же всею громадою несчастие, как обрушивалось на царей и повелителей мира. — Недолго после его смерти послан был к нему на квартиру из департаменту сторож с приказом немедленно явиться, начальник де требует, но сторож воротясь сказал, что не может больше прийти[21] и на вопрос:[22] почему, сказал: да так, он уж умер, четвертого дни похоронили. Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича и на другой день уже на месте его сидел новый чиновник гораздо выше его ростом, не наклонявший уже так головы на бок и писавш<ий> почерком гораздо скорописнее и буквы ставивший гораздо косее. Кто бы мог думать после этого [чтобы] Акакий Акакиевич, совершивший так скромно жизненное поприще, произвел бы шум после своей смерти. Но так случилось и бедная история наша от сих пор приобретает вдруг фантастическое течение. По всему Петербургу[23] пронеслись слухи,[24] что у Поцелуева моста и у Кукушки<на> стал появляться по ночам мертвец[25] в виде чиновника, ищущего какой-то затерянной[26] шинели и под видом своей сдиравший со всех плечей, не разбирая чина и звания, всякие шинели и на кошках и на бобрах, енотовые, медвежьи шубы, словом всякого рода кожи, которые придумали люди для прикрытия своей собственной.[27] Чиновник того департамента, которого не смею называть по имени по сказанным выше причинам, видел сам собственными глазами мертвеца и узнал в нем Акакия Акакиевича, но это однако внуш<ило> ему такой страх, что он бросился бежать со всех ног и потому никак не мог хорошенько рассмотреть, но видел однакоже ясно, как тот погрозил ему издали пальцем. Со всех сторон поступали жалобы, что плечи и спины пусть бы еще титулярные, а то даже самих тайных советников подвергаются совершенно простуде по причине ночного сдергиванья шинелей. По полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало живого или мертвого и в том и другом случае наказать его жесточайшим образом, и в том даже едва было[28] не успели. Именно будочник того же[29] квартала в Киврюшкинском переулке схватил мертвеца за ворот в то время когда тот хотел было улизнуть и закричавши вызвал двух других товарищей,[30] которым поручил держать, а сам полез только за сапог вынуть оттуда тавлинку, чтобы понюхать табаку, но табак был видно

---

[19]не знавшее, что такое [20]для которого посреди [21]не может быть [22]и когда начальник отделения спросил [23]Но так случилось. По всему Петербургу [24]пронесся шум [25]стал появляться мер<твец> [26]ищущего затер<янной> [27] *Далее начато*: Департаментские чиновники [28]едва ли [29]какого-то [30]вызвал других товари<щей>

такого рода, которого и мертвый не мог[31] вынести.[32] Не успел он закрывши пальцем одну ноздрю, потянуть другою с пол<горсти>,[33] как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза...[34] Покамест они поднесли кулаки, стали протирать глаза, мертвеца и след пропал, так что они даже не знали был ли он в их руках или нет. С этих пор будошники получили такой страх к мертвецам, что даже и живых боялись хватать, — и только издали покрикивали: Ей ты, ступай своей дорогой, и Акакий Акакиевич стал показываться даже иногда и дальше Поцелуева,[35] наводя немалый страх робким людям. А мы однакож [оставили] совершенно [без внимания] главную причину всего несчастия, [именно] значительное лицо.[36] Нужно[37] знать, что значительное лицо скоро по уходе бедного распеченного в пух Акакия Акакиевича[38] почувствовал что-то в роде сожаления. Сострадание было не чуждо душе его, и, как уже видели, к сердцу были доступны добрые движения несмотря на то, что чин весьма часто мешал[39] им обнаруживаться. Он даже, как только ушел[40] приятель и сам думал об этом с неделю, потом послал[41] чиновника к нему на квартиру разведать, что и как и в чем можно помочь ему. Когда донесли ему, что бедный Акакий Акакиевич вскоре затем умер скоропостижно[42] в горячке, совесть сильно стала упрекать его и он был совершенно не в духе. Чтобы сколько-нибудь развлечь себя, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого уже он нашел порядочное общество[43] и, что всего лучше,[44] все были почти одного чина, так что он совершенно ничем не был связан и развернулся, сде<лался> приятен[45] в разговоре и любезен. Словом провел время очень приятно. За ужином даже выпили бокала [три-четыре], это[46] придало ему веселости и сообщило склон<ность> к разным экстренностям. А именно, после ужина он решился не ехать домой, а заехать к одной знакомой даме,[47] Настасье Карловне, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо уже был человек немолодой, хороший супруг и почтенный отец. Два взрослых сына, из которых один служил в канцелярии, и взрослая дочь всякий день приходили к нему целовать его руку приговаривая: бонжур папа.[48] Супруга тоже полная и здоровая давала прежде ему свою руку целовать, потом[49] <целовала> его. Но при всем том полагал,[50] что прилично иметь приятельницу в другой стор<оне>. Хотя эта приятельница была старее жены его, ничего не имела особенного и даже наружностью не лучше[51] жены.[52] Но все иной раз <?> вечером, закутавшись в шинель, он мчался в зимних санцах навестить приятельницу. Так уж странно создан человек, иногда он и сам не может сказать, почему он что-нибудь делает. Итак, значительное лицо село в санки и сказало кучеру: к Настасье Карловне, а сам закутавшись пережевывал в уме[53]

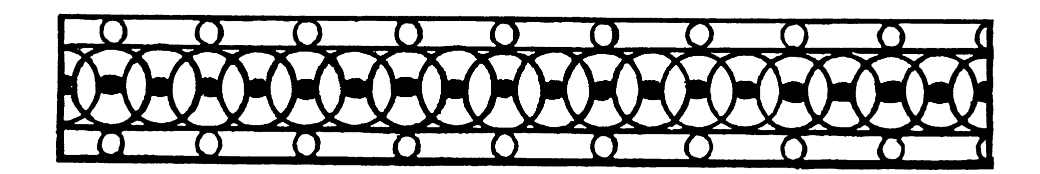
---

[31]которого не мог и мертвец [32]*Далее начато*: потому что [33]потянуть другою одну какую-нибудь [34]лицо [35]Поцелуева моста [36]*Далее начато*: Он после смерти Акакия <Акакиевича> [37]Нужно однако [38]по уходе Акакия <Акакиевича> [39]но чин никак не позволял [40]как только вышел [41]как только ушел приятель, послал [42]*Далее начато*: вслед за тем [43]к одному из приятелей своих, здесь общест<во> как нарочно бы<ло> соб<рано> [44]и как нар<очно> [45]любезен и приятен [46]за ужином даже в честь нового его выпивши бокала три четыре он [47]к одной знакомой своей [48]*Далее было*: а) Но однакоже при всем б) и он их целовал в голову, [49]потом перевернувши [50]Но при всем том оказалось [51]и даже ничуть не лучше [52]*Далее начато*: Но так [53]а) думал б) перебирал

кое-какие мысли,[54] еще полный удовольствия, вынесенного из общества, где почти все были ровных чинов. Многие слова он даже начинал произносить вслух... Поворотя в улицу, он стал закрываться покрепче в шинель пото<му> что ветер [сделался] страшный, подымая с тротуаров[55] снег, который всею кучей кидал ему[56] в лицо. Вдруг он почувствовал, что кто<-то> сильно схватил его за воротник шинели. Обернувшись он увидел кого<-то> невысокого росту в старом вицмундире <и> не без ужаса узнал Акакия Акакиевича. Лицо его <было> бледно как снег и глядело совершенно мертвец<ом>. «А, вот ты наконец, наконец-таки вот я тебя тоже поймал за воротник. Твоей-то шинели мне и нужно. Ты не хо<тел> похлопотать об моей шинели, так отдавай же свою». Бедное значительное лицо так и обмер. Как ни характерен он был в присутствии, хотя глядел совершенным Юпитером[57] и все трепетало перед ним, но здесь он почувствовал такой страх, что тут же стал опасаться, и не без причины, чтобы не случилось с ним какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул с плеч шинель свою и закричал кучеру:[58] ей, пошел в весь дух домой! Таким образом бледный и перепуганный он приехал уже не к Настасье Карловне, а домой и без шинели. Да и ночь провел не в большом порядке и совершенно беспокойно. Так что на другой день за чаем дочь ему сказала прямо: ты сегодня совсем бледен, папа. Но папа молчал и ни слова ни об Настасье Карловне и ни об Акакии Акакиевиче. Это происшествие сделало на него сильное впечатление, по крайней мере с тех пор заметили, что он гораздо реже стал говорить подчиненным: как вы смеете? Понимаете ли вы, кто перед вами и с кем вы говорите? Если же произносил, так не так энергически и отрывисто и уже по выслу<шании>, в чем дело. С этих самых пор прекратилось появление мертвеца. Видно, генеральская шинель совершенно пришлась по плечам. По крайней мере, не было таких случаев, чтобы с значительных лиц сдергивали шинели. Но в дальних углах все еще поговаривали, что появлялось привидение в виде чиновника и сам даже квартальный не помню какого-то квартала, человек очень почтенный, признавался за чашкой чаю у одного купца, что привиденье, точно, является, хотя редко; что один коломенский будошник видел собственными глазами как [он вышел и] вдруг и пошел было с ним. Да будучи[59] человек слабый и страдая <?>, — <так> что даже один раз, вырвавшись из ворот частного дома, большой <поросенок>, бросившись ему под ноги, сшиб его с ног к величайшему смеху стоявших извозчиков,[60] с которых он потом за издевку вытребовал грош на табак, — итак ради своей слабости не посмел остановить и все следовал и что привидение, заметив это, остановилось[61] и показало ему кулак необыкновенной вели<чины>: Тебе чего хочется? Но будошник, как ни был испуган <?>, а все заметил, что оно сделалось выше ростом и даже <носило> преогромные усы, но что скоро исчезло <?> направивш<ись> прямо к Семеновским казармам.

---

[54] *Далее начато*: о чем он думал [55] и рвал и подымал с трот<аров> [56] а) который ему ки<дал> б) который всеми кучами кидал ему [57] *Сверху написано*: хотя и тверд <?> но [58] закричал кучеру во весь дух [59] Да был [60] к величайшему смеху извозчи<ков> [61] остановилось сказав: что тебе нужно



МЕЛКИЕ ОТРЫВКИ

СТРАШНАЯ РУКА

Повесть из книги под названием: Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове в 16-ой линии.

Было далеко за полночь. Один фонарь только озарял капризно улицу и бросал какой-то страшный блеск на каменные домы и оставлял во мраке деревянные, <которые> из серых превратились совершенно в черные.

<ФОНАРЬ УМИРАЛ>

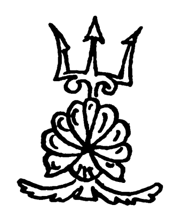
Фонарь умирал на одной из дальних линий Василь<евского> острова. Одни только белые каменные домы кое-где вызначивались. Деревянные чернели и сливались с густою массою мрака, тяготевшего над ними. Как страшно, когда каменный тротуар прерывается деревянным, когда деревянный даже пропадает, когда все чувствует двенадцать часов, когда отдаленный будочник спит, когда кошки, бессмысленные кошки, одни спевываются и бодрствуют! Но человек знает, что они не дадут сигнала и не поймут его несчастья, если внезапно будет атакован мошенника<ми>, выскочившими из этого темного переулка, который распростер к нему свои мрачные объятия. Но проходивший в это время пешеход ничего подобного не имел в мыслях. Он был не из обыкновенных в Петербурге пешеходов. Он был не чиновник, не русская борода, не офицер и не немецкий ремесленник. Существо вне гражданства столицы. Это был приехавший из Дерпта студент на факультеты, готовый на все должности, но еще покамест ничего, кроме студент, занявший пол-угла в Мещанской, у сапожника-немца. Но обо всем этом после. Студент, который в этом чинном городе был тише воды, без шпаги и рапиры, закутавшись шинелью, пробирался под домами, отбрасывая от себя саму<ю> огромную тень, головою терявшуюся в мраке. Все, казалось, умерло, нигде огня. Ставни были закрыты. Наконец, подходя к Большому проспекту, особенно остановил внимание на одном доме. Тонкая щель в ставне, светившаяся огненной чертою, невольно привлекала и заманила заглянуть. Прильнув к ставне и приставив глаз к тому месту, где щель была пошире, и задумался. Лампа блистала в голубой комнате. Вся она была завалена

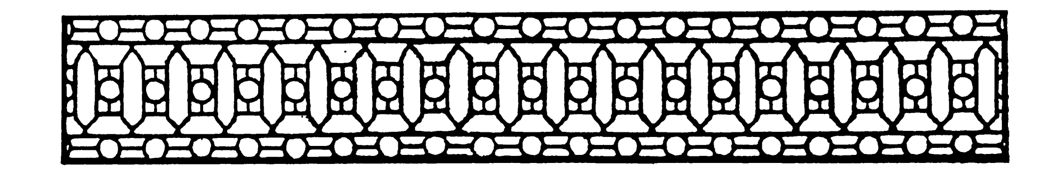
разбросанными штуками материй. Газ почти невидимый, бесцветный, воздушно висел на ручках кресел и тонкими струями, как льющийся водопад, падал на пол. Палевые цветы, на белой шелковой, блиставшей блеском серебра материи, светились из-под газа. Около дюжины шалей, легких и мягких, как пуховые с цветами совершенно живыми, смятые, были брошены на полу. Кушаки, золотые цепи висели на взбитых до потолка облаках батиста. Но более всего занимала студента стоявшая в углу комнаты стройная женская фигура. Все для студента в чудесно очаровательном, в ослепительно божественном платье — в самом прекраснейшем белом. Как дышит это платье!.. Сколько поэзии для студента в женском платье!.. Но белый цвет — с ним нет сравнения. Женщина выше женщины в белом. Она — царица, видение, все, что похоже на самую гармоническую мечту. Женщина чувствует это и потому в отдельные <?> минуты преображается в белую. Какие искры пролетают по жилам, когда блеснет среди мрака белое платье! Я говорю — среди мрака, потому что все тогда кажется мраком. Все чувства переселяются тогда в запах, несущийся от него, и в едва слышимый, но музыкальный шум, производимый им. Это самое высшее и самое сладострастнейшее сладострастие. И потому студент наш, которого всякая горничная девушка на улице кидала в озноб, который не знал прибрать имени женщине, — пожирал глазами чудесное видение, которое, стоя с наклоненною на сторону головою, охваченное досадною тенью, наконец поворотило прямо против него ослепительную белизну лица и шеи с китайскою прическою. Глаза, неизъяснимые глаза, с бездною души под капризно и обворожительно поднятым бархатом бровей были невыносимы для студента. Он задрожал и тогда только увидел другую фигуру, в черном фраке, с самым странным профилем. Лицо, в котором нельзя было заметить ни одного узла, но вместе с сим оно не означалось легкими, округленными чертами. Лоб не опускал<ся> прямо к носу, но был совершенно покат, как ледяная гора для катанья. Нос был продолжение его — велик и туп. Губы, только верхняя выдвинулась далее. Подбородка совсем не было. От носа шла диагональная линия до самой шеи. Это был треугольник, вершина которого находилась в носе: лица, которые более всего выражают глупость.

<ДОЖДЬ БЫЛ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ>

Дождь был продолжительный, сырой, когда я вышел на улицу. Серодымное небо предвещало его надолго. Ни одной полосы света; ни в одном месте [ни]где не разрывалось серое покрывало. Движущаяся сеть дождя задернула почти совершенно все, что прежде видел глаз, и только одни передние домы мелькали будто сквозь тонкий газ. Тускло мелькала вывеска над <вы>веской, еще тусклее над ними балкон, выше его еще этаж, наконец крыша готова была потеряться в дождевом [тумане], и только мокрый блеск ее отличал ее немного от воздуха; вода урчала с труб. На тротуарах лужи. Черт возьми, люблю я это время. Ни одного зеваки на

улице. Теперь не найдешь ни одного из тех господ, которые останавливаются для того, что<бы> посмотреть на сапоги ваши, на штаны, на фрак или на шляпу и потом, разинувши рот, поворачиваются несколько раз назад для того, чтобы осмотреть задний фасад ваш. Теперь раздолье мне закута<ться> крепче в свой плащ. Как удирает этот любезный молодой <человек> с личиком, которое можно упрятать в дамский ридикюль; напрасно: не спасет новенького сюртучка,. красу и загляденье Невского проспекта. Крепче его, крепче, дождик: пусть он вбежит как мокрая крыса домой. А вот и суровая дама бежит в своих пестрых тряпках, поднявши платье, далее чего нельзя поднять, не нарушив последней благопристойности; куда девался характер; и не ворчит, видя, как чиновная крыса в вицмундире с крестиком, запустив свои зеленые, как воротничок его, глаза, наслаждается видом полных, при каждом шаге трепещущих почти как бламанже выпуклостей ноги. О, это таковский народ! Они большие бестии, эти чиновники, ловить рыбу в мутной воде. В дождь, в снег, вёдро всегда эта амфибия на улице. Его воротник, как хамелион, меняет свой цвет каждую минуту от температуры, но он сам неизменен, как его канцелярский порядок. Навстречу русская борода, купец в синем немецкой работы сюртуке с талией на спине или лучше на шее. С какою купеческою ловкостью держит он зонтик над своею половиною. Как тяжело пыхтит эта масса мяса, обвернутая в капот и чепчик. Ее скорее можно причислить к моллюскам, нежели к позвончатым животным. Сильнее, дождик, ради бога сильнее кропи его сюртук немецкого покрою и жирное мясо этой обитательницы пуховиков и подушек. Боже, какую адскую струю они оставили после себя в воздухе из капусты и луку. Кропи их, дождь, за все, за наглое бесстыдство плутовской бороды, за жадность к деньгам, за бороду, полную насекомых, и сыромятную жизнь сожительницы... Какой вздор! их не проймет оплеуха квартального надзирателя, что же может сделать дождь. Но, как бы то ни было, только такого дождя давно не было. Он увеличился и переменил косвенное свое направление, сделался прямой, <с> шумом хлынул в крыши и мостовую, как <бы> желая вдавить еще ниже этот болотный город. Окна в кондитерских захлопнулись, Головы с усами и трубкою долее всех глядевшие, спрятались. Даже серый рыцарь с алебардою и завязанною щекою убежал в будку.





Приложения

О. Г. Дилакторская

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОВЕСТЕЙ Н. В. ГОГОЛЯ

В литературе 30—40-х гг. XIX в. складывалась традиция жанра петербургской повести, на магистральной линии развития которой стоят произведения Пушкина, Гоголя, Достоевского. Между «Пиковой дамой», «Медным всадником» Пушкина и «Бедными людьми», «Двойником» Достоевского расположились пять знаменитых повестей Гоголя. Во всех этих произведениях мир Петербурга и тип петербуржца заняли главное место. Здесь воссоздан художественный мир, как зеркало отражающий глубинные явления действительности, осмысленной в конкретных бытовых реалиях, в исторических приметах эпохи, одновременно поднятых на философский уровень обобщения. Здесь дан анализ психологии человека, затянутого в мундир, всецело зависящего от отведенного ему мундиром положения, беззащитного и бесправного, в котором человеческое открывается вопреки чину, вопреки петербургской бюрократической атмосфере. Именно в творчестве Гоголя, подчеркивал В. Г. Белинский, «нравственная физиономия Петербурга воспроизведена со всею художественною полнотою и глубокостию».[1] Он писал: «Хотите ли, в особенности, изучить Петербург? — Читайте его «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Нос»... Вы найдете здесь все лица, которые бог не создаст нигде за чертою Петербурга!»[2] Теми же словами можно было бы сказать о «Портрете» и о «Шинели». В *петербургской литературе* (выражение Белинского) приоритет, как видим, отдан Гоголю, «на большей части» произведений которого как бы поставлена, по словам критика, «печать Петербурга».[3]

---

[1] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М.; Л., 1953—1959. Т. 8. С. 383.
[2] Там же. С. 378.
[3] Там же. С. 555.

В отличие от Пушкина и Достоевского Гоголь свои известные повести терминологически не определял как петербургские. Тем не менее так сильна оказалась литературная традиция, открытая Пушкиным и закрепленная Достоевским, что выделила повести Гоголя в жанрово-тематическом отношении как цикл о Петербурге. Кроме того, появление в 40-х гг. сборников «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник» утвердило направление в литературе именно в русле гоголевской манеры постижения мира Петербурга, о чем и писала литературная критика. Так случилось, что пять повестей Гоголя под влиянием вышеуказанных явлений получили имя петербургских — точно так же, как памятник Петру I Фальконе не без влияния поэмы Пушкина был назван Медным всадником. Это отложилось и даже канонизировалось в культурном сознании современников и людей последующих поколений.

Вместе с тем Белинский отмечал, что сочинения Гоголя, «знакомя читателей с петербургским жителем», в то же время «знакомят его и с человеком вообще и с русским человеком в особенности».[4] Каждая из петербургских повестей отражает только одну из граней жизни современного Гоголю Петербурга, а все вместе они дают целостное идейно-художественное представление о нем как о носителе государственных принципов, владычном вершителе социальных и моральных законов империи. Несомненно, что все пять повестей, посвященных Петербургу, мир которого сотворен по единым эстетическим законам, выражает общую авторскую оценку поединка человека и бюрократического города, образуют самостоятельный цикл.

Жизнь столицы предстает здесь в бытовых повседневных подробностях, в непосредственных приметах времени, в осязаемой реальности, и вместе с тем она — фантастична. Гоголь первым увидел фантастический образ Петербурга, выросший из «сора и дрязга», мелочного, суетного, скудного, пошлого быта в его натуральности.

Писатель, столь чуткий к красоте архитектурных ансамблей, в своих повестях не замечает архитектурного величия Петербурга, как например Пушкин. Он знакомит читателя с петербургскими окраинами, его взгляд останавливается на огромных безликих петербургских домах-ковчегах, черные лестницы которых «умащены помоями», «следами кошек и собак», проникнуты особым, выедающим глаза спиртуозным запахом. Даже блестящий Невский проспект интересен Гоголю не парадный, а будничный, каждодневный. Он стремится рассмотреть изнанку действительности, тщательно скрываемую, почувствовать глубинный ритм жизни, увидеть за формой сущность, за внешним внутреннее. Любая новизна во взгляде на действительность таит в себе возможность фантастического, так как ломает традиционную привычку видения. Доведя новизну взгляда до степени фантастического, Гоголь заставляет читателя взглянуть на известное по-иному, увидеть в привычном аномалию. Извлекая глубинный смысл из бытовых явлений жизни посредством фантастического, Гоголь возводит его в обобщение универсального порядка, в символах выражая суть реальности,

[4] Там же. С. 383—384.

социальной системы отношений. В гоголевских принципах соотношения реального, фантастического и символического кроется своеобразие художественного мира петербургских повестей.

Отношение фантастического и реального здесь таково, что именно фантастическое являет сущность действительного. Отражая сущность, гоголевская фантастика вскрывает несамоочевидную истину. Она не только художественный прием, служащий целям психологической характеристики, комизма, сатиры, не только средство, но и способ видения действительности.

Фантастические образы в повестях Гоголя нередко ставят читателя в тупик: не кажется ли, «не сон ли все пустой?», и вместе с тем рождают в нем чувство сопричастности фантастическому миру. Писатель сближает на первый взгляд несоединимое, и полученный из этого фантастический эффект соразмерен действительности, каковой она является на самом деле, а не какой кажется. Мысль Гоголя постоянно устремлена к выявлению сущего и опровержению кажущегося в традиционном быте, незыблемом порядке жизни. Фантастическое в художественном мире петербургских повестей выражает не призрачность реальности,[5] а абсурдность и призрачность жизни, порожденной существующими социальными законами, предрассудками, догмами, опутавшими жизнь и человека. Смещая пропорции, автор показывает, как кажущееся легко подменяет сущностное, фикция легко заменяет ценное, реальное становится фантастическим, как незаметно стирается граница между добром и злом. Угроза смешения добра и зла заставляет писателя подчеркивать их противостояние. Диалектика взаимоперехода высокого и низкого, мнимого и сущего, мертвого и живого составляет суть реалистической фантастики Гоголя, характеризует его способ познания действительности, его художественный метод, выражает его концепцию видения мира.

В третьем томе своего первого собрания сочинений писатель расположил повести в следующей последовательности: «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего» — вопреки хронологии их публикаций. Эта композиция имела свой идейно-художественный смысл: таким образом обозначались начало и конец цикла.

«Невский проспект» — своеобразный пролог к петербургским повестям. Эта повесть содержит в себе общую идею цикла, в ней целостно высказана авторская концепция, в ней сложились общие поэтические законы. Уже здесь Петербург представлен как некий универсум, сосредоточивший в себе все варианты проявления бытия человека в пределах этого мира. Имперский город обладает своим макро- и микрокосмом, создает свои законы и ценности, условия их измерения. Концептуальное значение «Невского проспек-

[5] В. В. Розанов первым указал, что у Гоголя за «кажущейся реальностью», «восковыми фигурами» нет живой жизни и человека, и в этом он увидел «великую тайну творчества Гоголя» (см.: *Розанов В. В.* Легенда о великом инквизиторе. Опыт критического комментария. С приложением двух этюдов о Гоголе. СПб., 1906. С. 262—265). Такая трактовка творчества Гоголя довольно широко распространена в современном зарубежном литературоведении.

та» почувствовали первые читатели Гоголя. Пушкин понял повесть как «самое полное произведение»[6] писателя. Белинский прямо назвал ее «концепированной».[7]

Ни одна петербургская повесть не «населена» так, как эта. Здесь весь люд Петербурга: петербургская аристократия, светские дамы, их дети с гувернантками и боннами, служащие военные, служащие чиновники всех рангов и различных департаментов, приезжие путешественники-иностранцы, купцы, ремесленники, мелкие торговцы, рабочие, мужики, художники, булочники, белошвейки, проститутки, нищие. Нигде не встретишь у Гоголя такого разнообразия национальностей, как здесь: русские, немцы, финны, англичане, французы, персы и другие.

В «Невском проспекте» Гоголь впервые опробовал один из главных своих художественных принципов, составивших своеобразие его писательского почерка: в полной мере разом охватить предмет изображения, как бы он ни был велик. Такой принцип потребовал от писателя создания особых способов обобщения. Гоголь открывает свой первый закон изображения мира — закон масштаба, или закон смещенных пропорций: по авторскому произволу увеличивать малое и приуменьшать большое. Здесь рот «величиною в арку главного штаба», прогуливающиеся «носы», «бакенбарды» и «усы» — явления обычные и естественные. По образному замечанию А. Белого, у писателя «кричит особенность зрения: один глаз — дальнозорок, другой — близорук, один — отдаляет, другой — приближает, один — телескоп, другой — микроскоп».[8]

Показательно, что пропорции в изображении человека или предмета Гоголь изменяет определенным образом: он выделяет что-то одно — главное — и предельно его выражает. Так просматривается в цикле второй художественный закон — закон односторонности. Предельная сосредоточенность писателя на какой-то одной черте, сущности чего-либо или кого-либо помогает увидеть в обычном парадоксальное, в реальном фантастическое. Образ Невского проспекта выражает сущность Петербурга, образ шинели — бюрократическую систему отношений, образ носа — любой абсурд. Этот закон в разных условиях проявляется по-разному. Как правило, он вскрывает автоматизм, мертвенность, фиктивность, фантастичность в человеке и в мире. Все образы в петербургских повестях максимально односторонне сужены.

Писатель и характеры раскрывает в главной их сущности: Пискарев — мечтатель, Пирогов — пошляк, в один период жизни Башмачкин — только переписчик, в другой — только «строитель» шинели, Поприщин — только влюбленный титулярный советник или — только Фердинанд VIII. Даже «усы» и «бакенбарды» максимально выражают содержание их владельцев и их социального положения.

---

[6] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1964. Т. 7. С. 345. Далее сокращенно: П., том и страница.

[7] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 661.

[8] *Белый А.* Мастерство Гоголя. Л., 1934. С. 267.

Художественный мир петербургских повестей сотворен в основном с помощью этих двух законов, постоянно сопутствующих друг другу, регулирующих соотношение между реальным и фантастическим, между конкретно-бытовым и универсальным. Эти законы определяют нарушение всякой соразмерности в изображаемой Гоголем жизни, подмену естественной природы искусственной, смещение ценностных ориентиров. Они участвуют в создании подвижной диалектики отношений части к целому и целого к части, наконец, формируют и законы обобщения и типизации, по которым художник, интегрируя мелочи быта, возводя их в принципы бытия, самому обыденному, привычному, традиционному придает всеобщий, универсальный смысл. Таким образом Гоголь создает целостную реальную картину действительности.

По этим законам построен образ Невского проспекта. Он принципиально отличается, например, от образа Сечи в «Тарасе Бульбе». Причина содержится не только в разном идейном задании, но и в способах создания «коллективного образа среды» (определение Г. А. Гуковского). В образе Невского проспекта Гоголь адекватно выразил состояние общества, зараженного «электричеством чина и женитьбы», эпоху «кипящей меркантильности», всеобщего разобщения и отсутствия целостности в человеке. Весь мир, искрошившийся «на множество разных кусков... без смысла и толку»,[9] разделенный по иерархическому принципу, писатель собрал и выразил в образе Невского проспекта, придав ему вид «всеобщей коммуникации Петербурга» (3, 9). Нетрудно увидеть принцип построения этого образа: с одной стороны, он создан дроблением целого, с другой стороны, он интегрирует отдельные части и придает им причудливую фантастическую форму. Диалектика отношений части к целому и целого к части — в их мгновенной и непредвиденной трансформации, что придает застывшему в бюрократической стабильности миру неожиданную динамичность, когда невозможное «каждую минуту способно стать возможным».[10] За счет смещения пропорций и ценностных ориентиров, отсутствия адекватного совпадения содержания и выражающей его формы происходит распад целого. И вместе с тем распавшиеся и односторонне замкнутые различные сущности и явления, типы и характеры в соотношении друг с другом, во взаимоотражении воссоздают целостное бытие.

В научной литературе давно указано, что образ Невского проспекта как картина целого образован множеством однородного материала, он моделирует «соединение масс людей как единства».[11] Из фантастического разноцветного потока «усов», «бакенбард», «рукавов», «галстуков», «фраков», «плащей», плывущего от Полицейского моста к Аничкову и обратно, Гоголь выделяет двух героев и показывает, как Невский проспект — символ Петербурга — властно определяет их судьбу, пристрастия. В противоположности

---

[9] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1983. Т. 3. С. 24. Далее цитируется по этому изданию, в скобках указываются том и страница.

[10] *Брюсов В. Я.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1975. Т. 6. С. 141.

[11] *Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. М.;.Л., 1959. С. 294, 298.

характеров Пискарева и Пирогова он как бы обобщает всевозможные варианты судеб человеческих и социальных типов.

Бытие обоих героев замкнуто в границах Петербурга и однозначно предопределено: каждый из них поставлен на свое место, должен выполнять предписанную социальную роль. Это создает необходимую упорядоченность всей системы и исключает всякую возможность неожиданных перемен, так сказать является залогом стабилизации этой системы. Каждый герой испытывает на себе влияние издавна сложившихся норм и правил, всецело определяющих не только их характер, но и особенности группы, сословия, к которым они принадлежат. Всемогущий закон среды ограничивает индивидуальный характер, определяет его как тип. В «Невском проспекте» Гоголь впервые в своем творчестве предлагает новое осмысление типа и характера.

Вопрос о типизации — один из важнейших вопросов в творчестве писателя, дающий возможность точнее понять его метод, литературные взгляды, эволюцию в понимании и изображении человека.

В. В. Гиппиус выделяет в основе реалистической теории Гоголя три метода в постижении человека: метод микроскопического анализа, метод «типизации обобщенного изображения характеров и средств» и метод «озарения действительности субъективностью — лиризмом и комизмом».[12] К. Д. Вишневский изучает принцип сатирической типизации в «Петербургских повестях», имея в виду критический пафос гоголевских обобщений.[13] Г. А. Гуковский, подчеркивая своеобразие реалистического метода писателя, говорит, что исключительное Гоголь изображает как типическое.[14] Кроме того, исследователь уточняет, что принцип детерминизма в отношениях эпоха — среда — личность имеет у Гоголя особую форму: эпоха — среда. По мысли ученого, в художественном мире Гоголя индивидуальный характер растворяется в образе коллектива, в «объективной индивидуализации *образа среды*».[15] Видно, что все исследователи, предлагая свою точку зрения, стремились понять одно: законы гоголевской типизации, условия отношений среда — характер.

Следует отметить и то, что внутри творчества писателя принцип изображения человека неодинаков. Цикл «Петербургские повести» от цикла «Миргород» отличает, по наблюдению Ю. М. Лотмана, именно соотношение героя и пространства, героя и среды.[16] В повестях миргородского цикла в человеке Гоголя явлено несоответствие сущности идеалу, обнаружены нераскрытые потенциальные возможности, погибшие под «корой земности». Изображение человека в повестях петербургского цикла сложнее, сложнее и его взаимоотношение со средой.

---

[12] *Гиппиус В. В.* Литературные взгляды Гоголя // Литературная учеба. 1936. № 11. С. 66.

[13] *Вишневский К. Д.* Сатирическая типизация в петербургских повестях Гоголя // Учен. зап. Пенз. гос. пед. ин-та им. В. Г. Белинского. Пенза, 1958. Вып. 5.

[14] *Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. С. 251—252.

[15] Там же. С. 266.

[16] *Лотман Ю. М.* Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Тарту, 1969. Вып. 209. С. 41—42.

Как видим, законы типизации Гоголя крупно, в главных чертах описаны в науке, но все же не разработаны окончательно.

Выделив Пискарева и Пирогова из потока «усов» и «бакенбард», каждого как нечто целое, писатель вместе с тем подчеркивает, что оба героя — только часть большего. Пискарев и Пирогов изображены не только как индивидуальные характеры, каждый со своим индивидуальным сюжетом, но оба включены, как бы «впаяны» в более широкий социофизический контекст — каждый в свой разряд, общественную среду: Пискарев — в среду художников, Пирогов — в офицерскую. Их индивидуальная характеристика в главных, определяющих чертах воплощает некое всеобщее свойство. Пискарев показан как «художник петербургский». Это одно определило в герое все: мечтательность, робость, застенчивость, неконтактность с действительностью, «раздор мечты с существенностью», его противопоставленность всем гражданам столицы, его обреченность. Все эти черты, зависящие от социальных и природных пространств Петербурга, наложившего на героя «печать Севера», отличают его от «итальянских художников». Пискарев как художник заключает в себе и общее национальное начало: кротость, доброту, тихий нрав. Таким образом, характер героя раскрывается как бы в расширяющихся сферах: тип определяется социальным разрядом, среда же формируется особенностями национальной жизни. Целостность характера художника немыслима без учета этих обобщающих тенденций, вместе с тем образ раскрывается в одной сущности: Пискарев — мечтатель. Точно так же представлен характер Пирогова: во-первых, как офицера и, во-вторых, как человека, принадлежащего к среднему классу общества. Его тип родствен и военной, и чиновничьей, и купеческой среде. Он обретает, таким образом, черты общей сущности. В. Г. Белинский назвал Пирогова символом, мистическим кафтаном, который «так чудно скроен, что пройдет по плечам тысячи человек!»[17] Позднее Ф. М. Достоевский увидел в Пирогове «страшное пророчество гения», угадавшего безмерно распространившийся тип, ставший символом общественных отношений.[18] Однако в его характере преобладает односторонность: Гоголь подчеркивает в Пирогове одно исчерпывающее весь образ качество — торжествующую во всех обстоятельствах пошлость.

Во всем противоположные Пискарев и Пирогов каждый своей сущностью выражает мир Петербурга, с разных сторон они характеризуют его псевдокультуру, мнимые ценности, лжебытие. Свои главные идеи, отлитые в образах Пискарева и Пирогова, Гоголь повсеместно подкрепляет в сюжете повести другими примерами, добиваясь их универсального звучания. Например: «Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившись перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как

[17] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 296—297.
[18] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 21. С. 124.

жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему офицера? Ничуть не бывало: он доказывает, в чем состояла главная ошибка Лафайета » (3, 45—46). Тем самым писатель подчеркивает, что свойство характера, присущее главным героям, в широкой жизни обладает противоречивостью, вариативностью, наглядной амбивалентностью, стремящейся подменить одно свойство противоположным, и имеет отношение не только к конкретной индивидуальности, но к человеческой природе в целом.

На героях Гоголя, по выражению Достоевского, «зажигалось клеймо на веки веков», и читатели уже «наизусть знали: кто они и, главное, как называются».[19] Это универсальное значение гоголевских типов выделяли и Белинский, и Достоевский.

Полемизируя с романтической концепцией контрастных «двойников», собственно с диалектикой романтиков, писатель показывает, что два противоположных типа его повести находятся в особых взаимоотношениях. Сюжетный параллелизм как структурный принцип построения двух историй дает возможность читателю не только противопоставлять их характеры — мечтателя и пошляка, но и сравнивать их судьбы. Противоположные в своих нравственных устоях, Пискарев и Пирогов поставлены перед одинаковым результатом: ни тому, ни другому не удалось достичь свою цель. В большом мире Петербурга они не смогли сохранить *чистоту* односторонности своего характера: чистая идеальная мечта Пискарева опошлена, осквернена образом публичной красавицы, образом разврата и порока, а пошлые искательства Пирогова остаются недостижимой мечтой.

Диалектическая мысль Гоголя обнаруживает, что типы Пискарева и Пирогова, при всем их различии, являются ничем иным, как двумя крайностями одного и того же целого, именуемого Петербургом. Писатель различает внутри целого полярные противоположности, стремясь определить каждую всесторонне. В своих размышлениях о смысле и итогах жизни он ставит истории героев рядом, извлекая из этого общие закономерности. «Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот» (3, 45). Лирическая интонация автора свидетельствует о сочувственном отношении к реальной действительности, не разделенной даже на внутреннюю и внешнюю, которая и подлежит его анализу.

Как было сказано, индивидуальный характер Гоголь, как правило, сводит к одной психологической доминанте. Вместе с тем, отметив главное, писатель принципиально не делит своих героев на добродетельных и порочных, тем самым осложняя читательское отношение к ним. В повести индивидуальный характер обусловлен социальной средой, являющейся основой для типизации.

---

[19] Там же. Т. 18. С. 59.

Как условие типизации Гоголь использует и взаимоотражение противоположных типов — когда каждый герой как бы «учитывает» другого, частично продолжаясь в другом. Это дает возможность выходить за пределы условного художественного мира и приобщить к нему реальный мир, быт и характер читателя. Кроме того, авторской лирической интонацией Гоголь соединяет условное и действительное, увеличивая масштаб обобщения. В этом случае типизирующие обобщения писателя неизменно восходят к универсальным. В «Мертвых душах» этот принцип осмысления человека нашел наиболее полное выражение, что убедительно доказано в современной научной литературе.[20] В петербургских повестях он только складывается.

Осваивая новые принципы в своем художественном исследовании мира и человека, Гоголь в «Невском проспекте» впервые увидел прямую зависимость личности от социальной системы, возвел эту закономерность в общий принцип и выразил ее в отношениях «тип—среда», равновесие которых создается за счет масштаба обобщений в каждой части. В этой связи принцип социальной типизации с помощью системы взаимоотражений, включения авторской лирико-философской интонации в повествование, подвижных отношений части и целого, неизменно восходит к универсализации. Это и объясняет тенденцию развития художественных образов в петербургских повестях до степени символов.

Своеобразным обобщенным образом всей картины действительности в первой повести цикла является образ Невского проспекта. Необходимо отметить, что он не только носитель смысла коллективного образа среды, сосредоточивший все ее социальные знаки, все типизирующие обобщения. Он — как бы мифологическое существо, по часам замирающее и оживающее: «Как только сумерки упадут на домы и улицы и будошник... вскарабкается на лестницу зажигать фонарь... тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться» (3, 15). Это — образ-оборотень, меняющий свои личины, хранящий связь одновременно с живой и мертвой природой. Невский проспект как хронометр отсчитывает время: утро—вечер, день—ночь. Он определяет течение времени в малом сумрачном круге, и он же очерчивает круг человеческой жизни. В бесконечном циклическом повторе временны́х кругов просматривается вечное. Невский проспект — не только всеобщая коммуникация Петербурга. Его пространство ширится до грандиозных космических масштабов, когда пространство социального мира граничит с трансцендентным. И образ Невского проспекта — выразителя социальной лжи сливается с образом «самого демона» — носителя универсального зла.

Центральное и обобщающее значение образа подчеркивается и композиционно: рассказом о нем писатель начинает и завершает повесть. В финале

---

[20] См.: *Манн Ю. В.* Поэтика Гоголя. М., 1978. С. 349—350; *Маркович В. М.* Тургенев и русский реалистический роман XIX в. Л., 1982. С. 29—32; *Смирнова Е. А.* Поэма Гоголя «Мертвые души». Л., 1987; *Кривонос В. Ш.* Художественная проза Н. В. Гоголя и проблема реалистического повествования. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Свердловск, 1989.

в лирико-философском рассуждении автора, как бы поднимающемся над сюжетом, раскрывается всеобъемлющий глубинный смысл образа-символа. В финале Гоголь для характеристики образа Невского проспекта собрал все обобщающие смыслы. Символическая фантастика финала открывает в образе Невского проспекта такую перспективу, которая превосходит «трафаретную узость обыденных людских отношений».[21] Здесь открывается читателю истинная суть Петербурга, где «все обман, все мечта, все не то, чем кажется!» (3, 45). Так, в первой повести цикла создан писателем город-символ, город-чудовище, выбравший в жертву человека. И как только человек теряет устойчивую связь с петербургским миром, он вступает с ним в конфликт.

Драма Пискарева связана не только с его мечтами, с несоответствием его романтического идеала действительности. Она объясняется тем, что художник оказался выбитым из обычной колеи своей жизни встречей с красавицей-оборотнем на Невском проспекте. Любые попытки героя изменить обстоятельства заранее обречены. Ему, как показывает писатель, нельзя жить ни в снах-мечтах, ни в реальности. Трагическая несостоятельность героя зависит не только от качества его идеала, его мировоззрения, но и от действительности, исключающей всякое несоответствие ее нормам. Конфликт Пискарева раскрывается как индивидуальный — раздор мечты и действительности и как общий — разлад человека с социальной системой. По Гоголю, истина обнаруживается в тот момент, когда истончаются крепкие узы социальной системы — когда человек стремится выйти из-под власти формализма среды, ее фатализма и на миг как бы «выпадает» из нее. Трагизм его заключается в том, что он не находит почвы для своего самоопределения, не находит жизни вне ее. Такова общая мысль писателя, которая последовательно отражается во всех «Петербургских повестях». Хоть на одно мгновение Гоголь выводит своих героев за границы бюрократических законов петербургского мира, высвечивая в них природное, человеческое. Они прозревают, однако краткий миг прозрения для одних героев обрывается гибелью (Пискарев, Чартков, Башмачкин, Поприщин); по мысли писателя, их искупительная жертва приносится для спасения им подобных, для других же оборачивается выгодной слепотой, добровольно избранной как залог процветания и социального благополучия (Пирогов, Ковалев), навсегда связавшей их с нормами социальной системы. Конфликт Пирогова и Ковалева (одного высекли, другой наказан отлучкой носа) выбран писателем для отрезвления героев, для их человеческой самореализации, к которой они оказались неспособны. Трагизм их положения — за рамками сознания героев, нравственную ущербность благонамеренных людей видит только автор.

В повести «Нос» Гоголь сосредоточивает свое внимание на актуальном вопросе современности 1830-х гг., особенно характерном для петербург-

[21] *Лосев А. Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. С. 45.

ской атмосферы, — на возможности быстрой и легкой карьеры. Причем эта тривиальная социально-бытовая идея доведена до абсурда. Сюжет фантастической повести строится на разнообразном бытовом материале, который определяет характеры героев, их сознание, поведение; в повести социальный контекст становится художественным текстом.

Реально-бытовые аллюзии, комбинации реально-бытовых мотивов, которые «снуются» (А. Н. Веселовский) в фантастическом сюжете, создают второй пародируемый план, скрываемый и вместе с тем всем известный, на который так или иначе указано в повествовании. Достоверное, лежащее в подтексте повести, как правило, таит абсурдное, тем самым углубляется значимость фантастических образов «Носа».

Гоголь строит повесть таким образом, что во внешнем сюжете все указанные художественные детали разорваны, подчеркивают фантастическую бессмыслицу происходящего, во внутреннем они соединены, здесь восстанавливаются искусственно разорванные связи, внутренний сюжет обогащает внешний смыслом, содержащимся в глубинах народных верований, преданий, суеверий, представлений, существенных и значимых для сознания героев Гоголя, понятных читателю-современнику. Художественные «загадки» писателя, воспринимаемые в литературоведении как алогизм, как выражение абсурдности социального бытия,[22] находят объяснение в системе понятий социально-бытовой и народно-бытовой культуры.

Нос коллежского асессора, найденный утром в печеном хлебе цирюльником Иваном Яковлевичем, и безносый майор Ковалев — явный абсурд, развивающийся по двум параллельным, не согласующимся сюжетным линиям. Оба события не могут быть сопоставлены никаким образом, между ними нет никакой логической связи наподобие того, что «хлеб — дело печеное, а нос — совсем не то» (3, 50), или: майор Ковалев с носом — это самодовольный чиновник, ожидающий повышения, наград, доходной службы, загадывающий выгодную женитьбу, а без носа — «гражданин — не гражданин, просто возьми да и вышвырни за окошко!» (3, 64). Логические связи фантастического происшествия обнаруживаются в подтексте, чрезвычайно активном, насыщенном информацией, обладающей эффектом айсберга: на поверхность текста выходит только красноречивая деталь — «необыкновенно-странное» происшествие в Петербурге случится именно *25 марта*. В этот день коллежский асессор Ковалев и страдает из-за непонятной причины: то ли потому, что называл себя майором, то ли потому, что не с руки ему жениться на дочке штабс-офицерши Подточиной. Глубинный смысл, разъясняющий истину, всю систему мотивировок, строго продуманную автором, открывается на пересечении понятий из области социально-бытовой и народно-бытовой культуры. В приложенном комментарии показано, например, как обыграно в повести число *25 марта* и день *пятница*, какой смысл вводится Гоголем посредством этого указания.

---

[22] См.: *Виноградов В. В.* Натуралистический гротеск. Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос» // Поэтика русской литературы. М., 1975. С. 24—55.

Несомненно, автор погружает сюжет и характеры героев в стихию социальных предрассудков эпохи, народных верований и суеверий. Безносый Ковалев мыслит и действует как человек своего времени. Например: «Он строил в голове планы: звать ли штабс-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее» (3, 65). Как у чиновника по юстиции у Ковалева срабатывает социально-бытовой стереотип: привлечь виновницу к судебной ответственности, но он так же уверен и в другом — в том, что, явившись, застанет Подточину с поличным — с носом, добытым колдовским путем. В соотнесении этих двух типов культур и рождается многозначность смыслов, фантастический эффект, обнаруживающий алогичность действительности.

Современники остро реагировали на социальный пласт значений, о чем говорит сам писатель: «...если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет» (3, 53). Очевидно и то, что читатель 30-х гг. XIX в. без усилий воспринимал и бытовые суеверия, различая их в повести Гоголя. Не умея объяснить странное, необычное, фантастическое, прибегали к привычному бытовому толкованию: «с глазу, что ли, — кто знает!» — как это делает Аксинья Петровна в повести И. Ваненко «Еще нос», выражая свое удивление по поводу двуносого Артамона Досифеевича,[23] — точно так же, как безносый гоголевский Ковалев.

Социально-бытовая фантастика повести Гоголя находит объяснение в мифологическом сознании, суеверных фантастических представлениях героев и читателей. Писателю необходимы эти ассоциации, во-первых, в целях создания призрачности, зыбкости, двусмысленности сюжетного действия, во-вторых, для того чтобы фантастическую ситуацию «Носа» подкрепить не менее фантастическими, но реально бытовавшими понятиями, в-третьих, для того чтобы за счет возникающих аллюзий углубить иносказательный потенциал фантастического происшествия, способствующий действию символического подтекста.

Разорванные, на первый взгляд, сюжетные линии о цирюльнике, нашедшем нос, и о чиновнике, потерявшем нос, соотносятся, например, в мотиве порчи, связанном и с темой карьеры героя, и с темой женитьбы.[24] Мотив порчи содержит разнообразные смыслы, имеющие опору в народно-бытовой медицине, на что ориентирует читательское знание сам писатель. Порча, по народным понятиям, производится из злобы и ненависти, по просьбе других, за деньги.[25] По мысли Ковалева, Подточина *наняла* каких-то колдовок-баб, чтобы испортить герою карьеру и помешать ему в деле женитьбы. При индивидуальной порче, что и случилось с Ковалевым, снадобья и напитки примешивались *к хлебу и водке* (Попов Г., 27). Чиновник недоумевает: «Может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вме-

---

[23] *Ваненко И.* Приключение с моими знакомыми. Повести. М., 1939. Ч. 2. С. 112.

[24] Об этом подробнее: *Дилакторская О. Г.* Фантастическое в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя. Владивосток, 1986. С. 84—92.

[25] См.: *Попов Г.* Русская народно-бытовая медицина. СПб., 1903. С. 25. Далее сокращенно: Попов Г., с.

сто воды водку» (3, 65). Так возникает в повести мотив водки. А цирюльник, упомянув о «несбыточных приметах», совершенно сбит с толка: «...хлеб — дело печеное, а нос — совсем не то» (3, 50). Как видим, появляется и мотив хлеба. Оба героя находят спасительное оправдание: «Черт хотел подшутить надо мной!» (3, 60) — убежден Ковалев; «Черт его знает, как это сделалось...» (3, 50) — рассуждает цирюльник. Оба воспринимают невероятное происшествие с носом, как будто догадываясь о том, что это ночные шутки домового, нечистой силы.

В повести «Нос» писатель отказался от использования ирреальных образов, как отметил Ю. В. Манн.[26] Вместе с тем Гоголь так запрограммировал сознание своих героев, что оно допускало всякую фантастическую нелепицу и чертовщину. Это, собственно, тоже создает комическую двусмысленность повести, способствует появлению иносказательности в конструкциях с принципиально незавершенным смыслом. Ковалев, проклиная запропавший-провалившийся нос, возмущается: «Мне ходить без носа, согласитесь, неприлично... какой-нибудь торговке... можно сидеть без носа» (3, 56). Очевидно, что в повести мотив носа связан с мотивами порчи, с мотивом водки, с мотивом хлеба и с мотивом дурной болезни майора, намек на которую ощутим. Все эти мотивы разделились по двум сюжетным линиям — Ковалева и цирюльника.

Писатель «скрепляет» сюжетные линии, казалось бы, далеких друг от друга по социальному положению, темпераменту, возрасту чиновника Ковалева и цирюльника Ивана Яковлевича не только в мотиве носа, но и в мотиве порчи, и в мотиве «болезни», и в фольклорных мотивах. Кроме того, появление фигуры врача в связи с мотивом болезни-порчи тоже отбрасывает тень одновременно и на сюжет Ковалева, и на сюжет цирюльника. Необычное «магнетическое» поведение доктора изначально двусмысленное. В образе действий гоголевского персонажа узнается комическое поведение врачующего побоями лекаря, героя народного театра и лубочных картинок: медик «поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть голову назад с такою силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего... и в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы» (3, 68). В. Я. Пропп справедливо сближает персонаж Гоголя и балаганного исполнителя лекарской профессии в народном театре.[27] В приемах лечения ультрасовременного гоголевского доктора-чиновника отразились и приемы врачей-магнетизеров и приемы знахарей — в духе народно-бытовой медицины, в которой тоже был известен способ «напугать болезнь», т. е. «способ битья» (Попов Г., 209). Если вспомнить текст повести, медик-шарлатан выписывает Ковалеву рецепт в духе магнетического лечения: «*Мойте чаще холодною водою* и... не имея носа, будете так здоровы, как если бы имели его» (3, 69; курсив мой. —*О. Д.*), — и в духе знахарских способов снятия порчи при

---

[26] *Манн Ю. В.* Поэтика Гоголя. С. 98.

[27] *Пропп В. Я.* Проблемы смеха и комизма. М., 1966. С. 61—62.

помощи воды, «умывания больного».[28] Можно указать и на то, что мотив докторского «бескорыстия» перекликается со знахарским: народная память отметила алчность и мздоимство знахарей.[29] Однако реальные аллюзии в образе гоголевского врача только усиливают эффект мнимости, авантюрного «профессионализма». В его образе реальное расплывается, оставляя как бы плоский контур не человека, а ряженой куклы без лица, из рукавов черного фрака которой выглядывают «рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки» (3, 70). Гротескное двоение образа усугубляется отброшенными на него «тенями» образов лекарей народного балаганного театра, лубка, образов знахарей в культурной традиции русского народно-бытового знахарства, образов врачей-магнетизеров в типе их социально-бытового поведения.

Гоголь, формируя пары, «двоицы» (В. Н. Турбин) по принципу контраста и смежности функций (доктор — цирюльник; Ковалев — цирюльник), в столкновении противоположного добывает фантастический эффект. На нелепой вывеске заведения цирюльника Ивана Яковлевича не выставлена фамилия, зато указано: «И кровь отворяют» (3, 49). Эта бытовая фраза в атмосфере суеверий смещает свой смысл, кажется вырванной из другого контекста. В народно-бытовой медицине был известен еще один способ напускания и снятия порчи — кровопускание (Попов Г., 78). Простодушный, невинный Иван Яковлевич, таким образом, оказывается приобщенным и к лекарской обязанности, и к знахарской практике. Если учесть, что с самого начала повести готовится главный мотив пропавшего носа как следствие колдовской порчи, вмешательства дьявольских сил, то и странная вывеска цирюльника, и странно обнаруженный в хлебе нос, соотнесение с мотивом порчи необходимы автору не только для создания комических алогизмов. Гоголь с их помощью углубляет текст, создает подтекст, когда реально-бытовое становится на грань с фантастическим. При отсутствии черта и его подручных в повести сохраняется атмосфера колдовского мóрока: ирреальное запрятано в быт и порождено бытом. Такой принцип поэтики оправдывает здесь многослойную значимость каждого образа, особенности законов типизации. Двусмысленность провоцирует появление внутреннего сюжета, соотносящего отдаленных персонажей, никак не пересекающихся во внешнем сюжете, таких, например, как цирюльник и доктор. Двусмысленность заложена не только в композиции, сюжетном параллелизме историй с носом, в которые вовлечены Ковалев и Иван Яковлевич, она лежит и в основе обрисовки действующих лиц.

Кроткий брадобрей, по характеристике Прасковьи Осиповны, — «зверь», «мошенник», «разбойник», «пьяница», гроза носов; по словам полицейского, — «вор» и преступник. В этом контексте фраза на его вывеске «И кровь отворяют» получает еще один смысл. При всей очевидности непричастность цирюльника к истории с пропавшим носом ставится под сомнение. Вместе с тем в повести нет никаких намеков на то, что цирюльник мог участвовать в злоключении с носом майора — у него полное алиби. И все

[28] *Сахаров И. П.* Сказания русского народа. СПб., 1841. С. 51

[29] См.: *Максимов С. В.* Собр. соч.: В 20 т. СПб., 1912. Т. 18. С. 187..

же ощущение двойственности, того, что здесь нечисто, автором усиливается. Писатель обыгрывает профессию цирюльника так же, как профессию лекаря, привлекая фольклорный материал, комически заостряя этот образ аллюзиями из анекдотов. Общеизвестно особое умение Гоголя строить на анекдоте ситуацию, интригу, конфликт, образ. Анекдоты о носе, о танцующих стульях, о лунных жителях, о машинах-чиновниках и т.д., по-разному варьируемые в текстах петербургских повестей, говорят о коренной особенности его поэтики. Разыскание анекдотов, перекликающихся с гоголевским текстом, несомненно обогатит наши представления о художественных идеях автора. Например, в одном анекдоте XVIII в. рассказывалось, как «некоторый цирюльник хотел посмеяться над трубочистом. Кричал ему: „Послушай-ка, брат, что нового в аду и что делает хозяин твой черт?" — "Ему нужно идти со двора, — ответил трубочист, — и он ждет теперь только тебя, чтобы ты его выбрил"».[30] Анекдотическая ситуация, когда именно цирюльник невольно оказывался в услужении у нечистого — отсюда двусмысленность его положения, — могла быть известна Гоголю. Конечно, нельзя настаивать на прямой связи именно с этим анекдотом, но можно предположить, что были типовые анекдоты о цирюльниках, обыгрывающие род их профессиональных занятий. В повести «Нос», в основу жанра которой положен и жанр анекдота, трудно не увидеть ориентации двусмысленного поведения Ивана Яковлевича на анекдотическую ситуацию. Она обнаруживается в деталях, например в противопоставлении сцены бритья в начале и в конце повести. Обычно Ковалев замечал брадобрею: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!» Цирюльник цинично отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» (3, 51). В результате сюжетных перипетий «нечистые» руки цирюльника превращаются в «чистые». В конце повести на пристрастный вопрос майора: «Чисты руки?» Иван Яковлевич отвечает с особой готовностью и искренностью: «Ей-богу-с, чисты, сударь», — и его боязливый вид напоминает кошку, «которую только что высекли за кражу сала» (3, 73). Казалось бы, возникает бытовое противопоставление «чистый—грязный», но в атмосфере фантастики, суеверий и магнетизма оно смещает и множит свой смысл, поддерживает уже «скользнувшие» в повести мотивы: Иван Яковлевич и неопрятен (воняют руки), и как бы нечист на руку (вор, разбойник), и как бы невольный участник в деле порчи Ковалева, т. е. связан с нечистым («И кровь отворяют» — гласит вывеска на его цирюльне), — все это определяет выбор более точного антонима к слову «чистый» — «нечистый».

Точно так же может быть рассмотрена пара «правый—левый». В сцене, когда Ковалев оказывается на распутье: «Пошел прямо!» — «Как прямо? тут поворот: направо или налево?» (3, 58), — думается, не следует видеть отголосок только сказочного мотива,[31] скорее это тоже проявление бытовой черты эпохи и может быть отнесено к быто-

[30] РНБ, фонд 865 (Шляпкин И. А.), ед. хр. 274, № 62, «Собрание анекдотов XVIII в.».
[31] *Виноградов В. В.* Натуралистический гротеск. С. 34.

вым приметам: справа — ангел, истина; слева — черт, ложь.[32] Гоголь не указал прямо выбор героем стороны — правой или левой, но названные в повести направления — прямо, направо, налево — одно за другим, последовательно проявляется в рассуждениях Ковалева. «Прямо» — «отнестись в Управу благочиния», «направо» — «искать... удовлетворения по начальству», где «нос объявил себя служащим», «налево» — обратиться в газетную редакцию с объявлением примет самозванца и требованием розыска. Антиномия «правый—левый» — «удача—неудача»[33] в сюжетном действии как бы предрекает исход выбора героя: его неудачу. Это еще один пример последовательной ориентации писателя на бытовую культуру.

Гоголю неизменно был интересен исторический и современный быт во всех его подробностях. Он не раз признавался, что художественный образ в его сознании приобретал завершенность тогда, когда до мельчайших деталей был собран вокруг героя бытовой материал. Писатель умел пристально всматриваться в быт и синтезировать самые различные стихии национальной жизни. Как указывал Ю. М. Лотман, «острая современность его произведений сочеталась со способностью проникать в глубинные пласты архаического народного сознания».[34]

Мифологические аллюзии, фольклорные мотивы, буквально пронизывающие фантастический сюжет, создают, как мы увидели, напряженную игру смыслов, возникающих в социальном, реальном, обыденном бытовом пространстве и в фантастическом (конкретное, частное обобщается в глубинах народных верований и суеверий). Это и способствует появлению иносказаний, скользящих, неуловимо меняющихся понятий, иронической двусмысленности. Мифологический подтекст «становится одним из структурных элементов поэтики» символического и «тем самым служит наращиванием его многосмысленности».[35]

Вполне самостоятельное и даже центральное место в повести занимает образ Носа: он герой интриги, на нем замыкается все действие, он предстает в разных личинах, участвуя в обобщении социально-бытовых и мифологических значений. Оставляя в стороне вопрос литературного происхождения этого образа (об этом сказано в комментариях), его генетические корни можно увидеть, например, еще в русском лубке. В настоящем издании приводится иллюстративный материал лубочных картинок с целью показать, как они могли повлиять на поэтику образа Носа.

Нет сомнений, что писатель прекрасно знал лубок и умел ценить этот вид творчества народа. Взгляд Чарткова на художества народных

---

[32] О значении антиномии «правый—левый» см.: *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* Славянские языковые моделирующие системы. М., 1965. С. 91—100.

[33] Там же.

[34] *Лотман Ю. М.* Гоголь и соотношение «смеховой культуры» с комическим и серьезным в русской национальной традиции // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Вып. 5. С. 132.

[35] *Ауэр А. П.* О поэтике символических образов Салтыкова-Щедрина. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1981. С. 13.

малеваний, останавливающийся на *Миликтрисе Кирбитьевне, Еруслане Лазаревиче, Фоме и Ереме, Объедале и Обпивале*, — в известной мере взгляд самого писателя, сочувственно относящегося к мнению и эстетическому вкусу народной массы. Нос — один из популярнейших героев лубка, чего Гоголь не мог не знать. Нос — герой фривольных картинок, двусмысленных неприличностей; его сопровождают потасовки, зазнайство, похвальба, посрамление, разные похабства. Например, щеголь-жених в шутовском костюме похваляется перед свахой: «Хочется мне жениться... а я, как сама видишь, чем не молодец, и нос у себя имею с немалый огурец».[36] Или на другой картинке: Прохор и Борис поссорились, подрались. Борис сильно спорит: «Нос мой твово боле». А Прохор его задорит: «Хотя смерить, мой доле» (Ровинский, 2, № 397). Комизм картинок на сюжет женитьбы, драки, утверждения мужского достоинства строится именно на игре с носом. В лубочных «притчах» о хвастуне — «Похождение о носе и сильном морозе» (Ровинский, 1, № 183) и о шутах — «Фарнос — красный нос», «Шут Гонос» (Ровинский, 1, № 209а, 209б) нос выступает как ряженый, посрамляемый и посрамляющий шут.

Среди лубочных картинок выделяется настоящая интермедия «Точильщик носов». Это целое действо, сопровождающееся словесным комментарием, репликами действующих лиц, очередностью сцен, разграниченных пространственной перспективой. Мастер-точильщик на огромном точиле, на которое подмастерья льют воду (а в другом варианте — экскременты), обтачивает носы носачам, сидящим в длинном обозе (Ровинский, 1, № 212а, 212б)). Театральность этой картинки подчеркивает Д. А. Ровинский: «Точение носов, как видно из самого текста картинки, представляет собой одну из... интермедий, которые давались в антрактах между действиями настоящей драмы и комедии» (Ровинский, 4, 315). «Театральность» лубка, его ориентацию на игровое поведение, на быт, на реальные газетные сообщения, его отзывчивость на «горячие» актуальные темы современности отмечал Ю. М. Лотман.[37]

Материал русского лубка, одновременно бытовой и фантастический, комически «игровой», таящий скабрезные двусмысленности, общедоступный, ярко театральный, переключающий «потребителя в состояние игровой активности»,[38] соотносится с творческими особенностями Гоголя, его художественными целями в повести «Нос». Замечательно, что писатель учел не только «носологические» мотивы лубка, но, что важно, в построении образа Носа мог опираться на технику, поэтику лубка.

Лубочные картинки были разных типов. Например, такие, на которых изображение, если его перевернуть, превращается в свою противополож-

---

[36] *Ровинский Д. А.* Русские народные картинки: В 4 т. СПб., 1881. Т. 1, № 137. Далее сокращенно: Ровинский, с указанием тома и номера текста.

[37] *Лотман Ю. М.* Художественная природа русских народных картинок // Народная гравюра и фольклор в России XVII—XIX вв. М., 1971. С. 251—255, 262.

[38] Там же. С. 263.

ность: из молодки в старика, и наоборот. «Линия носа» в такого рода картинках как бы регулирует это превращение, эту фантасмагорию, этот оптический эффект. Существенную роль в этих картинках-оборотнях играет оформление их низа и верха, при перевороте превращающее шапку волос или женскую шляпку — в бороду, подбородок — в голый череп: «Персона моя и подбородок дамый, но явлюся пред вами муж старый» (Ровинский, 1, № 284). Перемены низа и верха, «линия носа» перевоплощают содержание картинки. Превращения могут быть и более экзотические, под стать «Золотому ослу» Апулея: при переворачивании обнаруживается то человеческое лицо, то ослиная морда (Ровинский, 1, № 284). Важно указать и на то, что смысл изображения как был определяется еще и выбором точки зрения смотрящего, зависит от позиции зрителя. Два человека, рассматривающие одну и ту же картинку, но с разных сторон, увидят в ней разное содержание.

Эти гротескные принципы комического «низа и верха», «выбора точки зрения», перевоплощающие некую сущность, принципы оборотничества и двойничества, наглядности и материальности изображения могли привлечь Гоголя, который в повести «Нос» язык живописи перевел на язык литературы. В изображении Носа — статского советника как двойника Ковалева, как реализации честолюбивых мечтаний героя, как реальности, таящей абсурдную ей противоположность, когда смысл скомпрометирован бессмыслицей, проявилось действие этих художественных принципов лубка. Характерно и то, что в повести Гоголя именно «по линии носа» видимая реальность способна превращаться в фантастическую и в новом виде приобретать всякий раз новый смысл. Стоит только чуть-чуть изменить «точку зрения», «зайти с другой стороны», и нос предстанет ряженым статским советником, а коллежский асессор превратится в нечто такое, что «просто возьми да и вышвырни за окошко!» (3, 64), в нем появится нечто абсурдное: «птица — не птица» (Ровинский, 1, № 248), «гражданин — не гражданин», чиновник — не чиновник, человек — не человек — нечто, легко переходящее в ничто. Но стоит еще раз изменить позицию, и исчезнет оптический обман: нос будет соответствовать своему назначению и исполнять свои биологические функции, а коллежский асессор — социальные. Оба вернутся в свой первообраз, предполагающий в то же время амбивалентную метаморфозу.

Принцип «театральности» лубка, требующий зрителя, вовлекающий его в действие, заметен и в том, что городская толпа «ровно в три часа» (3, 71) собирается на доступный, всеобщий, уличный спектакль — ожидая появления гуляющего Носа. Доверчивым любопытством обывателя пользуется «спекулятор почтенной наружности», который наделал «прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за восемьдесят копеек» (3, 71—72). Так абсурд у Гоголя подкрепляется реальностью. Замечательно и то, что писатель, следуя традиции лубка, в ходе развития сюжета повести переключает читателя из пассивного в состояние игровой активности, вызывая нужную социальную ассоциацию, та-

кую, например, как история о танцующих стульях в Конюшенной улице — несомненную параллель к истории с носом.

Фантастическое (ориентированное на фольклорный материал, русский лубок), рождающееся на стыке двух бытовых культур, как бы интегрирует социально-бытовое явление. Вместе с тем эта интегрированная сущность разложима в бесконечный ряд смыслов, придающих фантастическому образу символическое значение. Сама реальная жизнь, с ее строго регламентированной, знаковой бюрократической системой, законными предписаниями для каждой социальной группы, способствует возникновению ритуальных форм поведения, мышления, формализует, стереотипизирует их, выделяет как некое социально-символическое поведение и мышление. В повести Гоголя виден своеобразный «социальный символизм».[39]

Жестко регламентированная система отношений в бюрократическом Петербурге, как показывает Гоголь, не реагирует на сущность, но только на форму. В этой связи символом такой системы становится культ формы, магия чина. В мире Петербурга достаточно следовать предписаниям, вписываться в систему установлений, чтобы Нос в мундире статского советника приобрел значение лица, чтобы часть с помощью мундира довоплотилась в целое. Нос — статский советник — совершает ритуал социально-символического поведения предельно педантично: 25 марта в полной парадной форме и в «шляпе с плюмажем» он является в Казанский собор официально засвидетельствовать свою благонадежность, набожно молится и отправляется с визитами к старшим по званию, заставляет коллежского асессора соблюдать субординацию, границы чиновного положения. Он неуязвим внутри системы. Заметить аномалию можно, только выломившись из системы этих отношений, нарушив ее, как это происходит с безносым Ковалевым и с полицейским чиновником, надевшим «очки», о чем сказано в комментарии.

Образ Носа, как мы увидели, не сводим к какой-либо одной черте социальности или быта, ряд этих значений множится, так как Нос интегрирует в себе социальное обобщение из разных общественных сфер жизни. Нос символизирует и чин, и иерархию отношений в бюрократическом обществе, и общественное преуспевание формы при отсутствии содержания, и важную персону, лицо, и знак мужского достоинства, и способ одурачивания, и симптом дурной болезни, и фантом призрачной иллюзии и т. д. Широкое обобщение социальных и бытовых мифологических представлений, наращивающих многозначность смыслов, являет в образе Носа всеобщий абсурд, одновременно порожденный реальностью и противостоящий живому, изменяющемуся, не скованному бюрократическим формализмом миру. Образ-символ Носа как выразитель системы мгновенно все себе уподобляет, превращает в фикцию, по-разному захватывает в свою орбиту пустоты и коллежского асессора, ставшего без носа ничем — ни чиновником, ни женихом, и цирюльника с утраченной фами-

[39] См.: *Басин Е. Я., Краснов В. М.* Социальный символизм. Некоторые вопросы взаимодействия социальной культуры // Вопр. филос. 1971. № 10. С. 164—168.

лией, и безликого, безымянного доктора. На всех героях повести поставлена печать безличия, несоответствия формы содержанию, смысл которых концентрируется в символическом образе Носа, грандиозном обобщении социального абсурда.

Фантастический образ наращивает символическую значимость еще и тем, что Гоголь в повести прибегает к помощи молвы и слухов, творящих социальный миф о Носе на самом прозаическом, бытовом материале. Мифологизация в повести — двойного происхождения: она формируется в народном и социальном пласте суеверий и предрассудков и городскими слухами. Образ Носа, так же как образ Невского проспекта, соединяет в себе не только социальные и мифологические, но и все типизирующие обобщения, тем самым распространяя вокруг себя атмосферу «символической фантастики» (термин Г. П. Макогоненко).

Образы Ковалева, цирюльника, доктора в срезе двух культур, о которых говорилось выше, проявились в символической многозначности. В докторе-чиновнике различим и шут, и знахарь, и магнетизер; в кротком цирюльнике — вор, разбойник, пособник «нечистой силы»; в майоре — то ли человек, то ли чиновник, то ли птица, то ли «черт знает что». В образе Носа все эти значения синтезируются: множества сливаются в одном — так в повести по-новому обнаруживается действие законов масштаба и односторонности. Кроме того, здесь видны предпосылки к универсализации, которые создаются Гоголем за счет несовпадающих и бесконечно множащихся смыслов, предельно собранных в одном образе. Этот художественный принцип действует и в отношении к двойникам образа-символа. Недаром В. Г. Белинский воскликнул: «Это не майор Ковалев, *а майоры Ковалевы*»,[40] подчеркивая как раз это свойство гоголевской поэтики. Вслед за «Невским проспектом» в повести «Нос» такой принцип типизации, в недрах которой складывается основа для универсальных обобщений, только формируется, а получит дальнейшую разработку в «Шинели» и в «Мертвых душах».[41]

Гоголь умел «писать так, чтоб читатель между строк улавливал символический смысл написанного».[42] Значение символической фантастики не исчезает и тогда, когда Нос оказывается между щек довольного и процветающего майора Ковалева, так как проделанный писателем художественный эксперимент вскрыл за видимостью не просто пошлость, а трагическое несовпадение с истиной, показал драматическую ситуацию, в которой обманутый внешней правдой человек остается в плену своих иллюзий и вполне ими удовлетворяется.

В финале повести автор-повествователь в своеобразном диалоге с читателем проверяет пользу своего сочинения. И здесь видна не только игра с читателем. Стиль комических каламбуров, ирония риторических вопросов, позиция комического недоумения сменяются стилем серьезного раз-

---

[40] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 3. С. 105.

[41] См.: *Маркович В. М.* Тургенев и русский реалистический роман XIX в.

[42] *Венгеров С. А.* Собр. соч. СПб., 1913. Т. 2. С. 29.

мышления, интонацией, в которой по контрасту с предшествующей явно ощущается оттенок горечи: «А все, однако же, *как поразмыслишь*, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают не свете, — редко, но бывают» (3, 75; курсив мой. — *О. Д.*). Гоголь пытается воздействовать на читательское восприятие всей системой своих художественных законов и принципов, провести «школу воспитания». Диалог автора с читателем, пробуждающий сознание современника, заставляющий прозреть ослепленных, появившийся в редакции 1842 г., в значительной мере подготовлен концепцией «Мертвых душ», где образ автора и его разговор с читателем заняли одно из ведущих мест.[43]

Проницательный читатель не мог остаться равнодушным к гоголевскому уроку. Ап. Григорьев заметил, что в повести «Нос» отразилась целая жизнь, «пустая, бесцельно формальная... неугомонно движущаяся», которая «встает перед вами с этим загулявшим носом, и если вы ее знаете, эту жизнь, — а не знать ее вы не можете после тех подробностей, которые развертывает перед вами великий художник»,[44] то гоголевский мир, говорит критик, вызывает не только смех, но леденящий душу ужас.

Именно в искусстве Гоголь видел силу, способную изменить установившийся порядок, воздействовать на нравственную природу человека. По мысли писателя, искусство создает эстетические ценности и указывает этические ориентиры.

«Портрет» — повесть, которая заставляет пристально вглядываться в нарисованную Гоголем картину. Она словно обладает магическим свойством: чем дольше в нее вчитываешься, тем отчетливее за внешним сюжетом о художниках проступает внутренний сюжет. Причем обнаруживается, что между внешним и внутренним сюжетами существует синхронная взаимосвязь: история Чарткова как бы наложена на ряд сходных человеческих судеб. Жизнь героя, оказывается, не только зависит от сопутствующих обстоятельств, но еще включена в не осознанную никем цепь событий, выступающих из глубины веков, из глубины истории и культуры, — по таким законам типизации и обобщения строится повесть. В этом видны и особенности авторского мировосприятия — осмыслять явления современности через их связь с ближайшими по времени событиями и с событиями, оставшимися в памяти человечества в виде мифов, легенд, анекдотов, — и эстетические поиски писателя, его размышления над художественным методом.

«Портрет» по замыслу и по технике исполнения многослоен; он создан как бы по законам «исторической живописи», когда миф и современность находятся на одной плоскости изображения. Остросоциальный сюжет о Чарткове, его таинственные отношения с портретом ростовщика находят объяснения в подтексте.

---

[43] *Кривонос В. Ш.* «Мертвые души» Гоголя и становление новой русской прозы. Воронеж, 1985. С. 29—65,

[44] *Григорьев Ап.* Ф. Достоевский и школа сентиментального натурализма // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. С. 232.

Еще В. М. Жирмунский во взаимоотношениях Чарткова и ростовщика увидел отклик взаимоотношений гетевского Фауста и Мефистофеля.[45] Эта мысль заслуживает пристального внимания. Необходимо выяснить: имеется ли в гоголевском сюжете о художниках внутренняя связь с гетевским «Фаустом», какие причины побудили писателя обратиться к известному сюжету, связано ли это с нравственно-этическими идеями автора, его эстетическими принципами?

Исторические условия, общественная жизнь, литературные увлечения 20—40-х гг. XIX в. помогут понять закономерность возникших вопросов. Пушкин писал: «Фауст есть величайшее создание поэтического духа. Он служит представителем новейшей поэзии, точно как „Илиада" — памятником классической древности» (П., 7, 52). Русские читатели литературную пару — Фауста и Мефистофеля — воспринимали и как нравственно-философское воплощение добра и зла, гармонии и хаоса, и в социальном ключе: как выражение противоположных начал — гуманизма и капитализма. Для России после 1825 г., как для Европы после Великой французской революции, наступил век, который, по выражению Гоголя, «давно уже приобрел скучную физиономию банкира». Мефистофель — герой стихотворения С. П. Шевырева «Диалог журналиста и Мефистофеля» — говорит о себе: «Я первый здесь капиталист, я мощный дух, властитель века».[46]

В сознании читателей начала XIX столетия Фауст и Мефистофель приобрели значение символов, универсально отражающих смысл новой эпохи, на что указывал еще В. Г. Белинский.[47] Фаустовский беспокойный дух, могучий индивидуализм, его страстная устремленность к гармонии тревожили воображение Байрона и Метьюрина, Гердера и Гофмана, Кюхельбекера и Баратынского, Пушкина и Лермонтова. Сюжет о Фаусте становится общечеловеческим, проникающим в разные национальные культуры.

В образе Фауста в сознании русского читателя нередко соединяются черты поэта-философа, ученого-гуманиста. Примером этому могут служить «Русские ночи» В. Ф. Одоевского. Вместе с тем в действительности 30-х гг. отношения художника с промышленным веком осознавались и как отношения Фауста и Мефистофеля. С. П. Шевырев отмечал: «Не голодом материальное общество уморило поэта, оно уморило его изобилием: он продал себя обществу, как Фауст Мефистофелю».[48] «Железный век» подчинил власти денег и искусство, породил продажную массовую культуру, откликающуюся официальным установкам и вкусам благонамеренной толпы, создал их кумиров — Булгарина, Греча, Сенковского и других. Вот почему в литературе 1820—1840-х гг. наиболее остро встает проблема личности худож-

---

[45] *Жирмунский В. М.* Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 111—141.

[46] *Шевырев С. П.* Диалог журналиста и Мефистофеля // Московский вестник. 1827. Ч. 6. С. 502.

[47] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 241; Т. 3. С. 457.

[48] *Шевырев С. П.* Чаттертон, драма де Виньи // Московский наблюдатель. 1835. Ч. 4. С. 614.

ника, ее общественного самоутверждения, в этой связи поднимается комплекс этических и эстетических проблем. «Портрет» Гоголя всецело передает общие настроения эпохи.

Образ ростовщика в современном обществе, по словам Гоголя, — не что иное, как «мефистофельская насмешка» над человеком и миром. Писатель, доведя степень обобщения социального зла в образе Петромихали до символа, противопоставил ему образ художника. Размышления писателя о судьбе художника как бы рассеяны по разным сюжетным линиям. Гоголь представляет разные характеры, показывает разные этические принципы и эстетический опыт героев: Чарткова, художника-богомаза, русского мастера живописи, приславшего на выставку картину. Из многообразия примеров читатель сам должен извлечь идею общности их судьбы, универсальную истину о личности художника и его предназначении. По мысли писателя, только художник призван противостоять меркантильному обществу, вступить в борьбу с общественной психологией приобретательства посредством слова, кисти — для проповеди духовности. В повести он показал, что эта борьба требует от художника особой нравственной стойкости и преданности избранному пути.

В «Портрете» именно художник — обладатель фаустовской природы в ее главной сути — преобразования мира. Здесь Гоголь решал один из главнейших вопросов — об общественной роли искусства, его воздействии на действительность. В мефистофельский «век с физиономией банкира» писатель мечтал исправить общество и человека подвигом художника. Он был убежден в том, что только художник способен проникнуть в глубинный смысл жизненных явлений, вскрыть перед современником «пошлость болезненной жизни» (8, 390), и считал, что «нет зла, которого нельзя было бы исправить, но нужно видеть, в чем именно состоит зло» (12, 82). Путь художника, как понимает Гоголь, — путь великого труда, трагический путь познания, путь заблуждений и взлетов, борьбы с самим собой, отшельнического и мирского подвигов, испытания бедностью и славой — предназначен ему для того, чтобы очистить мир от скверны зла во имя преображения жизни. Эта идея была выстрадана самим писателем. Он признавался: «Вот вам между прочим одна моя важная черта. Я пережил годы юношества, миновал увлечения славолюбивые, удалился давно от света для того, чтобы воспитываться в глубине души своей для других, и воспитанию моему еще далеко до конца» (12, 81—82). Он воплотил эту идею в повести «Портрет». Судьба художника пронзительно перекликается с судьбами живописцев П. Плахова и М. Полякова, Д. Доу и Гр. Чернецова, А. Иванова и самого Гоголя. В «Портрете» писатель сознательно возвел проблему художник — общество в глобальный масштаб, стремясь разглядеть за скоротечностью современного момента глубину общечеловеческого опыта. Образы художника и ростовщика сведены автором в своеобразную литературную пару, подобную Фаусту и Мефистофелю, символизирующую социальное и философское содержание нового времени. Так современность и миф вступают в синхронные отношения: в гоголевском ростовщике про-

ступает облик дьявола, современного Мефистофеля, а в обобщенном образе художника, объединившем в себе и Чарткова, и богомаза, и мастера, — Фауста.

Не обнаруживая прямых аллюзий с известным сюжетом, писатель в подтексте усилил звучание фаустовских мотивов настолько, чтобы читатель мог уловить их. Гоголевский сюжет разворачивается так, что мотивы «Портрета» и мотивы других произведений сближаются именно на фаустовской теме. Примером этому могут служить связи повести Гоголя с «Мельмотом-скитальцем» Мэтьюрина, «Манфредом» Байрона, «Элексирами сатаны», «Артусовой залой» Гофмана, «Таинственным портретом» Ваш. Ирвинга и другими. Причем ряд сопоставлений «Портрета» с современной литературой (русской и европейской)[49] в самых разных мотивах очень широк и все более сужается и становится избирательным в отношении к литературе, исторически отдаленной от повести Гоголя: так реставрируется, выделяется здесь именно сюжет о Фаусте, объединяющий старые и новые тексты. В «Портрете» ощутима связь со сценой из «Фауста» Пушкина и с «Фаустом» Гете — близлежащими сюжетами.

Работая над «Портретом» в Риме, Гоголь перечитывал сочинения Пушкина, в них ища поддержку своим наблюдениям о состоянии современного мира и человека. На первый взгляд, близость характеров Чарткова и пушкинского Фауста кажется неожиданной, тем не менее есть все основания ее подтвердить. Сигнал о таком сближении дал сам Гоголь: во вторую редакцию повести он ввел фразу о «страшном демоне», которого «идеально изобразил Пушкин» (3, 115). О родстве характеров пушкинских героев-демонов в «Демоне» (Демон) и в «Сцене из Фауста» (Фауст) догадались современники: об этом писал В. Г. Белинский.[50] Гоголь, как видим, тоже уловил это сходство, образ Чарткова оттенил этим смыслом, дал проекцию характера «страшного демона» современности — Фауста — на характер своего героя.

Гоголь заметил,что Пушкин понял Фауста иначе, чем Гете. Фауст Пушкина — тип современного рефлексирующего эгоиста, скучающего скептика, человек без веры, без нравственной перспективы, без высокого, объединяющего всех идеала. Это — герой, стоящий вне связи с гуманистическим ходом общественного развития, трагически заблуждающийся, отъединенный от всеобщих социально-нравственных и национальных основ жизни. В «Сцене из Фауста» Гоголя поразила уникальная способность Пушкина проникать в глубину любого национального характера, умение постигать

---

[49] См.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский. М., 1913. Т. 2. С. 336—337; *Гиппиус В. В.* От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966. С. 78. *Фридлендер Г. М.* Вопросы реализма в творчестве Гоголя 30-х гг. // Проблемы русской литературы XIX в. М.;Л., 1961. С. 61—66; *Чудаков Г. И.* Отношение творчества Гоголя к западноевропейским литературам. Киев, 1908. С. 92; *Шляпкин И. А.* «Портрет» Гоголя и Мельмот-скиталец Матюрена // Литературный вестник. СПб., 1902. Т. 3. Кн. 1—4. С. 67—68; *Мордовченко Н. И.* Гоголь в работе над «Портретом» // Учен. зап. ЛГУ. Л., 1939. Вып. 4. С. 100—124; *Елистратова А. А.* Гоголь и проблемы западно-европейского романа. М., 1972. С. 85—86.

[50] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 7. С. 554.

в нем главное, обогащать оригинал своими идеями: «Гетев „Фауст“ навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта, и дивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гете» (8, 383—384). Тогда же, в 1839 г., в разговоре с А. Ивановым, как вспоминает П. В. Анненков, Гоголь «объявил однажды, что известная пушкинская „Сцена из Фауста“ выше всего „Фауста“ Гете, вместе взятого».[51] Гоголя в «Сцене» привлекло критическое осмысление образа Фауста, способ изображения его характера у Пушкина: в общечеловеческом типе вполне явственно угадывались черты современного человека — философский и социальный аспекты понимания личности естественно объединялись.[52] Эта традиция изображения характера и ряда мотивов «Сцены» и подхвачена Гоголем в «Портрете».

Чартков — современный, как бы сниженный, заурядный Фауст петербургского пространства: он из своего «малого мира» (комната на Васильевском острове) попадает в «мир большой» (Невский проспект) с его соблазнами — славой, наслаждениями — и с его разочарованиями, все венчающей скукой. Новая жизнь художника складывается в пределах этих мотивов: «Слава его росла, работа и заказы увеличивались», но «уже стали надоедать ему одни и те же портреты», раньше он искал новое положение, стремился поразить эффектом, «теперь и это становилось ему скучно». Он старался «сыграть роль светского человека, все это уносило его далеко от труда и мыслей» (3, 108—109). Подобный круг жизни очерчен Пушкиным для своего героя: в «большом мире» Фауст познал и «славу», и «мирскую честь» и, с «жизни взяв возможну дань», ощутил тяжелую праздную скуку: Мне скучно, бес (П., 2, 283). В понимании характеров Чарткова и пушкинского Фауста эта система мотивировок становится определяющей.

Главная тема пушкинского героя — пресыщение. Оно влечет бесстрастие, эгоизм, ненависть к человечеству, сеющие хаос, разрушение: «Все утопить» (П., 2, 287), а самое страшное — саморазрушение. В диалоге с Мефистофелем Фауста волнуют вопросы: был ли он счастлив, пережил ли минуту всеполноты жизненных ощущений? Итог героя безотраден, его желания — иллюзии, избранный путь — тупик. Пушкин показал в герое диспропорцию внешней и внутренней самореализации, закономерно ведущей к дисгармоническому, трагическому состоянию личности.

У Гоголя Чартков тоже обманут: вскружившие голову героя слава, почет и богатство не выдерживают испытания перед истиной — перед живым искусством, перед картиной настоящего мастера. Вопросы героя к себе: «Точно ли у меня был талант? Не обманулся ли я?» (3, 114), точно ли мог быть счастлив и мог открыть всеполноту ощущений на пути совершенствования своего дара, шагнуть в бессмертие, — эти вопросы раскры-

[51] *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1960. С. 94—95.

[52] См.: *Виролайнен М. Н.* Ловушка Мефистофеля («Сцена из Фауста» А. С. Пушкина) // Анализ драматического произведения. Л.: ЛГУ, 1988. С. 117—118.

вают внутренний крах героя. И подобно тому, как пушкинский Фауст видел виновника своих заблуждений в Мефистофеле, гоголевский Чартков видит его в портрете ростовщика. Злоба героев обрушивается на «большой свет», их соблазнивший. Для них нарушена мера добра и зла, в их эгоизме кроется нравственная опустошенность и отъединенность от природных основ бытия. Свой талант герои подчинили эгоистическому капризу, их жизненный путь не освещен высшими целями — такими, которые оправдывали путь гетевского Фауста. Идея Гете ревизуется Пушкиным, а пушкинская мысль о фаустовском типе поддерживается Гоголем как более верная, точнее отражающая внутреннее состояние современного человека, его устремления и масштаб деятельности.

В «Портрете» показано воздействие современных общественных законов на характер Чарткова, но объяснение причин трагедии и гибели героя выведено за грань социальных мотивировок, за пределы петербургского безыдеального мира. Гоголь как бы всматривается в глубину натуры и порождающих ее причин: за современным кругом явлений различая подобное в прошлом. Вслед за аллюзиями с пушкинским Фаустом проступают в сюжете повести ассоциации с трагедией Гете: у Гоголя отсутствие идеала в современности требует необходимого сравнения с идеалом прошлого. В «Портрете» «Фаусту» Гете отзывается не только формула диалога, отмеченная В. М. Жирмунским, но важнейшие мотивы, центральные в идейно-художественной концепции обоих произведений.

Главный мотив «Фауста» Гете — мотив прекрасного мгновенья, означающий итог всей жизни героя, конец его исканий, ведущих к всеобщей гармонии, универсальной победе сил добра, когда следует сказать мгновенью: остановись! Гете этот мотив в прасюжет о Фаусте ввел впервые, осмыслив его в диалектической противоположности. Фауст видит свое назначение в служении человечеству. Гетевский Мефистофель снижает фаустовский идеал, переключая его «прекрасный мир» в житейскую сферу, вкладывая свое значение — выгодно служить самому себе: своей карьере, удовольствиям, эгоистическим интересам: «Кто улучит *удобный миг*, тот и устроится *прекрасно*»[53] (курсив мой. — *О. Д.*). Истина в трагедии Гете оспаривается антагонистами в бесконечном диалоге.

Дважды в сюжете Гоголя «прекрасный миг» преображает жизнь Чарткова. В первый раз: чудесно найденные 1000 червонцев в старой раме портрета позволяют герою «устроиться прекрасно» — составить карьеру, прельститься мефистофельским мгновеньем. Во второй раз — картина на выставке произведет на героя преображающее воздействие: «Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновенье, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова» (3, 113). Этот миг восстановил прерванную связь художника и с миром людей, и с миром искусства, и с идеями высшего порядка. В это мгновенье герой прозрел, понял ценность других истин, за что Фауст

[53] *Гете И. В.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 2. С. 71. Далее сокращенно: Г., том и страница.

готов был отдать жизнь. В Чарткове столкнулись сущностно противоположные символические начала: «падшего ангела» и «творца-создателя». Мотив прекрасного мгновенья осветил жизнь героя в его падении и в возможности восстановления, наметил перелом в воззрениях и в характере Чарткова: от ослепления к прозрению, от незнания к знанию, от лжи к истине, от эгоистической замкнутости и холодности к страстному единению со всем человечеством. В напряженном противоборстве высшего и низшего в характере героя выяснилась невозможность восстановления его личности: Чартков истощил свои силы на пути предательства самого себя.

Преобразующее назначение искусства приравнивается Гоголем к прекрасному мгновенью, когда разом выпрямляются искривленные человеческие души, красота и гармония выполняют свою восстанавливающую функцию: «Казалось, все вкусы, все дерзкие уклонения слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению» (3, 112). Так наметилась в «Портрете» тема всеобщего нравственного очищения и воскресения, ведущая к царству гармонии, но она не могла быть реализована. И здесь ощутима видимая связь с трагедией Гете.

Фауст, прозревший конечную истину, в свой последний миг обманут Мефистофелем: слепому герою бесы-лемуры роют могилу, а преобразователю мира кажется, что воплощается его идеал гармонии. У Гете и у Гоголя мотив мгновенья решен драматично: он символизирует ускользающий от человечества идеал гармонии, показывает недостижимость совершенства. В момент гибели героев торжествует стихия зла, хаоса, разрушения. Но у Гете финальный мотив означает бессмертие Фауста, беспредельность познания. У Гоголя же показывает, как глубоко проникло в человеческую природу и общество зло, как трудно его победить, тем более что оно поразило художника и искусство. Поэтому чем сильнее общественное зло, тем бесстрашнее и чище должен быть голос подлинного искусства, напоминающий о гармонии, о высшем предназначении человека, восстанавливающий связи в разъединенном обществе, восполняющий бытие идеалом. Так трансформировался в «Портрете» известный гетевский мотив прекрасного мгновенья.

Сговор с нечистой силой — обязательное звено сюжета о Фаусте. Обычно дальнейшую судьбу героя определяет мотив продажи души дьяволу, мотив расплаты душой. У Гоголя этот мотив не лежит на поверхности текста, он как бы впаян в подтекст. Образ ростовщика в повести таков, что не исключает возможности его отождествления с дьяволом. Во всяком случае художник, взявшийся писать портрет Петромихали, так и подумал: «Он сам просится в дьяволы ко мне на картину» (3, 128). В «Портрете» действует не персонаж, а его отраженная воля. Купив портрет, Чартков невольно вошел с нею в контакт. Странный случай неожиданно одарил его 1000 червонцев. Деньги вывели художника на рынок, приобщили его к атмосфере, где царствует «презренный холод торговли и ничтожества». Герой вступил в некий неотразимый круг жизненных отношений, расплачиваясь за свой суетный успех талантом, душой. В сюжете Гоголя

отражен психологический ход, как бы подтверждающий факт продажи души, подчеркивающий отступничество героя.

На этюде с изображением Психеи Чартков стал «проходить» портрет аристократической посетительницы и «привязался совершенно к своей работе» (3, 104). Как Пигмалион, художник вдохнул в картину свою душу: «Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело» (3, 104). Именно этот портрет произвел шум, с него началось отречение героя от самого себя, он как бы продал свой дар, свою душу в угоду толпе и собственной славе.

В этом фрагменте сюжета Гоголь, очевидно, подчеркивает иносказательный смысл происходящего, который выразил с помощью открытой аллегории — образа Психеи-души. Среди многочисленных интерпретаций сюжета о Фаусте только у Гете встречается мотив расплаты с дьяволом, выраженный в особой поэтической формуле — душой-Психеей. В момент кончины Фауста Мефистофель ждет плату за службу: «Смотрите в оба: фосфористой вспышки Вы в теле не заметите ль внутри? Ту душу, ту крылатую Психею» (Г., 2, 71). Легко увидеть, что и у Гете, и у Гоголя образ души-Психеи употреблен как аллегорический и как мифологический образ.

Говоря о фаустовской теме в «Портрете», нельзя обойти вопрос о том, как здесь решен диалог Фауста и Мефистофеля, впервые введенный в литературный оборот Гете. В повести Гоголя диалога героев, как у Гете или у Пушкина, нет. Участники диалога у Гоголя — художник и ростовщик — пребывают в разных пространственно-временных и исторических плоскостях. Ростовщик в повести изображен только как портрет, подан как образ из легенды. В сюжете не наблюдается его личного участия, писатель не раскрывает его характер подобно характерам Чарткова, богомаза и т. д., поэтому и нет общения между героями. Вместе с тем формула диалога в «Портрете», как справедливо указывал В. М. Жирмунский, сохранена, только активность одного из участников как бы переключена из текста в подтекст, один из оппонентов молчаливо ведет свою партию, свой «второй сюжет» (Н. Я. Берковский), освещающий события основного сюжета о художниках символическими смыслами.

В глубине сюжета «Портрета» просматриваются не только определенные отношения повести Гоголя со «Сценой из Фауста» Пушкина и с «Фаустом» Гете, но угадывается и прасюжет о Фаусте, излучающий свои типологические мотивы, ситуации, типологический финал. Гете, как известно, отталкивается от сюжета народной книги, который чрезвычайно был популярен в начале XIX в. и получил широкое распространение в литературе в качестве расхожего «бродячего сюжета».[54] В легенде Фауст — отступник, он — герой мистериальной комедии, шарлатан, гуляка, хвастун,

[54] См.: *Шевырев С. П.* Иностранные книги // Московский вестник. 1827. Ч. 6. С. 87—88; *Алексеев М. П.* Метьюрин и его «Мельмот-скиталец». М., 1983. С. 576, 623; *Жирмунский В. М.* История легенды о Фаусте // Легенда о докторе Фаусте. М., 1978. С. 261—262; *Макогоненко Г. П.* Творчество А. С. Пушкина в 1830-е гг. 1830—1833. Л., 1974. С. 194—195 и др.

пройдоха, развратник. В легенде сказано: «Фауст в своем отступничестве не мог воротиться назад... Доктор Фауст жил эпикурейской жизнью, день и ночь не помышляя ни о боге, ни об аде или дьяволе, решив, что душа и тело умирают вместе».[55] И Гете и Пушкин представляли Фауста как лицо трагическое, лишив его мелких, пошлых, комических черт характера.

Гоголь же постигает явление или характер в амбивалентной сущности, когда комическое становится естественным продолжением трагического, и наоборот. Расхожий сюжет народной книги о Фаусте давал писателю как бы «его материал». Характер Чарткова освещен отраженным светом характера Фауста из легенды. Как отступник[56] герой Гоголя попадает в круг праздной жизни: с гуляньями, обедами, мелкой суетностью, хвастовством, пошлостью — в круг петербургской эпикурейской атмосферы, из которой нет выхода: «Чартков сделался модным живописцем... Стал ездить на обеды... сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться... занялся улучшением разных манер... украшеньем своей наружности» (3, 107). Он высокомерно утверждал, что все художники «до Рафаэля писали не фигуры, а селедки», что «сам Рафаэль даже писал не все хорошо», Чартков смешно хвастал, пошло себя восхваляя: «Гений творит смело, быстро... этот портрет я написал в два дня, эту головочку в один день» (3, 108).

Характер героя, как показывает писатель, изменился вследствие отступничества (отступил от твердых принципов, потянуло к легкой жизни — и попал в руки беса). Наконец, развившееся в нем «свирепое» честолюбие становится причиной его болезни и безумия. Одновременно болезнь Чарткова нельзя объяснить только социальными или психологическими причинами, т. е. рационалистически. Последние дни художника окружены атмосферой тайны: в предсмертном бреду ему грезится портрет ростовщика, с которым так неотвратимо была связана вся жизнь героя. В повести мотив портрета обрамляет историю Чарткова, роковым образом начиная и кончая ее. С мотивом портрета связаны мотив отступничества героя и мотив рокового наказания, расплаты, наконец мотив смерти. В финале первой части повести взаимодействие этих разных мотивов придает бытовому событию — болезни героя — оттенок трансцендентного. Смерть Чарткова указывает на неизвестные глубинные причины, объяснение которых таится в подтексте. Гоголь так описывает ее: «Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли... жизнь его прервалась... в безгласном порыве страдания. Труп его был страшен» (3, 116). О страшной кончине Фауста-отступника, сопровождающейся ужасными воплями и последним безгласным страданием, сообщается в легенде и в разных исторических свидетельствах. В народной книге смерть Фауста описана как жуткое и ужасное зрелище:

---

[55] Легенда о докторе Фаусте. М., 1978. С. 86. Далее сокращенно: Легенда..., с указанием страницы.

[56] *Зарецкий В. А.* Петербургские повести Гоголя. Художественная система и приговор действительности. Саратов, 1976. С. 57—64.

«Страшно было на него взглянуть, так изуродованы были его лицо и все части тела» (Легенда..., 101). Несомненно Гоголь знал такой вариант кончины Фауста (видел в балаганном кукольном представлении, уличном спектакле, слышал в пересказе, читал у Клингера и т. д.) и обыграл его в своей повести. Необходимо сказать и о том, что фаустовские мотивы, узнаваемые в тексте Гоголя, одновременно преображены, переосмыслены, связаны с обыденными явлениями, спущены в быт. Писатель фаустовские гуманистические идеи, пафос гармонического жизнестроительства, победу света над тьмой, деятельную устремленность к идеалу соотносит с русской жизнью и прежде всего с личностью художника, «переболевшего духовными болезнями современного мира»:[57] это и продавший душу Чартков (заурядный современный дьявол), в судьбе которого очевидны фаустовские аллюзии, и его антипод — спасший душу старец (демоноборец), в судьбе которого фаустовские аллюзии присутствуют факультативно.

Использование фаустовских мотивов в «Портрете» проясняет и художественный способ постижения действительности, технику письма. Очевидно, что в сюжете Гоголя, написанном на современную социальную тему, просматривается дальняя перспектива, которую создают здесь аллюзии на тему Фауста. Таким образом, в «Портрете» современность «поддерживается» и «углубляется» историческим опытом, культура нового времени опирается на древнюю культуру и питается ею. Писатель здесь демонстрирует и свои эстетические принципы, законы своего художественного метода — метода «исторической живописи», который исповедует в его повести мастер-художник. Гоголь в синтезе разных стилей видел путь нового искусства: многослойный сюжет «Портрета», характеры героев (художника и ростовщика), сведенные в одну эстетическую систему, свидетельствуют об этом. В повести предложена своеобразная иллюстрация того, какой метод, по мысли Гоголя, ведет художника к созданию подлинного произведения искусства.

Во время одного из сеансов Чартков увидел «в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету» (3, 103). С трепещущим сердцем художник почувствовал, что «выразит то, чего еще не заметили другие» (3, 103). Герой стал переносить подмеченные им «женственные черты» аристократки на заброшенный этюд с головкой Психеи — «личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела» (3, 104). Под кистью художника, как пишет Гоголь, тип «лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения» (3, 104). Это случилось вследствие того, что художник «воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал» (3, 104). Гоголь перед читателем раскрывает процесс работы художника, его технологию, его метод: Чартков на

---

[57] *Маркович В. М.* Тема искусства в русской прозе эпохи романтизма // Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX в. Л., 1983. С. 40.

модель, выполненную в школьной академической манере, наносит, следуя другому художественному стилю, черты оригинала, натуры. В синтезе разных художественных стилей на картине Чарткова возникает новый художественный язык, постигающий натуру в очищенном виде, освещенную авторским идеалом. Чартков в этой своей единственной работе добивается той плывучей округлости линий, заключенной в природе, «которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста» (3, 112); здесь он в какой-то мере приближается к познанию законов «исторической живописи», столь совершенно выраженных в картине художника-мастера, повергшей всех в нравственный экстаз. На мгновенье персонажи и их творец сблизились как художники-единомышленники, проникшие в существо реалистического стиля.

Гоголевская философская повесть — как бы реставрированный «Портрет», картина сложного эстетического эксперимента, иллюстрирующего диффузность стилей, метод, в основе которого лежит преобразованный синтез разных художественных систем: классицизма, романтизма, натурализма, одухотворенные «символическим реализмом» (В. В. Виноградов). Анализ и реставрация многослойности сюжета повести показали, как Гоголь социальную историю о Чарткове перевел с помощью фаустовских мотивов в философский универсальный план, как автор этические вопросы (самостояния личности художника, его самозабвенного труда, самовоспитания в школе жизни и другие) связывает с эстетическими проблемами. Учительная миссия искусства, его преобразовательная роль реализуются только в правильно избранной позиции художника, в его художественном методе и еще в том — освещают ли его творчество высшие общечеловеческие идеалы. Пик смысла повести обнаруживается в *деянии* художника, в значительной мере — в тех художественных законах, которые он сам создал.

Гоголь в «Портрете» не как теоретик, а как практик раскрыл законы своего мастерства, основанные на глубоком изучении художественных и нравственных идей великих предшественников (Пушкин, Гете), называя этот стиль «исторической живописью»: о нем писатель постоянно говорит на примере творчества Чарткова и русского художника-мастера. По Гоголю, индивидуальный стиль, оригинальное слово подкрепляются всей художественной традицией и не могут без нее состояться. Он объясняет мир в его многообразных связях с историей и культурой. Писатель, вводя в глубину сюжета фантастику, постигает человека в закономерностях социального быта, национальной жизни, в универсальности нравственных, не подлежащих исторической или социальной коррекции, законов.

Гоголевское обобщение объемлет миф, историю и современность, таким образом достигая грандиозного масштаба, однако всегда односторонне заостренного. Гоголевский символизм, многофункциональный по своей художественной природе, всегда выражает глубинную суть реальности. В «Портрете» художественные законы, заявленные писателем в «Невском проспекте», нашли свое развитие: здесь в новых условиях действуют соотношения реального, фантастического и символического и законы масштаба, односторонности, обобщения и типизации — всякий раз поворачиваясь новой гранью, откры-

ваясь новыми возможностями, осложняясь новыми способами авторского видения.

Художественный мир повести «Шинель» вписывается в общий «архитектурный ансамбль» петербургских повестей. Гоголь здесь на двух параллельных сюжетных линиях — Башмачкина и «значительного лица» — раскрывает диалектику чиновничьих отношений, демонстрирует бюрократическую лестницу — ее нижние и верхние звенья (титулярный советник — «значительное лицо»). Каждый из героев должен «укладываться» в положенное ему место, как в форму, соответствовать ему и таким образом поддерживать всю бюрократическую систему. Их жизнь исчерпывается департаментом, их человеческая природа угасает под гнетом довлеющего формализма. В повести Гоголь подчеркивает всецелое подчинение человека чиновничьему миру, превращающему его в винтик огромного государственного механизма. На примере Башмачкина писатель показал процесс этого превращения, в образе «значительного лица» выражен результат этого превращения. Для титулярного советника новая шинель с воротником куницы — это нереализованный путь к более высокому чину, это *вход* в систему чиновничьих отношений (в новой шинели он сразу был признан товарищами). Новый мундир для генерала — форма его социального утверждения в чиновничьем мире, где он давно «свой». Владение шинелью и мундиром стабилизирует положение героя в бюрократической системе.

Ритмичность повторов в обеих сюжетных линиях (вплоть до мельчайших деталей) продумана автором и служит созданию масштабного обобщения. Именно образ шинели соединил в границах социально-бюрократической иерархии титулярного советника и генерала. Интересен этот художественный феномен. Обобщающее значение его как бы нарастает в ходе развития сюжета к финалу. В результате образ шинели соединил разномасштабное, несовместимое, олицетворил единство чиновничьего мира Петербурга: все сюжетные линии, все персонажи повести, даже далекие друг от друга, оказываются взаимосвязанными именно посредством шинели — и Башмачкин, и генерал, и даже Петрович. Центральное положение образа подчеркивается и заглавием повести.

В «Шинели», как и в повести «Нос», конфликтная ситуация выделяет, с одной стороны, человека (чиновника), а с другой — вещь (шинель), которая «укрупняется» заключенным в ней обобщающим смыслом и семантически перестает быть равной самой себе. Именно в этой связи и шинель, и нос понимаются как образы одного порядка. Нетрудно увидеть, что в одном художественном ракурсе нос и шинель, так же как звание «испанского короля» для Поприщина, являются способом означить свое лицо, свое «я».[58] Другой пласт значений в этих образах выражает абсурдное, фантастическое смещение сущего и мнимого, когда часть выступает в роли целого, материальное замещает духовное, когда вещь становится продол-

[58] *Бочаров С. Г.* 1) Пушкин и Гоголь («Станционный смотритель» и «Шинель») // Проблемы типологии русского реализма. М., 1969. С. 231; 2) Загадка «Носа» и тайна лица // Гоголь: История и современность. М., 1985. С. 200—201.

жением человеческого организма.[59] В отличие от повести «Нос» в «Шинели» конфликт человека и вещи усложняется, приобретает ступенчатый характер, рядом с темой социального обличения намечается тема нравственного воскрешения, впоследствии ставшая главной художественной задачей в поэме о России. В образе шинели, который интегрирует бесконечный ряд бюрократических мнимых условностей, выделяется сторона, враждебная всякому живому началу.

Техника создания образа шинели такая же, как образа носа или гуляющих фланеров в виде «усов» и «бакенбард». Эффект достигается здесь в результате переключения точек зрения в повествовании: например, повествователя на угол зрения Петровича, который, «оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на свою шинель», а потом, обогнув кривым переулком, забежал с другой улицы, чтобы «посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо» (3, 157). Смена точек зрения в повествовании позволяет писателю в явлении обычном — идущем в новой шинели Башмачкине — увидеть гротеск, на миг показать фантастическое собственное «лицо» шинели, самостоятельное и автономное, не зависимое, с точки зрения Петровича, от Башмачкина. Вместе с тем условия для появления гротескной метонимии в «Шинели» более разнообразны, а сама гротескная метонимия более завуалирована, чем в повестях «Нос» или «Невский проспект». Ее черты, например, видны в образе титулярного советника, неотделимого от своей шинели: «существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто... какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу» (3, 154). Персонажи становятся неотделимыми «от природных и бытовых стихий и воспринимаются как их концентрированное олицетворение».[60]

Такая гротескная метонимия характерна и для художественной системы «Мертвых душ»: шинель — подруга жизни и пузатое ореховое бюро, утверждающее, что оно тоже — Собакевич, — одной художественной природы. В такой гротескной метонимии заметен мифологизирующий оттенок (В. М. Маркович), сразу придающий образу смысловую неодномерность, в связи с чем фантастический эффект переходит в символический.

Образ шинели в повести олицетворяет и «подругу жизни», и «вечную идею», и некую философскую идеальную мысль, и ангела — «светлого гостя», на миг оживившего «бедную жизнь» (3, 169) героя, содержит множество других смыслов, что и позволяет говорить об этом образе как о символе, синтезирующем в себе социальные и несоциальные, эмпирические и трансцендентные, конкретно-бытовые и мифологические смыс-

---

[59] *Переверзев В. Ф.* Гоголь и Достоевский. Исследования. М., 1982. С. 96.

[60] *Маркович В. М.* И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX в. С. 29

лы. Устремленность к символике в «Шинели» подкрепляется и на уровне принципов типизации, она видна и в специфике жанровой структуры.

Известно, что жанр является как бы резонатором (Ю. Н. Тынянов) художественного текста, определяющим все его связи, влияющим на структуру повествования, построение сюжета, характеров персонажей, выбор стиля и т. д.; что давно отмеченные и не объясненные в науке логические «несообразности» повести, «смещения» в развитии сюжета и характеров героев в значительной мере могут быть прояснены изучением жанровой природы произведения.

По свидетельству П. В. Анненкова, история о шинели «выросла» из анекдота о потерянном ружье.[61] Гоголь был чуток к городскому фольклору, был знатоком анекдотов и умел их рассказывать в обществе.[62] Несомненно, что образ Башмачкина имеет связь с литературой анекдотов, с ее стихией комизма, парадоксальности, двусмысленности. Например, бросается в глаза сходство героя Гоголя с героем анекдота о «поседевшем за перепиской» чиновнике, который «сделался совершенною машиною», над беспомощностью которого смеялись в чиновничьем кругу.[63] Важно здесь не только увидеть сюжетную перекличку ситуации повести и анекдота, но главное обратить внимание на то, что писатель использует жанровую природу анекдота в своем произведении.

Нет никаких сомнений и в том, что Гоголь в свою повесть ввел энергию житийного жанра: об этом говорят и имя героя, и ряд сюжетных ситуаций, непосредственно перекликающихся с житийным рассказом об Акакии Синайском. Существенно подчеркнуть: писатель при построении «Шинели» использовал в целом житийный канон, опираясь на традицию житийного жанра.

Обычно повествование в житиях (кроме проложного типа) начиналось с рождения героя, с характеристики его родителей, их имущественного положения, с характеристики местечка, города, страны, где рожден герой. Обязательно рассказывалось о крещении ребенка; подчеркивалось, что при рождении он был выделен особым знаком, назван особым именем — обозначающим суть его как служителя бога. Герой жития, как правило, был мудр, усердно трудился, избегал светских развлечений, страшился брака, общался только с матерью или пожилыми женщинами, жил в полном одиночестве, не искал наград, по смерти совершал чудеса.[64] Учитывая устойчивость житийного канона, можно уловить перекличку повести Гоголя с разнообразными житийными рассказами — об Акакии Синайском и об Акакии Сотнике, о Феодосии Печерском и о Сергии Радонежском, о великих молчальниках и о святых, испытуемых морозом. Кроме того, следует

---

[61] *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 43.

[62] См.: Дневник художника А. Н. Мокрицкого. М., 1975. С. 63. Мастерство Гоголя-рассказчика городских анекдотов отразилось и в его творчестве. Об этом см.: *Маркович В. М.* Петербургские повести Н. В. Гоголя. Л., 1989. С. 38—53.

[63] Анекдоты всех веков и народов. СПб., 1846. С. 118.

[64] См.: *Лопарёв Х. М.* Греческие жития святых VIII и IX вв. СПб., 1914. Ч. 1. С. 15—34.

отметить, что Гоголь, вслед за житийной традицией, обставляет чудеса достоверными приметами, свидетельствами очевидцев, бытовой атмосферой.[65] Обычно в житиях чудо преображало мир и исцеляло человека от слепоты, глухоты, немоты, нравственной черствости[66] и т. д. Это же действие чуда наблюдается в гоголевской повести: «значительное лицо» после встречи с мертвецом как бы обрело слух и зрение, реже стало говорить подчиненным: «Как вы смеете... если же и произносил, то уже не прежде, как *выслушавши* сперва, в чем дело» (3, 173; курсив мой. — *О. Д.*). Житийная традиция в «Шинели» просматривается и в использовании двух стилевых пластов — высокой ораторской проповеди и бытовой речи, хотя здесь ощутимы и другие культурные стилевые соответствия.[67] На образ кроткого чиновника Башмачкина и его житие как бы падает отсвет кроткого труженика Акакия Синайского и грозного Акакия Сотника, усмирителя блудной страсти (и этот «след» виден в сюжете повести: вспоминается фрагмент, как значительное лицо после встречи с Акакием повернуло свои сани домой, так и не доехав до Каролины Ивановны).

Вместе с тем, если присмотреться внимательнее, «общение» текста повести и текстов житий сложнее, чем простое заимствование, реминисценция, параллель, повторение сюжетных ситуаций. Совершенно очевидно, что в каждом «шаге» сюжета, где прозрачна эта традиция, видны явные отклонения, трансформация, сознательное ее нарушение. Например, Гоголь называет день рождения Башмачкина — 23 марта, что не было принято в житийной литературе, и не может «вспомнить» день его смерти. Обычно в житии указывался день памяти, как правило, совпадающий с днем смерти, чего нет в повести Гоголя. Дав характеристику родителям героя («матушка, чиновница и очень хорошая женщина» — 3, 142), наградив его при крещении этимологическим именем Акакий (кроткий, незлобивый), писатель формально подчеркивает, что новорожденный отмечен особой печатью, особым предназначением, которое, однако, никак не вяжется с житийной традицией: ребенок, родившись, заплакал, «как будто предчувствовал, что будет титулярный советник» (там же). Герой повести не дорожит одеждой, он даже выделен из среды чиновников заношенным капотом, не замечает мирской жизни, неприхотлив в еде, усердно и смиренно трудится, не ища наград, не помышляет о браке, снимает жилье у семидесятилетней старухи, живет праведным отшельником — все это в известной мере дает возможность сближения с житийной традицией, но в отличие от ее традиций герой не выдерживает «аскезы», например морозов, которые заставляют заменить ветхий капот добротной шинелью, герой искушается мирскими развлечениями (пирушка, дама), как бы вступает с шинелью в брак и т. д. — то есть на каждый тезис житийного канона в повести Гоголя как бы дан антитезис,

---

[65] См.: *Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 417; *Дмитриев Л. А.* Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII—XVIII вв. Л., 1973. С. 7.

[66] См.: *Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых... С. 424.

[67] См.: *Эйхенбаум Б. М.* Как сделана «Шинель» Гоголя // О прозе. Л., 1969. С. 316—325 и др.

переворачивающий его содержание. Мало того, все житие титулярного советника «омыто» комической стихией, принципиально невозможной в агиографической литературе.[68]

Но были еще в житийной литературе повести и рассказы о юродивых, в которых был объединен мир смеха и мир благочестивой серьезности, их герой как бы балансирует на рубеже комического и трагического. А. М. Панченко считает, что юродивый — «посредник между культурой народной и культурой традиционной», в нем отразились черты скоромоха, шута и святого мученика. Юродивого узнавали по одежде, неизменно в жар и холод, обычно «обветшалой», «многошвейной», «лоскутной».[69] Гоголь останавливает внимание на одежде своего чиновника. У Башмачкина капот такой, что уже некуда ставить «заплаточку», капот «имел странное устройство: воротник его уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачиванье других частей... Подтачиванье... выходило... мешковато и некрасиво» (3, 147). Неэстетичность — одно из главных признаков юродства: над одеждой юродивых, их внешним видом, их поведением обычно смеется толпа, а подвижники безмолвно переносят поношения и побои. Подобные мотивы есть и в «Шинели»: «Молодые чиновники подсмеивались и острили над ним... сыпали на голову ему бумажки... Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним» (3, 143), вынося глумления со стоической кротостью и смирением. Еще юродивые отличались косноязычием, «детским языком», но если они говорили, то их «высказывания были кратки», как «афористические фразы». Безобразное зрелище поношения юродивых, как отмечает А. М. Панченко, «претендовало на роль зрелища самого душеполезного».[70] В «Шинели» в сцене глумления Башмачкин впервые произносит свою единственную некосноязычную афористическую фразу: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» (3, 143), сыгравшую особую «душеполезную роль», пронзив одного из шутников высоким смыслом: «я брат твой». Наконец юродивые бесстрашно обличали сильных мира сего, были «ходячей мирской совестью» (В. О. Ключевский). Элементы обличения, брани в адрес значительных лиц со стороны кроткого и бесправного есть и в «Шинели», а в финале повести герой является как бы символом, обличающим генерала. Однако при видимом сходстве, которое особенно ощущается в рассказе о капоте и в финале произведения (исключая повествование о «строительстве» новой шинели), повесть Гоголя отличается от агиографической литературы прежде всего точкой зрения автора на мир и на героя. Житийная литература была серьезна и благочестива, она не терпела малейшей иронии даже в отношении к гротескному персонажу трагикомического плана, чего нельзя сказать об отношении к герою автора-повествователя в «Шинели». Вместе с тем, учитывая сходное и несходное, со всей уве-

[68] См.: *Полякова С. В.* Византийские легенды как литературное явление // Византийские легенды. Л., 1972. С. 265.

[69] *Лихачев Д. С., Панченко А. М.* «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976. С. 109, 121.

[70] Там же. С. 112, 122, 123, 143.

ренностью можно утверждать, что видимые черты житийного канона в разных его вариантах — обычного жития, проложного жития, жития юродивого — проясняют в образе Башмачкина дополнительные смыслы, вскрывают еще одну краску в изображении мелкого чиновника.

В глубине жанровой природы «Шинели» можно различить и традицию жанра сакральной пародии, вывертывающего наизнанку канонические. Известны пародии на молитвы, литургии, гимны, псалмы, евангелия, проповеди, жития и т. д. Д. С. Лихачев определяет пародию как изнаночный мир, «антимир», в котором разрушены знаковая система, упорядоченность, где царят «нереальность, непредставимость, алогичность».[71]

Культуре конца XVIII—начала XIX в., европейской и русской, художественный принцип сакральной пародии был хорошо известен. Хотя в новой литературе он трансформировался, претерпел изменения, но «объективная память жанра» (М. М. Бахтин) все же связывала разные концы традиции, иногда едва различимой. В «Шинели» принцип сакральной пародии, перевертывающей житийный канон в антижитийный, различается в превращении бессмертной души кроткого Башмачкина в мертвеца, в воителя, разбойника, творящего над всеми расправу, в превращении мира в антимир, реальности — в фантастику. Одновременное следование житийному канону, трансформация и пародирование его, ориентация на литературу анекдотов позволяют Гоголю особым образом строить характер титулярного советника, а также принципы типизирующих обобщений.

Писатель, представив своего героя как «*одного чиновника*», служащего в «*одном департаменте*», т. е. уподобив его всем чиновникам в любых департаментах, создает вместе с тем образ человека, который отличается от своей чиновничьей среды особым досугом, особым отношением к службе («служил с любовью») (3, 114), не помышляет о чинах и наградах, доволен своим простым уделом. Подчеркнув неслиянность Башмачкина со средой, Гоголь в то же время показывает, что исключительность титулярного советника, поэта-каллиграфа, отмечена «печатью идиотизма» (Н. Г. Чернышевский), автоматизма, механистичности, отсутствием творческого.

В Башмачкине диалектически слились два начала: он чиновник, как все, он же чиновник, не похожий на всех (что, собственно, есть только модификация первого), и он — *вечный* титулярный советник. Герой находится одновременно в двух сферах: бытовой, где над ним «натрунились и наострились вдоволь разные писатели» (3, 142) и чиновники, и внебытовой, где он оказывается вне эмпирической досягаемости, откуда он сам готов поучить своих обидчиков. В нем соединилось конкретно-индивидуальное и всеобщее, социально-определенное, временное и вечное, предметное и теряющее предметные очертания.

Эти взаимопересекающиеся значения придают образу титулярного советника особый объем, в котором эмпирическое углубляется иными смыслами. Замкнутая жизнь героя являет в нем поэта и человека-букву, существую-

---

[71] Там же. С. 17, 47, 50.

щего одновременно в двух разных пространствах: на середине улицы и на середине строки. Уподобленная чиновничьему коллективу, общему стандарту, жизнь героя обнаруживает в нем социально бесправного человека. Но он назван «вечным титулярным советником», т. е. поставлен вне времени, может быть воспринят как некий мифологический персонаж, он пережил всех директоров и начальников, никто не мог сказать, когда он поступил в департамент, «его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове» (3, 143).

Ирония повествователя все же не снимает оттенка некоторой мифологичности, проступившего в образе героя. Тип героя строится здесь посредством устойчивых антиномий, полюсы которых не только предполагают друг друга, но и стремятся к замещению. Башмачкин одновременно и чиновник и «простая муха», обыватель и отшельник, воплощенный во все департаментские нормы, и не от мира сего, свой и чужой в одной и той же социальной среде; пошляк и творец; грешный и святой; разбойник и праведник; воинственный и кроткий; мертвый и живой, поэтический и прозаический, смешной и трагический и т. д. Такая система взаимоотраженных антиномий создает сложный, противоречивый, многогранный, неисчерпаемый образ, не всегда равный конкретной человеческой индивидуальности, в парадоксальном «остранении» выступающий за ее пределы, становясь тем более загадочным, чем шире масштаб ассоциаций автора и читателя.

Именно с помощью этого принципа строится гоголевский психологический анализ, подчеркивающий в существе простейшем общечеловеческое проявление — так здесь действуют законы масштаба и односторонности. Герой дан в бытовом и антибытовом измерении, статическом и динамическом, эмпирическом и вечном. В нем воплощено все, и это *все* может естественно и незаметно превратиться в *ничто*, в безличную неопределенность. Личность Башмачкина граничит с безличностью, и в ней непостижимым образом просвечивает всеобщее, универсальное, когда чиновник не вмещается только в социально-индивидуальный статус, бытовые, конкретно-временные рамки, когда его судьба странным образом единится со всем человечеством («я брат твой» — 3, 144), его несчастье — с несчастьями «царей и повелителей мира» (3, 169).

Автор-повествователь, строя такое обобщение, всякий раз преодолевая инерцию бытового прозаического плана повествования, прорывается к небытовым лирическим откровениям, совершая «скачок» в другую, философскую, сферу, в которой мелкое, пошло-обыденное, комическое вырастает до универсальных, лирико-философских, трагических масштабов, представляя, таким образом, нераздельное целостное бытие, в котором каждая частица наделена всеобщим и даже вселенским смыслом. Несомненно, что этому принципу обобщений и типизации способствовала ориентация повести на различные вышеуказанные жанровые формы. Гоголю удалось

слить взаимозаключающие жанровые структуры — анекдот, житие, сакральную пародию — в неразложимую художественную целостность, породившую стилевую многослойность, неодномерность художественных образов, двойной — комический и трагический — пафос повести. Именно специфика жанра определила структуру повествования, развитие сюжетного действия, соотношение реального, фантастического, символического, развитие характера героя, принципы типизации и обобщения. Специфика жанра предопределила и своеобразие финала «Шинели».

В центре финала одно фантастическое событие: встреча Башмачкина-мертвеца с генералом. Именно к финалу устремляется содержательная энергия повести, и в финале она разряжается: объясняется идея произведения, средоточие его смысла. Ясно еще и то, что финал заключает некую загадку, которую нельзя исчерпать одним толкованием. Это и бросается в глаза в многочисленных работах о «Шинели».

Фантастическое происшествие — сдергивание шинелей на ночных петербургских улицах — писатель подчеркнуто связал с бытом, вызывая у читателя разнообразные аллюзии. В то же время Гоголь «сдвигает» логический смысл бытовых объяснений: уличный грабеж в его повести происходит под видом поисков украденной шинели, полиция по высшему распоряжению призвана изловить «мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его... жесточайшим образом» (3, 170). Т. е. виден алогизм мотивировок: грабеж объяснен законными основаниями собственности, полиция организована на поимку живого мертвеца. Алогизм мотивировок в фантастике финала выступает как художественная закономерность. Кроме того, фантастический эффект здесь достигается и с помощью мифологизации финального действия. В эпилоге повествователь нигде не дает читателю увериться до конца, что мертвец-грабитель именно Башмачкин. Только в одном месте он прямо говорит, что тихая смерть героя не окончит «бедной истории», что суждено Акакию Акакиевичу «несколько дней прожить шумно после своей смерти» (3, 169). Но сказав это, повествователь отстранится от дальнейшего комментирования событий, предпочитая «спрятаться» за говор молвы. Городские слухи — прием, переводящий повествование не только на грань реального и фантастического ((Ю. В. Манн), но главное на грань мифологизации. Миф о мертвеце творит многоликая, неиндивидуализированная толпа: какой-то будочник, какие-то два его товарища, какие-то «деятельные и заботливые люди» (3, 173). Мифологизация финала усиливает фантастический эффект повествования. Более того, она провоцирует его многосмысленность, вызывая ассоциации социального, психологического, бытового характера и у современников Гоголя, и у исследователей его творчества.[72]

[72] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М.; Л., 1956. Т. 9. С. 194; *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. Л., 1985. С. 323—325 и др.

Важно подчеркнуть, что событие в фантастическом эпилоге — зеркальное отражение происходившего в реально-бытовой плоскости повести. Только в реально-бытовой план изображения Гоголь ввел фантастический колорит, а в фантастический эпилог — оттенок конкретной реальности.

Писатель, нарушив пространственные пропорции в описании реально-бытового ночного пейзажа городской окраины, когда Башмачкин в новой шинели возвращается домой после пирушки, добивается особого художественного эффекта. В описании пейзажа этой сцены реально-бытовой план граничит с фантастическим, таит трансцендентное. Городская замкнутость вдруг превращается в безмерное пространство, глухие узкие ночные улицы, где ни души, вдруг сменяются бесконечно открытой площадью: «которая глядела страшною пустынею». Так возникает метафора, как бы «размыкающая» границы этого и того света, когда этот свет странно пересекается с тем: «Вдали бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света» (3, 161). Площадь представляется герою необозримым морем,[73] она — стихия зла и произвола, хаоса — как слепая испытующая судьба. Так реально ощутимый пейзаж приобретает символико-метафорическое значение. Оно усиливается дальнейшим развитием событий: Башмачкин вслепую идет навстречу своей судьбе, какие-то люди, похожие на привидения внезапностью появления и исчезновения, на границе двух миров, снимают с бедного чиновника шинель, равнозначную для него жизни. Оправившись, герой стал звать на помощь, но его голос «не думал долетать до концов площади»: он и не мог быть услышанным «на краю света» (3, 161). За обыденным и частным различается всеобщий смысл: беззащитность и одиночество человека перед равнодушным и слепым произволом. В связи с этим намечается особая интонация, которая уличный пейзаж на городской окраине позволяет воспринять неодномерно: и как обыденное явление, и как нравственное испытание человека бедой, и как насилие, беззаконие, произвол не только бытового, уличного, но и государственного масштаба, а возможно, и высшего промысла.

В эпилоге этот же пейзаж предстает как бы в обратной перспективе, дан в фантастическом плане, но с элементами реально-бытовых указаний на городскую географию — «Кирюшкин переулок», «Калинкин мост», «Обухов мост». Но самому событию — встрече мертвеца со «значительным лицом» — придан особый колорит. В этой встрече ощутимы подхваченные из первой сцены и усиленные в эпилоге мотивы всеобщей беззащитности, всеобщего страха и ужаса, мотивы слепого произвола, преследующего всех, не выбирающего виноватого. Сюжетный параллелизм обеих сцен ограбления подчеркивает не только их взаимоотраженность, но и явственно указывает в финальной сцене на другую степень обобщения события, в которое вовлечен весь чиновничий Петербург с арсеналом иерархических разли-

[73] В русском фольклоре угрожающее море олицетворяет бедствие (см.: *Адрианова-Перетц В. П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1967. С. 45—57.) — и это тоже дополняет едва уловимый мифологический оттенок сцены ограбления.

чий, отраженных в шинелях «на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи и медвежьи шубы» (3, 169).

Шинель как художественный образ именно в финале до конца обнаруживает свой символический смысл: она не только отличает ранг от ранга, она «путает» грань между живым и мертвым, мнимым и сущностным, произволом и возмездием. В борьбе за шинель узнается цена личности, жизни и совести. Особый масштаб обобщений, концентрация иносказаний в каждом образе эпилога, подготовленная всем ходом сюжетного действия, трансформация образа грабителя в мертвеца и привидение, трансформация мотива ограбления — в испытание, произвол, промысел, мифологизация финала, скачкообразный и вместе с тем естественный переход из реально-бытовой в фантастическую плоскость, принципы типизации и специфика жанровой формы — все это придает развязке повести неодномерный, символический смысл.

Столкновение мертвеца — титулярного советника и «значительного лица» происходит в сгущенно-напряженной атмосфере реально-бытового и фантастического, антибытового. Грозное замогильное требование мертвеца вызывает в охваченном ужасом генерале неадекватную чиновному миру реакцию — добровольное «освобождение» от шинели. В финальном действии вновь обнажается «нерв» житийной традиции: иногда святые приходили «поучить» грешников. Священное и земное на момент естественно объединялось: чудо прорывалось в обыденную жизнь.[74]

Фантастическое в финале способствует тому, что социально-бытовую сферу повести в эпилоге пронизывают нравственно-философские смыслы, обогащающие социальную проблематику произведения, придают проблематике универсальное значение. Мотив воскресения влечет равноценный высокий мотив отдачи «долгов наших», которые выступают в виде той же шинели. Именно шинель выступает здесь в примиряющей роли, ею исчерпывается нравственный потенциал каждого героя. В этом символе заключено закономерное и историческое ограничение: бунт Башмачкина свелся к овладению генеральской шинелью, а потрясение «значительного лица» привело к соблюдению мелких этических норм. Принадлежность к миру шинелей мешает обоим героям вочеловечиться. Вот почему высокий нравственно-философский мотив воскресения героев корректируется прозой и бытом, «социофизическим контекстом», трагедия корректируется фарсом. Чудо человечности, чудо преображения только на миг осветило скудную жизнь, вновь соскользнувшую в концовке в абсурд и пошлость.

В финале повести несомненно намечен утопический мотив социальной гармонии, который так и не был воплощен. Если говорить словами Достоевского, не так-то легко осуществляется рай на земле: для этого нужны богатырские и всеобщие усилия. И в этой связи смысл финального дей-

[74] См.: *Давидов А., Данчев Г., Дончева-Понайотова Н., Ковачева П., Ганчева Т.* Житие на Стефан Дечански от Григория Цамблак. София, 1983. С. 132—133; *Гуревич А. Я.* К истории гротеска. «Верх» и «низ» — в средневековой латинской литературе // Изв. АН СССР. Серия яз. и лит., 1975. № 4. С. 324—325.

ствия не может прийти к завершению и остается неисчерпаемым, открытым. Гоголь в полной мере понимал неосуществимость своей идеи в современном обществе, но каждое свое произведение ощущал как борьбу за человеческое в человеке.

Об этом и его последняя, завершающая цикл повесть «Записки сумасшедшего». Фокус ее сосредоточен на границе зыбкого, скользящего, двоящегося, фантастического сознания героя, амплитуда социального положения которого колеблется от петербургского титулярного советника (реальное) до испанского короля (мнимое). Мир Поприщина ограничен пространством Петербурга (жилье на петербургской окраине, департамент, Невский проспект, театр, дом Зверкова и т. д.) и вместе с тем расширен до пределов России («Каспийское море»), всей Европы (Испания, Англия, Франция, Австрия, Германия), целого мира (Китай, Алжир), наконец, вселенной (Луна и ее обитатели). Герой крепкими узами привязан к современности, жизни 1830-х гг., но его время, по замыслу автора, откликается другим историческим эпохам (например, эпохе Филиппа II), его судьба как бы единится с судьбами других исторических героев — реально существовавшими историческими деятелями (А. Меншиков, К. Разумовский, Е. Пугачев),[75] литературными героями (Гамлет, Дон Кихот). Писатель, набирая масштаб обобщения, объемлет весь современный мир с его неустойчивым порядком, вместе с тем углубляя современность историческими аллюзиями аналогичного плана: так здесь проявляется действие законов масштаба и односторонности. Анализ Гоголя происходит как бы одновременно на оси ординат и оси абсцисс, диахронный поддерживается синхронным: видится «бездна пространства», в повседневной социальной жизни просматривается действие вечных законов — общественных и природных. Этот художественный принцип заявлен писателем в сборнике «Арабески», откуда происхождением «Записки сумасшедшего».

Не случайно В. Г. Белинский в «уродливом гротеске», в «карикатуре», «жалкой жизни» «жалкого человека» увидел «бездну поэзии», «бездну философии», достойную «пера Шекспира».[76] В отзыве критика намечено два плана понимания истории и характера Поприщина: в чисто социальном аспекте, частном и конкретном, и в философском, всеобщем. Казалось бы, развивающаяся тема безумия решена писателем в сугубо социальном ракурсе, произросла из чисто социальных причин: приниженный титулярный советник восполнил свое безвестное существование званием «испанского короля», утверждая таким образом свою личность, достоинство, права, защищая им свою амбицию. Но Гоголю понадобилось и другое: подняв своего героя на высоту самосознания посредством чина «испанского короля», раскрыть в Поприщине самоценную личность с естественным желанием счастья, любви, гармонического единения с миром людей и природы. Философский вопрос о человеке, о его месте в мире, о его конфликте со средой, обществом,

---

[75] См.: *Макогоненко Г. П.* «Медный всадник» и «Записки сумасшедшего»: Из истории творческих отношений Гоголя и Пушкина // Вопр. лит. 1979. № 6. С. 103.

[76] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 297.

государством, о соотношении в нем естественных начал и приобретенных под влиянием цивилизации, о сущем и мнимом в личности становится в «Записках сумасшедшего» вопросом вопросов, в решении которого писатель опирается на всемирную философию и литературу прошлого и настоящего. Форма разорванного, фантастического сознания героя позволила автору произвольно и естественно сопрягать события современной действительности и исторической давности, в найденном синтезе создать универсализм обобщений.

Тема безумия героя в «Записках» ассимилировалась с подобной в современной ему литературе — русской и европейской — и в классической.[77] Интересно обратить внимание на то, с кем из писателей Гоголь солидаризируется в принципах художественного воплощения сознания сумасшедшего.

Помешательство Поприщина мотивировано традиционной литературной коллизией: безответной нафантазированной любовью героя. Мотив любви в «Записках» осложняется мотивом честолюбия. Для роли безумца и честолюбца, нового Наполеона, Гоголь выбрал незначительного, убогого, некрасивого, пошлого, пожилого человека, фигуру гротескного несоответствия романтическому герою. В традиционную ситуацию, к которой привык читатель, писатель ввел тип нетрадиционного героя, точно так же как в свое время поступили Шекспир с Гамлетом и Сервантес с Дон Кихотом, поставив их в разрез традиционным представлениям. В мотиве любви, оплодотворенном мотивом безумия, во многом своеобразно и различно решенном в «Записках», в «Гамлете» и в «Дон Кихоте», все же можно уловить ощутимую общность: любовь всех этих героев как бы «театральная», не связанная с обычными отношениями и представлениями. Гамлетово безумие объясняется Полонием в бытовом плане: неразделенной любовью.[78] Клавдий подозревает в нем честолюбивого соперника, претендующего на престол. И оба неправы. Безумие Гамлета — это щит, за которым скрывается и его тайна, и его расследование, и его растерянность, и его решимость — своеобразный способ маскировки, позволяющий герою выявить изнанку действительности.[79] Помешательство Гамлета — помешательство «идейное». Шекспир передает сумасшествие своего героя с помощью алогизмов в речи, включением в бытовой план повествования литературных цитат, пословиц, на первый взгляд не имеющих отношения к теме бытового высказывания, отрывочных, создающих гротесковую иносказательность, которая воспринимается нормативным сознанием как бред, безумие. Подобный принцип построения речи сумасшедшего наблюда-

---

[77] См.: *Тихонравов Н. С.* Примечания редактора и варианты // *Гоголь Н. В.* Соч. М., 1889. Т. 5. С. 610—611; *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма. Т. 2. С. 337; *Гиппиус В. В.* Гоголь. Л., 1924. С. 91—92; *Фридлендер Г. М.* Вопросы реализма в творчестве Гоголя 30-х гг. С. 67 и др.

[78] *Шекспир В.* Гамлет / Пер. М. Вронченко. СПб., 1828. С. 56.

[79] См.: *Пинский Л. Е.* Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1971. С. 135—136.

ется и у Гоголя. Конструкции Гоголя настолько близки шекспировским, что порой ощущаются как своеобразные парафразы, только переведенные в низкий комический план. Гамлет утверждает: «Я помешан только при северо-восточном ветре; когда же он дует с юга, я могу еще отличить сокола от цапли».[80] Поприщин уверен, что помрачнение рассудка связано с мозгом, который «приносится ветром с Каспийского моря» (3, 208). Знаменитая речь Гамлета о черве, «монархе всего съестного»,[81] превращающем в ничто любые честолюбия и претензии, — шедевр иносказательной речи безумца. Вольно или невольно вездесущий «червь безумия» проникает и в текст Гоголя: «Все это честолюбие, и честолюбие от того, что под язычком находится маленький пузырек и в нем небольшой червячок, величиною с булавочную головку» (3, 208).

Интересно и то, что трагический герой Шекспира, надевая на себя маску безумца, выступает в роли шута, тем самым сближаясь с комическими персонажами, в особенности «со страдающими меланхолией» из-за «любви к женщине», как отмечает Л. Е. Пинский.[82] Гоголь, чуткий к любому проявлению комизма, не мог не заметить этого в шекспировском Гамлете. Более того, его не могла не привлечь мысль о том, что принц в маске безумца-шута провидит сущность явлений. В «Записках» жалкий и недалекий Поприщин в роли «испанского короля» (своеобразной маске безумного) обнажает скрытый смысл социальности, поднимается до трагического пафоса. Намеченные здесь едва уловимые нити этого, казалось бы, неожиданного сближения, подкрепляются и прямой цитатой из «Гамлета», правда, пародийно преобразованной в «Записках»: «Ничего, молчание!» (3, 199).

Также легко вспоминается сцена обряда посвящения в рыцари из «Дон Кихота» при чтении сцены «вступления в высокое звание» (3, 211), о чем подробнее сказано в комментарии. Еще Белинский подмечал в Гоголе особый дар «соединять серьезное и смешное, ничтожность и пошлость жизни во всем, что есть в ней великого и прекрасного, подобно тому, как сделал это Сервантес в „Дон Кихоте"».[83] Сам Гоголь ощущал родственность своего таланта с сервантесовским. Однажды писатель заметил В. Ф. Одоевскому, давая характеристику Хлестакову, что его герой «фантазер, хоть и в мелкой низкой сфере, но фантазер, — и вся беда в том, что у него, как у Дон Кихота, нет царя в голове».[84] Авторское объединение Хлестакова и Дон Кихота как героев «без царя в голове», фантазеров и неожиданно и закономерно.

Включая в «Записки» цитату из «Дон Кихота», Гоголь привлекает внимание читателя, заставляя сблизить Поприщина и Дон Кихота, двух безумцев. О мономании Поприщина можно было бы сказать словами одного

---

[80] *Шекспир В.* Гамлет. С. 68.
[81] Там же. С. 127.
[82] *Пинский Л. Е.* Шекспир. С. 130.
[83] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 244.
[84] См.: *Сахаров В. И.* Движущаяся эстетика. Литературно-эстетические воззрения В. Ф. Одоевского // Контекст, 1981. М., 1982. С. 208.

из героев романа Сервантеса как о «здравомыслии сумасшедшего или сумасшествии, переходящем в здравомыслие»,[85] относящихся к Рыцарю Печального Образа. Намечены и другие сюжетные переклички обоих произведений: мотив безумия, мотив культа дамы, мотив нафантазированного «путешествия» на Луну, книжного и «газетного» представления о мире, мотив утопического равенства и т. д. Важнее всего, однако, главный, объединяющий принцип изображения сознания героев: сознание Дон Кихота являет *«целостный образ мира»*[86] — так же, как сознание Поприщина.

Сервантесовский Дон Кихот так же, как и шекспировский Гамлет, оказывается в трагикомическом положении вследствие несовместимости со своим временем. Их безумие — способ сохранить свою личность в условиях неизбежного столкновения со своей эпохой, они гибнут под ее бременем, теряя иллюзии (Дон Кихот) или не имея их (Гамлет). Философский конфликт личности, когда человек «сам создает свою судьбу»,[87] с миром цивилизации, особенно обостряющийся социально-нравственными противоречиями в переходные эпохи, переосмыслен Гоголем в «Записках».

Поприщин — не философ, не сильная личность, не противостоящий среде персонаж. Его безумие порождено средой, отражает среду, приобретает форму, продиктованную средой. Гоголевский конфликт не конфликт идеального героя с меркантильной средой, а конфликт сущностного и мнимого, разлада содержания и формы в человеческом сознании и в личности. Конфликт Поприщина — гоголевский спор с романтической схемой конфликта героя-индивидуалиста с пошлой средой, конфликта, в самых общих чертах схожего с конфликтом Шекспира и Сервантеса, авторов, поднятых в романтическую эпоху на высоту пророков, а их героев — Гамлета и Дон Кихота — на высоту общечеловеческих символов. Вместе с тем содержание конфликта «Записок» как бы «собирает» энергию философских размышлений о человеке и его отношениях с миром, высказанных в разные эпохи — Возрождения, Просвещения, Романтизма.

Принцип художественного построения фантастического сознания Поприщина, истоки которого можно увидеть в «Гамлете» и «Дон Кихоте», перекличка сюжетных мотивов этих произведений, использование из них открытых цитат, общая трагикомическая природа образа безумца — все эти особенности поэтики показывают, что Гоголь в своей повести придал теме безумия универсальный характер. Но в столкновении безумца с миром цивилизации он выявляет иное философское содержание, чем Шекспир, Сервантес и романтики, — в духе новомодных современных утопических идей.

В речи и поведении безумного «короля» у Гоголя за двусмысленностью, иносказательностью повествования угадываются различные отрывки, фрагменты философских идей — из истории и современности. Характерно, что

---

[85] *Сервантес М.* Собр. соч.: В 5-ти т. М., 1961. Т. 2. С. 144.

[86] *Бочаров С. Г.* О композиции «Дон Кихота» // Сервантес и всемирная литература. М., 1969. С. 87.

[87] *Пинский Л. Е.* Реализм эпохи Возрождения. М., 1961. С. 335.

писатель, устремляясь в историю и ища ей аналогии, отклики в своем времени, выделяет в философской мысли, высказанной в разные исторические эпохи, нечто общее, некую генеральную, связующую их идею. Поприщин, взыскующий человека, в чине «испанского короля» должен олицетворить оный образ на троне. И Гамлет завещал Фортинбрасу:

Коль примешь скипетр, то будь на троне человек.
Лишь добродетелью властители велики.[88]

Просветители усвоили эту истину Возрождения и в другой, XVIII в., проповедовали идею просвещенного, добродетельного монарха. В «Записках» на идею просвещенного монарха указывают мотив прозрения Поприщина-короля («вижу все как на ладони» — 3, 208), что уже подтверждено научными исследованиями,[89] а также тип либерального парламентского правления при «испанском короле» (об этоv говорит образ «канцлера»), идея нравственного равенства высших и низших членов общества, идея «естественного человека» — в духе мыслей Ж.-Ж. Руссо («у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как у всякого» — 3, 206; или: «Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека; я требую пищи, той которая бы питала и услаждала мою душу» — 3, 204). В России Карамзин, отстаивая просветительские позиции, «примеривал» их на политику Александра I.[90] Эти идеи по-разному варьируются и у романтика Шиллера в «Дон Карлосе». Инфант в связи с восстанием в Брабанте просит назначить его наместником во Фландрию. Филипп II говорит: «На эту должность мужчина нужен, а не мальчик». Карлос его поправляет: «Нужен лишь человек, отец, а человеком вовеки герцог Альба не бывал».[91] О человечности, о долге монарха на троне говорит и маркиз Поза, «гражданин грядущих поколений», рисуя картину социальной гармонии, во главе которой стоит мудрый монарх, подаривший подданным достоинство граждан, самоценность личности, свободу самоопределения.[92] Идеи романтика Шиллера, высказанные в «Дон Карлосе» (в 30-е гг.[93] драма не сходила с Александринской сцены), в самом общем виде отразились в «Записках»: в мотиве «испанского короля», в появлении имени Филиппа II, в мотивах борьбы за престол Дон Карлоса, перекликающих события современности и истории, в фантазиях Поприщина — «испанского короля», правителя мудрого и гуманного — иного, чем Филипп II, защищающего слабого, суверенность личности — в пределах всего мира и даже вселенной, в духе проповеди маркиза Позы. Вместе с тем мотив просвещенного монарха как бы «скользит», обнаруживая связь одновременно и

[88] Гамлет, трагедия в 5 действиях, в стихах, для Российского театра обработанная С. Висковатовым. СПб., 1846. С. 20.
[89] См.: *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. С. 148.
[90] См.: *Карамзин Н. М.* Соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 233—234.
[91] *Шиллер И. Х. Ф.* Соч. Л., 1937. Т. 3. С. 58.
[92] Там же. С. 150; 153—155.
[93] См.: *Вольф А. И.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 г. СПб., 1877. Ч. 1. С. 28.

с «Гамлетом», и с идеями просветителей, и с «Дон Карлосом», наращивая свою многосмысленность.

В «Записках» просветительские декларации Поприщина подтверждаются действием: «испанский король» намерен спасти племя носов, живущих на Луне. Это иносказание в «бреде» героя Г. П. Макогоненко совершенно справедливо соотносит и с фантастикой «открытых» Гершелем «трех родов луножителей», к которым по аналогии может примкнуть и четвертый — «человекообразные носы», и с фантастической утопией Шарля Фурье, «согласно которой люди должны переселяться на различные небесные тела, где они обретут блаженство жизни».[94]

Впервые Фурье высказал мысль о социальном равенстве как основе социальной гармонии в своей космогонии «Теория четырех движений и всеобщих судеб». Эту книгу критика осыпала злыми насмешками. Прудон считал идею Фурье самой крупной мистификацией века. Дюринг называл его «детская головка», «идиот», говорил, что он «обнаружил все элементы безумия... идеи, которые можно встретить скорее всего в сумасшедшем доме... самые дикие бредни», которые «представляют богатый материал для психиатров», настаивал, что во всем фурьеризме «истина представляет только первый слог (fou — сумасшедший), а кто не согласен с этим, то должен быть сам зачислен в какую-нибудь категорию идиотов».[95] Обвинения в безумии подтверждались высказываниями Фурье о совокуплении светил, о появлении новых земных спутников, способных изменить климат, повлиять на сознание социальной земной гармонии. Современники издевались над косноязычием Фурье, системой его изложения, которую он называл «рассеянным порядком», лишенном последовательности и логики, смеялись над обозначением глаз в книге — «прямой стержень», «обратный стержень», над оформлением, над принципом помет страниц, использованием шрифта. Этот стиль сам Фурье называл «переодеванием».[96] Философ придумал символический язык знаков: «иероглиф» жирафа означал истину, слона — первобытное общество, куколки бабочки — «гнусную цивилизацию», павлина — гармонию.[97] Способ выражения идей, использованный социалистом-утопистом, напоминал литературную фантастику.

Е. Н. Купреянова предполагает, что Гоголь «был знаком с фурьеристскими газетами 30-40-х гг.... фурьеристской эстетикой...», проявление чего исследователь видит в аналитическом изображении власти материального мира над «страстями людей в „Мертвых душах“».[98] К этой мысли необходимо отнестись внимательно. В «Записках» утопия Фурье гротескно воспроизведена не только в мотиве сбежавших на Луну

---

[94] *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. С. 161.

[95] *Зильберфарб И. И.* Социальная философия Шарля Фурье и ее место в истории социалистической мысли первой половины XIX в. М., 1964. С. 72.

[96] *Фурье Ш.* Избр. соч.: В 3 т. М., 1938. Т. 1. С. 296.

[97] Там же. С. 274—275.

[98] *Купреянова Е. Н.* Идеи социализма в русской литературе 30—40-х гг. // Идеи социализма в русской классической литературе. Л., 1969. С. 120.

носов, обретших там равенство. Бред «безумного» Фурье о всеобщей гармонии (его великое открытие), выраженное иносказательным языком с помощью символических иероглифов, аналогично проявляется в бреде Поприщина, вознагражденного за свои страдания открытием: «...я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями» (3, 213). В рукописи сказано еще определеннее: «...под перьями возле хвоста» (3, 571). Поприщинский «петух», у которого под перьями возле хвоста — Испания (иносказательно: благодатная, райская земля), парадоксально перекликается с фурьеристским «павлином», хвостовое оперение которого означает на языке философа социальное строение, а весь образ олицетворяет всемирную гармонию. Если учесть, что титулярный советник в звании «испанского короля» искал истину о самом себе, гармонию с самим собой, то его нелепая, абсурдная, свидетельствующая о сумасшествии фраза, вырванная из какого-то неведомого контекста, иносказательно намекает на особое состояние героя, постигшего истину, простую и великую, истину о гармонии. В графическом оформлении записей Поприщина можно подозревать еще одно сближение. Фантасмагория беспорядочно употребленных букв и цифр: «Чи 34 сло Мц, гдао qvɐdʚǝф 349» напоминает «сарабанду» стоячих, лежачих и перевернутых вверх ногами «X» и «Y» у Фурье. Более того, ритм изменяющихся дат в повести свидетельствует не только об эволюции безумия героя, но иллюстрирует иной временнóй счет, не известный на земле, космический смысл которого подкрепляется образом взлетающей над всем миром тройки.

По замыслу писателя (хотя никаких фактов и документов в пользу того, что Гоголь все это знал из Фурье, нет, а есть только художественный текст, который становится посредником между автором и его эпохой), в образе Поприщина, в его высказываниях, в его записях контурно проступают идеи современного философа-«безумца», который верил, что «предел страданий должен привести к спасительному кризису... что природа делает усилие, чтобы стряхнуть бремя, которое ее гнетет».[99] Несомненно одно: ассоциации с философскими идеями Фурье углубляют в «Записках» содержание образа Поприщина. Утверждающий себя, не согласившийся со своим местом-«нулем», ограничивающим его как титулярного советника, бросивший вызов разумным представлениям, гоголевский герой-мечтатель беззащитен в своем страдании и в своих иллюзиях.

Утопическая идея о гармонии, в современности Гоголя облеченная в формулы Фурье, мечтателя и фантаста, — идея общечеловеческая, в глубине веков сливается с идеей «золотого века», которую проповедовали многие, в том числе и Дон Кихот Сервантеса. Так получилось, что в России Фурье назвали Дон Кихотом нового времени,[100] т. е. увидели в них некую общность, ощутили их глубинное родство. Считать, что и Гоголь

---

[99] *Зильберфарб И. И.* Социальная философия Шарля Фурье... С. 85.
[100] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч.: В 28 т. М.; Л., 1964. Т. 8. С. 189.

так же понимал личность Фурье, нет никаких оснований. Однако писатель по свойству своего таланта не мог не заметить «общую точку» в старой и новой утопической идее — идеи о равенстве и гармонии, о цельности в природе, обществе, человеке, о взаимоотраженности естественных начал жизни.

В финале «Записок» писатель соединяет Поприщина как маленькую частицу с миром природы и со всей вселенной, и в ответ природа и вселенная награждает героя человечностью, что тоже характерно для идей Фурье. Атмосфера финала: «темные деревья», «месяц», «звездочка», «клубящийся туман», «струна, звенящая в тумане», «море», «родина», «мать» — атмосфера первоосновы человеческой жизни, в которой пробуждается и распрямляется в герое его живая душа. Впервые он говорит ясным незамутненным языком, свободным от канцелярских штампов и понятий социальной иерархичности. «Цивилизованный» язык причудливых цитат из газет и журналов, анекдотов и философий, литературы и истории, нестройно смешавшийся в речи безумца, на котором видна печать иронии, вдруг заменяется народнопоэтическим языком, похожим на песню, говорящую о главных общечеловеческих мерах жизни: о доме, матери, родине, мире, красоте. Страдающий герой, прорвавшийся в финальном действии к самому себе, к своей первозданной человеческой сущности, тем самым сливается и с миром природы и с миром народным.

Образ Поприщина в сюжетном движении, претерпевая превращения из титулярного советника в «испанского короля», а затем в человека, как бы преодолевает инерцию социальной сословности, ограниченности средой. Условия типизации в данном случае таковы, что служат созданию общенациональной и даже общечеловеческой сущности. В финале просветление Поприщина, его прорыв к истине передает трагическое ощущение мира всяким человеком. В этой связи закономерно фокусируя всемирные события в сознании своего героя, ориентируя его образ на универсальные и полярные образы-символы Гамлета и Дон Кихота, проецируя свою оценку человека на разные философские оценки человеческой личности гуманистов, просветителей, утопистов — в прошлом и настоящем, писатель таким образом добивался высокой степени обобщения смыслов своего произведения, ни в коем случае не упуская его актуального значения. Понятно, что образ Поприщина при таком художественном построении перерастает границы социального типа, наращивая потенциал своей универсальности.

В повести нет образов-двойников, взаимоотражением увеличивающих спектр значений каждого («Невский проспект», «Нос»), нет «второго сюжета», вырабатывающего символическую энергию («Портрет»), нет прямой фантастики, провоцирующей символическую многосмысленность («Шинель»), нет образов-символов, определяющих масштабы обобщений в художественной системе Гоголя. Историю Поприщина можно воспринять в сугубо эмпирическом плане — как историю психической болезни, показанной в развитии, и удивляться тому, как писатель точен в постановке медицинского диагноза, можно в алогизмах и парадоксах поприщинской речи увидеть только алогизмы и парадоксы, подчеркивающие патологи-

ческие отклонения от здравого смысла. Однако алогизм как прием в художественном произведении (иносказательный, двусмысленный) многофункционален по своей природе. В повествовании с помощью двоящейся его сущности намечаются особые отношения, исключающие одноплановость восприятия и толкования: алогизм всегда утаивает некий второй, третий, четвертый и т. д. — ускользающий, а иногда мифологический смысл. В «Записках» принцип алогизма действует в слове, в синтаксической конструкции, в построении мотива и образа, в построении сознания героя, всей атмосферы жизни, поражающей своей нефантастической фантастичностью. Алогизм рождается на стыке логических понятий и уводит в глубину гротеска и абсурда — за пределы логических связей, а это, в свою очередь, активизирует авторские и читательские ассоциации. В этой связи образ Поприщина, «жалкого человека», вопреки логическим законам, уподобляется образу могущественного либерального монарха с просветительскими воззрениями и образам Гамлета и Дон Кихота, его «открытия» соотносятся с открытиями Гершеля и Фурье. Ассоциативные смыслы углубляют и универсализируют его, лишая односторонности и чисто эмпирической значимости. Законы типизации имеют в «Записках» то же действие, что и во всем цикле: обобщая конкретное явление социальной жизни, обнаруживают его связь с глубинной перспективой прошлого и будущего, что способствует его символизации.

Тенденция к универсальным символическим обобщениям проявляется на всем ходе сюжетного действия: она намечается, например, в построении фантастического сознания героя, в алогичности, двойственности повествовательной структуры, наконец, в построении открытого финала.

Гоголь принципиально, как и в других повестях, не дает однозначного ответа в концовке «Записок»: гигантское просветление Поприщина обрывается окончательным помрачением рассудка, вопль о спасении глохнет в безысходности, мечта о гармонии трагически граничит с безумием, мотив бегства с «этого света» оборачивается смертью. Финальный мотив дороги, не имеющей конца, уводящей ввысь и вдаль, дороги, соединяющей мир бренный и вечный, ширит пространство повести, способствует появлению мифопоэтических аллюзий,[101] препятствует последним итогам произведения, «открывает» его. В финале писатель достигает высокой степени обобщения, и это выражается в слиянии авторского голоса с голосом героя,[102] даже с голосом народа,[103] в появлении особого лиризма, скрепляющего союз голосов и содействующего не только универсализации, но, следует добавить, и символизации финала. В «Записках» впервые в творчестве Гоголя появляется образ тройки как «символ скрытой энергии

---

[101] О мифологии путешествия в Италию как воплощении всеобщего устремления: *Топоров В. Н.* Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 267.

[102] См.: *Блок А. А.* Полн. собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С 377.

[103] См.: *Канунова Ф. З.* Некоторые особенности реализма Гоголя. Томск, 1962. С. 99—100.

национального духа», который найдет продолжение и вполне раскроется в «Мертвых душах».[104]

Содержание ««Записок»» авторской волей устремлено за пределы конкретного времени. Диапазон ассоциаций, извлекаемый писателем из истории, философии, литературы, быта, причудливо, по поэтическому принципу арабесок, смешавшим их в сознании героя, чрезвычайно широк, но и избирателен: связан с идеями преобразования общественной жизни и преобразования личности, с мечтой о гармонии, о социальном равенстве, о золотом веке. Эти идеи и обращают повесть из настоящего в прошлое и будущее одновременно. История о Поприщине, таким образом, освящена общечеловеческим опытом — и позитивным и негативным: устремлением к всеобщему счастью и решительной невозможностью его воплощения в реальности, трагической несостоятельностью самых гуманных идей, в современности Гоголя назначенными быть прекрасными иллюзиями.

Краткий финальный миг прозрения, к которому с огромным напряжением пробивалось сознание героя, преодолевшее наконец предрассудки времени, обрывается окончательным безумием. Предсмертный, пронзающий вопль Поприщина заставляет читателя думать одинаково напряженно о благих идеях человечества и о несовершенстве жизни, о трагической судьбе человека и его беззащитности, о высокой, смертоносной цене за прозрение истины и об иллюзиях мечтателей, чьи колоссальные усилия, направленные на преобразование жизни, глохнут в косности, равнодушии и неверии в безумном мире, считающем себя здоровым и разумным. «Записки» Гоголя не оставляют никакой примиряющей надежды: здесь нет намеков на воскресение и возрождение, здесь нет поучительного урока, изобличающего порок, здесь нет одухотворяющей веры в силу разума, красоты и искусства. Это повесть о трагическом, катастрофическом состоянии мира, у которого отняты последние проблески сознания. Гоголь закончил свой цикл повестью, ставшей приговором миру Петербурга. Не случайно Герцен понимал писателя как «бессознательного революционера», который своими сочинениями оказывал такой род влияния на русское общество «независимо от собственной воли и неожиданно для своего сознания».[105]

Смысл «Записок» не сводим к одной доминирующей, все подчиняющей и объясняющей идее. Автор пробуждает пытливую мысль читателя, не давая последнему остановиться на окончательном решении. Гоголь стремится здесь, как и во всем цикле, выразить свою мысль о человеке, и мысль универсальную, которая бы откликалась истории, волновала бы его современников и уходила бы в будущее, тревожа читателя неразрешимостью поставленных вопросов и стремлением ответить на них.

Эта книга посвящается памяти Г. П. Макогоненко, которому принадлежит идея ее создания. Автор сердечно благодарен Учителю за уроки.

---

[104] *Купреянова Е. Н.* «Мертвые души» Гоголя (замысел и воплощение) // Рус. лит., 1971. № 3. С. 63.

[105] *Леонтьев К.* Страницы воспоминаний. СПб., 1922. С. 27.

Примечания

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

а) Печатные

Ар — Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835

С — Современник. 1836. Т. 3. «Нос».

С — Современник. 1842. № 3. «Портрет».

П — Сочинения Николая Гоголя. СПб., 1842. Т. 3 (изданное Н. М. Прокоповичем).

Тр — Сочинения Гоголя. М., 1855. Т. 3 (изданное Н. П. Трушковским).

АП — *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1938. Т. 3.

б) Рукописные

РМ3 — «Повесть о чиновнике, крадущем шинели» (почерком М. П. Погодина с поправками Гоголя), из бумаг А. А. Иванова. — Российская государственная библиотека (РГБ) в Москве, картон 2205.

РМ4 — Записная книга Гоголя, принадлежащая Аксакову, — РГБ, № 3231. С. 49—50, 51—70, 165—172, 182—199.

РМ5 — Десять отрывков (автографы) из бумаг А. А. Иванова. — РГБ, картон 2205 (повесть «Шинель»).

РЛ1 — черновой набросок начала повести «Нос» из записной тетради, принадлежавшей И. С. Аксакову, — Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге (бывшая Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) — РНБ.

РЛ2 — автограф повести «Нос» из древлехранилища М. П. Погодина на семи страницах листового формата — РНБ. Занимает первый лист в переплете.

РЛ3 — Беловой автограф начала повести «Нос», переплетенный с предыдущим автографом, — РНБ. Занимает первый лист в переплете.

РЛ4 — Отрывки из бумаг А. А. Иванова — РНБ. Черновые наброски повести «Портрет» (вторая редакция); четыре отрывка (автографы) повести «Шинель», близкие к печатной редакции.

РК2 — Беловой автограф второй редакции повести «Портрет» — Библиотека Украинской академии наук в Киеве (БУАН).

Три повести — «Невский проспект», «Портрет» (1-я редакция), «Записки сумасшедшего» — вошли в состав сборника «Арабески», опубликованного в конце января 1835 г. Установлено, что две первые из них были написаны в 1831—1832 гг. Гоголь связывал обе повести с замыслом так и не созданной книги о петербургских художниках, скульпторах и музыкантах

«Лунный свет». Когда возникла идея альманаха «Тройчатка» (участники — Пушкин, В. Ф. Одоевский, Гоголь), в «третий этаж» предназначались или «Невский проспект», или «Портрет» (см.: *Фомичев С. А.* Неосуществленный замысел альманаха «Тройчатка» и повести Пушкина «Пиковая дама» // Альманах библиофила. М., 1987. Вып. 23. С. 132—133). Позднее (август—октябрь 1834) в перечне статей «Арабесок» упоминаются «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего музыканта» — будущая повесть «Записки сумасшедшего» (там же), завершенная к ноябрю 1834 г.

«Невский проспект» и «Портрет» тесно перекликаются с рядом статей «Арабесок» по вопросам искусства, например, со статьями «Скульптура, живопись и музыка», «Несколько слов о Пушкине», «Об архитектуре нынешнего времени», «Последний день Помпеи» и другими. Повесть о чиновнике «Записки сумасшедшего» в меньшей степени вписывается в размышления по эстетическим проблемам, чем «Портрет», помещенный в первую часть сборника, и «Невский проспект», поставленный на третье место во второй части. В этой связи понятно, почему «Записки сумасшедшего» Гоголь поместил на последнее место в «Арабесках»: не только подчеркивая этим родство трех повестей между собой «в смысле историко-литературной их биографии» (3, 638), но и следуя уже сложившемуся в его творчестве правилу заключать цикл повестью, выполнявшей своеобразную «переходную» функцию к новому творческому этапу, как, например, повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» в цикле «Вечеров» (см.: *Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 33). Совершенно очевидно, что все три повести связаны общим петербургским колоритом, а в последней намечается новый поворот петербургской темы — чиновничий Петербург, которая и получит дальнейшее развитие в повести «Нос», созданной почти одновременно с ними.

Две из пяти петербургских повестей — «Портрет» и «Нос» — были существенно переделаны. Их вторые редакции создавались в 1841—1842 гг. в одно время с повестью «Шинель»: «Портрет» появился в третьем номере «Современника» Плетнева за 1842 г., повести «Нос» и «Шинель» — в третьем томе первого собрания сочинения Гоголя (1842).

При подготовке первого собрания сочинений Гоголь оставил без изменений состав первых двух циклов — «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». «Арабески» как цикл не были включены в это издание, но две повести из них — «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего» — вошли в третий том первого собрания сочинений вместе с другими повестями. Их писатель расположил в следующем порядке: «Невский проспект», «Нос» (2-я редакция), «Портрет» (2-я редакция), «Шинель», «Записки сумасшедшего», «Рим». Совершенно очевидно, что «Коляска» и «Рим» не могли войти ни в какой другой том первого собрания сочинений, кроме третьего. Еще В. Л. Комарович справедливо заметил, что Гоголь придал повестям этого тома характер цикла, так же как «Вечерам» и «Миргороду» (3, 635), а Г. А. Гуковский объяснил, почему повести «Коляска» и «Рим» оказались в соседстве с «петербургскими»: они оттеняют смысл центральных произведений цикла, играя определенную композиционную роль (*Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. С. 238—242). Очевидно и то, что эти две повести не составляют идейно-тематическое единство с другими и не они определяют тему третьего тома. Именно повести, раскрывающие образ Петербурга как своеобразного мира, со своей социально-политической структурой, своим бытом, придают третьему тому вид цикла: петербургская тема формирует новый цикл — петербургских повестей.

Редактором первого собрания сочинений был Н. Я. Прокопович, которого сам Гоголь уполномочил делать необходимые исправления (см.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 102, 108, 113, 120). Поправки в третьем томе немногочисленны и носят стилистический характер. Цензурное разрешение его датировано 15 сентября 1842 г. и подписано цензором А. В. Никитенко; именно третий том (особенно повесть «Шинель», о чем далее) чуть не навлек запрещение на все издание в целом (см.: *Сухомлинов М. И.* Появление в печати сочинений Гоголя // Исследования по русской литературе и просвещению. СПб., 1889. Т. 2. С. 319—320).

Гоголь вернулся к текстам петербургских повестей в 1851 г., когда подготавливалось второе издание сочинений. Оно вышло в 1855 г., после смерти писателя, под редакцией Н. П. Трушковского. Правка Гоголем третьего тома, куда вошли петербургские повести, оборвалась, по свидетельству Трушковского, на «тринадцатом листе», на странице, оканчивающейся словами: «фарфоровой вызолоченной чаш <ки>» («Записки сумасшедшего»). Таким образом, в 1851 г. Гоголь прочитал корректуру (к сожалению, несохранившуюся) «Невского проспекта», «Носа», «Портрета», «Шинели» и начало «Записок сумасшедшего».

За основу в настоящем издании взят первоначальный текст как свободный от посторонних поправок. «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего» печатаются по «Арабескам», «Шинель» — по первому собранию сочинений; «Нос» и «Портрет» даются в поздних редакциях, появившихся впервые в первом собрании сочинений и в «Современнике». Поправки Н. Я. Прокоповича или Н. П. Трушковского учитываются лишь в том случае, если они соответствуют варианту рукописи, или тогда, когда издатели выправляли дефекты первопечатного текста. В основной текст тот или иной вариант из рукописи вносится в исключительных случаях, когда видна явная опечатка или описка. Лишь там, где цензурный вычерк до поступления рукописи в набор был заменен автором иным текстом (например, в повести «Нос»: «Казанский собор» — «Гостиным двором» и др.), рукописный вариант восстанавливается. В тех случаях, когда отличие печатного варианта от рукописного (как в «Шинели») не поддается анализу, а цензурные пропуски восстановлению, вариант рукописи печатается в разделе «Другие редакции и варианты».

В разделе «Другие редакции и варианты» представлены все тексты из рукописей и авторизованных изданий: «Невский проспект» — черновая рукопись с ее вариантами; повесть «Нос» — первоначальный набросок, первая полная редакция и эпилог, опубликованный в «Современнике»; «Портрет» — первая редакция; «Шинель» — в вариантах рукописи. Постраничные комментарии к этим редакциям не даются. В вариантах сохраняется написание первопечатных изданий и рукописи, например: «однакоже», «тихонькой», «дожжик», «чорт», «итти» и т. п.

В разделе также печатаются «отрывки» как первоначальные редакции повестей «Страшная рука», «Фонарь умирал», «Дождь был продолжительный».

В настоящем издании тексты повестей печатаются по современным грамматическим нормам с сохранением написания слов, выполняющих роль индивидуализированной речи персонажей, например: «сударь», «на ладоне», «говорящею» (вместо: говорящую), или передающих колорит исторической эпохи, например: «конфекты» и т. д. К основным текстам приложены постраничные комментарии.

Невский проспект

Рукопись «Невского проспекта» хранится в Российской государственной библиотеке ($РМ_4$). С нее и начинается литературная история повести. Здесь «Невский проспект» занимает 51—70 страницы без перерыва. В рукописи повесть еще не имеет заглавия и кончается на с. 69. На с. 70 помещена вставка: «Вы воображаете... главная ошибка Лафайета». Последние две страницы вырезаны из повести. Н. С. Тихонравов считает, что Гоголь заканчивал работу над нею в 1833—начале 1834 г., аргументируя тем, что в начале мая 1833 г. на Невском проспекте началось строительство лютеранской церкви, упоминание о которой содержится в повести (см.: *Гоголь Н. В.* Соч.: 10-е изд. М., 1889. Т. 2. С. 591). По рукописи можно увидеть и то, что «Портрет» был начат раньше «Невского проспекта». Написав две страницы его текста, Гоголь перешел к работе над второй повестью, но, не окончив ее, вернулся к первой (см. подробнее: там же. Т. 3. С. 636).

Текст рукописи отличается от текста «Арабесок», во-первых, творческими изменениями, во-вторых, поправками цензурного характера, в-третьих, композиционными исправлениями (перестановка абзацев, отрывков), в-четвертых, исправлениями синтаксического характера; в-пятых, уточнением лексико-поэтических значений и т. п.

Настоящее издание воспроизводит текст «Арабесок» (Ар) с учетом незначительных поправок, сделанных в изданиях собраний сочинений 1842 г. (П) и 1855 г. (Тр), в которых исправлены орфографические погрешности и описки текста «Арабесок».

Несмотря на то что беловой автограф «Невского проспекта» не сохранился, можно предположить, что Пушкин читал повесть в рукописи, уже подготовленной к печати, и в ответной записке к Гоголю (см.: П. 10, 518) особо упомянул о сцене секуции, которая в данном памятнике восстановлена по варианту черновой редакции. Впервые этот подцензурный эпизод устранен в академическом издании 1938 г. (далее — АП), как и фраза: «Если же главный штаб определит недостаточное наказание, тогда прямо в государственный совет, а не то самому государю», которая тоже печатается по рукописи.

Установлено, что Гоголь работал над повестью с 1831 по 1834 г. включительно. Предположительно, отрывки «Страшная рука», «Фонарь умирал» — первые пробы писателя в петербургской теме. Их исследователи связывают с «Невским проспектом», в них видят начало работы писателя над первой петербургской повестью.

Очевидно, что в своем художественном поиске Гоголь отталкивался и от фантастической повести, и от романа «ужасов», и от «готической новеллы», и от бытового городского очерка. Писатель учитывал и опыт Гофмана («Повелитель блох»), и опыт Ж. Жанена («Мертвый осел и гильотинированная женщина», «Мелкие профессии», «Асмодей»), и опыт В. Ф. Одоевского («Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту»), пропитывая мотивами их произведений свой сюжет, но вместе с тем не поддаваясь влиянию литературного авторитета своих предшественников. Гоголь, используя приемы французской неистовой школы (в первую очередь Ж. Жанена), сюжетные мотивы фантастической повести Гофмана, Э. По, В. Ф. Одоевского и других, развернул художественное действие «Невского проспекта» в реалистическом плане, стремясь увидеть «необычное в обыденном» (о литературных параллелях см.: *Чудаков Г. И.* Отношение творчества Гоголя к западноевропейским литературам. Киев, 1908. С. 101—103; *Виноградов В. В.* 1) О литературной циклизации по поводу «Невского проспекта» Гоголя и «Исповеди опиофага» Де Квинси // Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. М., 1976; 2) Романтический натурализм. Жюль Жанен и Гоголь // Там же. С. 96—97; *Манн Ю. В.* Образ художника в повести Гоголя «Невский проспект» // Н. В. Гоголь. М., 1954. С. 175—178; *Степанов Н. Л.* Романтический мир Гоголя // К истории русского романтизма. М., 1973; *Николюкин Н. А.* К типологии романтической повести // Там же; *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. Л., 1985. С. 118—134, и др.

Новаторство Гоголя-художника в «Невском проспекте» сразу было замечено современниками — Пушкиным (П. 7, 345) и Белинским (Полн. собр. соч. М.; Л., Т. 1. С. 296—297).

[1] *Морская ул.* — от Дворцовой площади до набережной Крюкова канала; *Гороховая ул.*; *Мещанская* (ул. Гражданская) — от набережной Екатерининского канала (кан. Грибоедова) до Вознесенского проспекта.

[2] *На Песках* — отдаленный район Петербурга, прилегавший к Смольному монастырю.

[3] *Адрес-календарь* — периодическое издание, в котором указывался список должностных лиц с именем, отчеством, фамилией, занимаемой должностью и чином.

[4] *Прапорщик* — самый младший офицерский чин в системе военных чинов, по «Табели о рангах» соответствующий в армии чину 14 класса, в артиллерии и инженерных войсках — чину 13 класса, в гвардии — чину 12 класса.

[5] *Салоп* — верхняя теплая женская одежда свободного покроя в виде длинной накидки с прорезями для рук или рукавами. Обычно салопы были на подкладке, на вате, на меху.

[6] *Комми* (commis, *фр.*) — приказчик в магазине.

[7] *Ганимед* (*миф.*) — из Трои похищенный богами красивый мальчик, ставший на Олимпе виночерпием и любимцем Зевса; здесь: мальчик-слуга, разносивший в кондитерской кофе и шоколад.

[8] *Нужный народ* — т. е. рабочий, бедный.

[9] *Екатерининский канал, известный своей чистотою...* — О «чистоте» канала Гоголь говорит иронически: в него спускались сточные воды.

[10] *Резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре.* — На сцене театров появились бытовые водевили, герои которых были из низкого сословия; в театр пришла стихия бытовой разговорной речи, грубой для слуха аристократических дам.

[11] *Департамент* — отдел или подразделение сената или какого-либо министерства.

[12] *Русский мужик говорит о гривне или о семи грошах меди...* — Здесь гривна — десять копеек; грош — медный двухкопеечник.

[13] *...в пестрядевых халатах...* — из пестряди, грубой пеньковой ткани, пестрой или полосатой, чаще всего с синей полосой, из которой изготавливались шаровары и рабочие халаты.

[14] *Штоф* — четырехугольная стеклянная посуда с коротким горлом.

[15] *Но чем ближе к двум часам...* — Гоголь говорит с документальной точностью о бытовом

обычае, заведенном среди петербуржцев в то время. Д. И. Свербеев писал: «Уже под конец зимы находил я особое удовольствие ходить пешком по красивым ее набережным и по Невскому проспекту, который с 2 до 4 часов становился местом ежедневной прогулки всего модного городского населения» (*Свербеев Д. И.* Записки (1799—1826). М., 1899. Т. 11. С. 280).

[16]*...прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих...* — В газетах того времени был отдел, в котором постоянно печатались сведения о лицах, приехавших или выехавших из двух столиц империи — Петербурга и Москвы, а также отъезжающих за границу. Пушкин пишет Вяземскому: «По газетам видел я, что Тургенев (Александр Иванович Тургенев. — *О. Д.*) к тебе отправился в Москву» (П. 10, 362). Как правило, в этот список попадали значительные чиновные лица. В. В. Вересаев, например, указывает, что в каждом номере тогдашних «Московских ведомостей» печаталось «известие о приехавших в сию столицу и выехавших из оной осьми классов особах, начиная с полных генералов и действительных тайных советников, кончая майорами и коллежскими асессорами». В качестве курьеза В. В. Вересаев, просмотревший газету за весь 1832 г., отмечает, что в одном из номеров указан приехавшим «коллежский асессор Ковалев» и ни в одном не упомянуто имя Гоголя или Яновского (см.: *Вересаев В. В.* Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М.; Л., 1933. С. 105).

[17]*...судьба наделила благословенным званием чиновников по особым поручениям.* — Каждое министерство кроме обычных чиновников имело еще чиновников для особых поручений. Такие чиновники были приближены к начальству: к сенаторам, министрам, генерал-губернаторам, губернаторам, директорам департаментов и т. д. Они быстрее продвигались по службе, были всегда на виду, удачливо строили свою карьеру, ощущали свое превосходство перед другими чиновниками. В глазах обычных чиновников они выглядели высшей кастой и как бы на законных основаниях пользовались привилегиями: получением чинов, наград вне очереди и т. д. Такое положение нередко ставило их над законом. Например, на чиновника особых поручений Н. Е. Писарева, состоявшего при генерал-губернаторе (в период 1837—1852) Правобережной Украины Д. Г. Бибикове, было заведено дело о лихоимстве. III отделение, занимавшееся им, нашло неудобным переводить коллежского советника Н. Е. Писарева от Д. Г. Бибикова, объясняя, что генерал-губернатор не может без него обойтись (см.: *Зайончковский П. А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 146—147). Нередко чиновники особых поручений только числились на каком-нибудь месте, фактически не занимаясь службой. Именно такие привилегии имеет в виду Гоголь.

[18]*...служат в иностранной коллегии...* — Коллегии — органы центрального государственного управления в России, учрежденные Петром I. При Петре было 10 коллегий, в том числе и Коллегия иностранных дел, основанная в 1717 г. для организации внешних сношений с иностранными государствами. Упразднена в 1832 г. Ее функции приняло на себя министерство иностранных дел, служба в котором признавалась выгодной. Гоголь употребляет выражение «иностранная коллегия» по привычке, подчиняясь традиции, как и С. П. Жихарев: «Я отвечал, что меня обещали определить в Иностранную коллегию... Это служба довольно видная... и для молодого образованного человека может быть очень выгодна в отношении к повышению чинами и другими отличиями» (*Жихарев С. П.* Записки современника. М.; Л., 1934. Т. 1. С. 227—228). Чиновники в Иностранной коллегии не обременялись работой — и в этом тоже заключались их служебные преимущества: «А. В. Поленов дал мне работу. Я думал и бог-весть какая важность, ан гора родила мышь: перевести два листика с французского! Я тут же перевел в один присест... После ушел в любезный казенный департамент „болтать“» (там же. С. 371). Чиновники Иностранной коллегии слыли за людей праздных: «Небось туда же в дармоеды-та, в Иностранную коллегию?» (там же. С. 231). Обычно в Коллегии иностранных дел служили молодые щеголи, принадлежавшие к аристократической знати. Они были защищены своим положением, богатством, связями. Граф М. Д. Бутурлин рассказывает о том, как два статских советника из Министерства иностранных дел развлекались, били стекла на Невском проспекте (Записки графа М. Д. Бутурлина 1830—1832 // Рус. архив. 1897. № 7. С. 354). Такие шалости сходили с рук только военным или чиновникам Иностранной коллегии. В «Невском проспекте» Гоголь, упоминая о «благословенных званиях» чиновников особых поручений и чиновников Иностранной коллегии, подразумевает вышеизложенные выгоды их службы, их особенные привилегии — на службе, в обществе, в быту.

[19]*...но, увы! я не служу...* — 9 марта 1831 г. Гоголь оставил службу в Департаменте уделов, а 1 апреля 1831 г. был назначен старшим учителем в Патриотический институт в чине титулярного советника. С декабря 1833 г. по май 1834 Гоголь безуспешно добивался места на кафедре всеобщей истории в Киевском университете и только 24 июля 1834 г. был утвержден на должность адъюнкт-профессора Петербургского университета по кафедре всеобщей истории. Как раз в это время он работал над повестью «Невский проспект» и над циклом «Арабески» в целом. Фраза, возможно, свидетельствует о реальном положении автора, о моменте его биографии.

[20]*Редингот* (*фр.*) — длинный, широкого покроя жакет.

[21]*...встретите бакенбарды ∾ встретите усы...* — Здесь бакенбарды и усы — метонимия. Известно, что в николаевскую эпоху были строго регламентированы различия между военными и штатскими. В частности, гражданским чиновникам запрещалось ношение усов. Это была привилегия военных. Нарушение этого запрета рассматривалось как дань либеральным воззрениям: «Это был человек (директор департамента. — *О. Д.*) нового покроя, с репутацией прогрессиста и либерала... Правда, что на другой же день он распек чиновника за несоблюдение какой-то формальности, но зато к общему удивлению не сказал ни слова, когда другой чиновник, только что воротившийся из отпуска, явился к нему с порядочными усами» (*Милюков А.* Доброе старое время: Очерки былого. СПб., 1832. С. 242). Гоголь подчеркивает, что сословная расслоенность, иерархические различия, отпечатываясь на каждом, выражаются даже в цвете бакенбард. По цвету бакенбард определяется социальное положение: «бакенбарды бархатные, атласные, черные» принадлежат «только одной иностранной коллегии», все другие служащие должны «носить рыжие» (3, 9).

[22]*...заворачиваются ∾ веленевою бумагою, усы, к которым ∾ привязанность их посессоров...* — Веленевая бумага — белая бумага лучшего качества, плотная, гладкая, с лоском; *посессор* (*фр.*) — владелец, собственник.

[23]*Один показывает ∾ перстень с талисманом на щегольском мизинце...* — Возможно, здесь Гоголь намекает на Пушкина, носившего в начале 30-х гг. перстень с большим изумрудом, перстень-талисман, «испещренный кабалистическими знаками», хранимый поэтом как символ его творческой силы (*Анненков П. В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 175).

[24]*...он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах...* — Обычно чиновники различных ведомств и департаментов носили мундиры зеленого цвета, кроме чиновников министерств народного просвещения, путей сообщения, академии художеств, которые носили синие мундиры; чиновники III отделения корпуса жандармов, которые носили голубые мундиры; чиновников, служащих в министерстве внутренних дел (полиции), мундиры которых были черного цвета, и сенаторов, чьи мундиры были красного цвета (см.: *Полянский А.* Форменная одежда гражданских чинов всех ведомств и учреждений. М., 1898. С. 29).

Вицмундир — форменная одежда гражданских чиновников.

[25]*...титулярные, надворные ∾ советники ∾ коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари...* — Согласно «Табели о рангах», введенной Петром I в 1722 г., а затем унифицированной в правление Николая I Сводом законов 1835 г., все чиновники гражданского ведомства делились на 14 классов, в котором чин *титулярного советника* соответствовал 9 классу, *надворного советника* — 7 классу, *коллежского регистратора* — 14 классу, *губернского секретаря* — 12 классу, *коллежского секретаря* — 10 классу (см.: Памятники русского права. М., 1961. Вып. 8. С. 179—184).

[26]*Правитель канцелярии* — управляющий канцелярией. Обычно чиновник 6 класса, в чине коллежского советника (см.: Общее расписание классных должностей в империи. СПб., 1900. Т. 1. С. 4—5, 12—14).

[27]*Повытчик* — судебный чиновник, следивший за порядком и хранением бумаг в приказных судах.

[28]*Демикотоновый сюртук.* — Демикотон — плотная хлопчатобумажная ткань, обычно белого цвета.

[29]*Будочник* — низший служащий чин городской полиции, полицейский часовой.

[30]*Полицейский мост* (Зеленый, Народный) — мост через Мойку по Невскому проспекту.

[31]*Сиделец* — лавочник, торгующий в лавке по доверенности купца и состоящий у него на жаловании.

[32]*Поручик* — по системе военных чинов в армии — чин 12 класса, в артиллерии, инженерных войсках — чин 10 класса, в гвардии —чин 9 класса.

[33]*...чудная, совершенно Перуджинова Бианка.* — Перуджино Пьетро — итальянский художник (между 1445 и 1452—1523). Здесь имеется в виду фреска «Поклонение волхвов», которую художник поместил в часовне Санта-Мария дель-Бьянки в Пьеве. Гоголь подразумевает мадонну, изображенную в центре этой фрески (см.: *Молева Н.* Загадка «Невского проспекта» //Знание — сила, 1974. № 4. С. 43).

[34]*Геркулес* (*миф.*) — сын бога Зевса и смертной женщины Алкмены, могучий герой, олицетворение силы и мужества.

[35]*Тайный советник* — чиновник 3 класса.

[36]*Камергер* — придворное звание для лиц, имеющих чин 8—4 классов, которым соответствовали и степени камергерского звания: 8 — титулярный камергер, 6 — действительный камергер, 4 — обер-камергер (см.: Памятники русского права... С. 179—181). Отличительный знак камергера — ключ, символизировавший близость к императорскому дому. Новый образец камергерского ключа был установлен в 1833 г. Его носили в парадных случаях на голубой ленте и накладывали на бант из андреевской ленты (см.: *Шепелев Л. Е.* Отмененные историей. Чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977. С. 53).

[37]*...спорило несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статскою...* — Гоголь вводит в сон Пискарева эту актуальную тему, особенно обсуждаемую в обществе 1830-х гг. Реформы Николая I в области социальных законов укрепляли положение военных, утверждали их социальное превосходство перед гражданскими и всеми прочими соотечественниками. Введение этих законов сразу же отразилось на социально-бытовых отношениях граждан Российской империи. А. В. Никитенко записывает: «Между моими близкими знакомыми есть некто Н. Г. Фролов, молодой человек с замечательными качествами. Он оставил военную службу... Вот что с ним случилось на днях. Он пробирался сквозь толпу в театр. С ним рядом пролагал себе путь и какой-то офицер. — Подите прочь отсюда, — закричал на него офицер, — или я вас отправлю на съезжую. Каково, однако, положение вещей в обществе, где ваш согражданин может грозить вам тюрьмою потому только, что он носит известный мундир... И это не единичный факт. Недавно тоже два офицера так, ради смеха, встретив на улице одного чиновника, совершили над ним грубое неприличие. Тот спросил у них, что они: сумасшедшие или пьяные? Они привели его на съезжую, и оскорбленный должен был заплатить полицейскому пятнадцать рублей, чтобы тот отпустил его» (*Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Л., 1955. Т. 1. С. 184—185). В свете такой общественной атмосферы в 30-х гг. XIX в. становится понятно, почему Пискарев робел, когда видел «звезду» или «толстый эполет». Бедный художник не был защищен от произвола военных даже в своем сне.

[38]*Действительный статский советник* — чин 4 класса.

[39]*Квартальный надзиратель* — полицейский чиновник, в ведении которого состоял какой-либо городской квартал.

[40]*Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту...* — Над телом Пискарева не совершали религиозный обряд по причине того, что герой покончил с собой: это было запрещено христианской религиозной моралью. Охта — предместье Петербурга, где находилось старое кладбище для бедных.

[41]*...инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином...* — Здесь: служитель похоронного бюро, факельщик, одетый в длинную черную одежду, напоминающую монашескую рясу. Капуцин — монах католического ордена, носивший длинный плащ с капюшоном.

[42]*...красный ∾ гроб бедняка...* — дешевый сосновый гроб.

[43]*Статский советник* — чин 5 класса.

[44]*Они ∾ хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове.* — *Булгарин Ф. В.* (1789—1859), *Греч Н. И.* (1787—1867) — писатели и журналисты, издатели газеты «Северная пчела», авторы исторических и бытовых нравоописательных романов и повестей. В то время особой популярностью пользовался роман Булгарина «Иван Выжигин» (1829).

В среде литераторов и интеллигенции Булгарин и Греч обрели иную известность. А. И. Дельвиг писал: «Булгарин был тогда всеми признан за шпиона, агента III отделения собственной канцелярии. Греч часто говаривал, что Булгарин ему необходим по общей их литературной деятельности, и уверял, что, к несчастью, связавшись с таким подлым человеком (что

будто бы его весьма тяготит) он не может с ним расстаться. Но этим уверениям придавали мало веры, и все считали Греча также агентом III отделения, но несколько в высшей сфере, чем Булгарин» (*Дельвиг А. И.* Полвека русской жизни. Воспоминания. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 103). П. А. Вяземский иронизировал: «Булгарин напечатал во 2-й части Новоселья 1834 года повесть „Приключения квартального надзирателя“, которая кончается следующими словами: „Это я заметил, служа в полиции“. Фаддей Булгарин. Вот славный эпиграф!» (*Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1929. С. 265). Д. И. Свербеев свидетельствует: «Узнав потом Греча довольно коротко по неблагоприятным о нем отзывам всего петербургского общества, я скоро уверился, что он служил и нашим и вашим, то есть будучи либералом в кругу литературном и тайным агентом полиции...» (*Свербеев Д. И.* Записки. Т. 1. С. 247). В 1830-х гг. и позднее Булгарин и Греч воспринимались нераздельно, как двойники. Пушкин называл их грачами-разбойниками, а для Герцена они были вроде «сиамских близнецов»; он писал: «Нет ни одного человека в Москве, который бы умел врознь понять Минина и Пожарского, так, как нет ни одного человека в Петербурге, который бы умел понять врознь Булгарина и Греча, — хотя бы один жил для удовольствия и нравственных наблюдений в Париже, а другой — для нравственных наблюдений и для удовольствия в Дерпте» (*Герцен А. И.* Собр. соч. Т. 2. С. 119).

Гоголь не нарушает этой традиции: и Булгарин, и Греч названы им в одном ряду. Включая в этот ряд имя Пушкина, писатель этим подчеркивает неразборчивость вкуса, ограниченность кругозора благонамеренных людей, принадлежавших к среднему классу общества, т. е. к большинству, для которых Пушкин и Булгарин равноценны как известные писатели конца 1820-х—начала 1830-х гг. Скорее всего, эти читатели, в том числе и гоголевский Пирогов, были сориентированы в своем восприятии литературных имен критическим отделом «Северной пчелы», в частности, булгаринскими статьями о Пушкине или об А. А. Орлове. В стиле статей Булгарина о Пушкине просматривалось хлестаковское: «...с Пушкиным на дружеской ноге». Об А. А. Орлове он судил иначе, и читатели его газеты, повторяя вслед за ним, говорят об Орлове «с презрением и остроумными колкостями» (3, 35). *Александр Анфимович Орлов* (1791—1840) — автор лубочных нравоописательных книжек. В рецензиях 1836 г. Гоголь писал что пяти- или четырехрублевые романы пишут «большею частью люди пожилые, вовсе не должностные. Это русские самородки, и предводитель сего последнего инвалидного войска есть А. А. Орлов, над которым очень любят подшучивать петербургские журналисты» (8, 199—200), имея в виду и колкости, отпускаемые в адрес Орлова Булгариным. В начале 1830-х гг. Орлов соперничал с Булгариным в интерпретации сюжета о Выжигине, чем и вызвал ярость последнего. Как пишет В. С. Аксакова: «Пушкин... находил в Орлове больше дарований, нежели в Булгарине, отчего автор „Выжигина“ ужасно бесился. Орлов писал пародии на роман его» (*Аксакова В. С.* Дневник (1854—1955). СПб., 1913. С. 317). В 1831 г. Пушкин читал Гоголю свою статью «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», в которой выступал адвокатом Орлова, вставал на его сторону в развернувшейся против него литературной борьбе со стороны Греча и Булгарина, не исключая при этом иронии по отношению к А. А. Орлову (П. 7, 245—254). Гоголь в письме Пушкину развивает его мысли о «перевесе» А. А. Орлова над Ф. Б. Булгариным, об их литературной борьбе, о двух лагерях читателей, поддерживающих довольно рьяно обе стороны (10, 203—205). Этот контекст отношений нашел отражение в «Невском проспекте»: здесь имена литераторов-современников — Булгарина, Греча, Пушкина, Орлова — существуют конфликтно.

[45]*«Филатки»*. — Здесь речь идет о популярных водевилях из простонародной жизни «Филатка с детьми» П. И. Григорьева I или «Филатка и Мирошка — соперники, или Четыре жениха и одна невеста» П. И. Григорьева II, поставленных на сцене Александринского театра в 1831 г. Эти водевили игрались и на домашнем театре. Комические персонажи Филатка и Мирошка были прекрасным материалом для пародирования: «...где только находился Валерьян Макарыч, скука была там невозможна... примется декламировать монологи из разных комедий... пропоет петухом, представит Филатку и Мирошку» (*Макаров Н.* Мои семидесятилетние воспоминания. СПб., 1881. Ч. II. С. 54).

[46]*Кабриолет* — двуколка, двухколесный одноконный экипаж, управляемый самим седоком.

[47]*Он превосходно декламировал стихи из «Димитрия Донского»...* — Пирогов читал стихи из патриотической трагедии В. А. Озерова (1769—1816) «Дмитрий Донской» (1807),

пользовавшейся успехом в первое десятилетие XIX в. Д. И. Свербеев писал, что «озеровские трагедии „Эдип в Афинах“, „Фингал“, взятый из подложного Оссиана, „Поликсена“ и в особенности „Дмитрий Донской“, — были любимыми пьесами» (*Свербеев Д. И.* Записки. Т. 1. С. 271).

[48] *Умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе.* — Пирогов рассказывает анекдот о Екатерине II, проводившей смотр артиллерийского оружия. На вопросы государыни, чем отличается пушка от единорога, солдат ответил: ...*Пушка сама по себе, а единорог сам по себе...* Возможно, здесь содержится намек на то, что Пирогов — артиллерийский поручик, т. е. по сравнению с армейским поручиком более образованный, учившийся военной науке в каком-либо учебном заведении.

[49] *«Ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?»* — Герой Гоголя цитирует известное изречение Екклезиаста: «Суета сует... — все суета! Что пользы человеку от трудов его». Фраза из Священного писания диссонирует с самоощущением Пирогова, только что получившего чин поручика, переживающего свое новое социальное положение. В отличие от Екклезиаста, для которого все ценности мира относительны и преходящи, все суета: и высшее социальное положение, и высшее богатство, и высшая слава и т. д., герой Гоголя придает большое значение своему званию; по словам писателя, «в тайне его очень льстило это новое достоинство» (3, 36). Как раз-таки суета земного существования — чины, богатство, слава, любоначалие и т. д. — прельщает Пирогова. Библейское изречение в устах героя ярче оттеняет глубину пироговской пошлости и лицемерия.

[50] *Рапе* — высший сорт французского нюхательного табака.

[51] *«Я швабский немец; у меня есть король в Германии».* — Судя по заявлению героя, Шиллер является подданным Вюртембергского короля, карликового королевства в Германии, основанного в период наполеоновских войск в 1805 г. Можно вспомнить и о том, что отец известного немецкого поэта Шиллера, однофамильцем которого по авторскому произволу стал жестянщик с Мещанской, служил офицером в войсках герцога Вюртембергского, впоследствии ставшего королем: следовательно, поэт Шиллер, по месту рождения (1805, Веймар), тоже был подданным Вюртембергского короля, как и гоголевский герой. Трудно сказать, случайна ли эта перекличка или лукаво предусмотрена писателем.

[52] *Торнюра* — фигура, сложение, осанка.

[53] *Гавот* (*фр.*) — французский народный танец, грациозный, светлый, появившийся в XVII в. К середине XIX в. гавот — уже старинный танец, отличающийся медленным или умеренным темпом.

[54] *Я должен с прискорбием признаться, что поручик Пирогов был очень больно высечен.* — По поводу этой сцены Пушкин писал Гоголю: «Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки...» (П. 10, 518). В издании «Арабесок» 1835 г. эту сцену автор заканчивал по-другому: «Я никак не нахожу слов к изображению этого печального события...» По сравнению с черновым вариантом Гоголь значительно изменил этот текст. Он убрал колоритные подробности в описании расправы ремесленников с офицером: и о том, что Гофман «всей тяжестью сел» на ноги Пирогова, Кунц схватил его за голову, а Шиллер «схватил в руку пук прутьев, служащих метлою». Экспрессия сцены порки в черновой редакции приглушена мотивировкой о том, что поручик явился в дом Шиллера как частный человек «в сюртучке и без эполетов», хотя чуть выше писатель говорит о «перетянутом стане» Пирогова, т. е. о стане, затянутом в мундир. В редакции «Арабесок» Гоголь, намекнув на позор героя, внешне изменив эту сцену, оставил и здесь главный смысл: пьяные ремесленники с Мещанской улицы оскорбили честь офицера. Общественная атмосфера того времени исключала возможность подобной сцены в реальном быту. Тем не менее Гоголь ее оставляет, удостоверяя психологической реакцией героев: протрезвевший Шиллер с ужасом ждет расправы, а гневный Пирогов грозит плетьми и Сибирью, жалобой генералу, в главный штаб и т. д. Было бы естественно предположить, что угрозы героя реализуются.

Логика характера Пирогова выдержана Гоголем таким образом, что читателю понятно: герой ценит мундир только в отношении к чину. На примере поведения Пирогова, его психологии писатель демонстрирует, каким образом изменилось по сравнению с предшествующим десятилетием — декабристской эпохой — отношение к понятиям «честь мундира», «честь офицера», «честь человека». Это и ценит Пушкин, заметивший, что Гоголь в простран-

стве от секуции до вечерней мазурки уловил суть пироговского характера — психологию нового человека. Можно привести много примеров подобного отношения к офицерской чести, чести мундира в новой социальной атмосфере. Вот один из них: «...несколько офицеров, и в том числе знатных фамилий, собрались пить. Двое поссорились — общество решило, что чем выходить на дуэль им, так лучше разделаться так, кулаками. И действительно они надавали друг другу пощечин и помирились. Было положено строго молчать об этом. Но один из собеседников не вытерпел, рассказал об этом в обществе; дело дошло до государя, и кучка негодяев была исключена из гвардии» (*Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 185). На фоне таких происшествий секуция Пирогова не выглядит невероятной. Кроме того, становится заметным, что герой Гоголя стремится именно *скрыть* ее. Грозное желание возмездия (упоминание о государственном совете и государе) исчезло из опасения быть изгнанным из полка по суду чести.

55*Главный штаб* — один из высших органов военного управления в России.

56*Государственный совет* — высший законодательный орган России, который был учрежден в 1810 г. при Александре I. Во главе совета стоял император. Министры входили в совет по званию. Совет разделялся на 4 департамента: департамент законов, департамент дел военных, департамент дел гражданских и духовных, департамент государственной экономии. В 1832 г. в совет вошел еще один департамент — дел царства Польского.

57*«Северная пчела»* — газета. Н. И. Греч писал: «Мы с Булгариным затеяли издание „Северной пчелы" и начали ее с 1 апреля 1825 года» (*Греч Н. И.* Записки о моей жизни. СПб., 1886. С. 323). С 1825 по 1831 г. газета выходила 3 раза в неделю. С 1831 г. она издавалась ежедневно. Как заявляли ее издатели, главнейшая цель их газеты состояла в утверждении преданности престолу и чистоте нравов (см.: *Лембке М.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1909. С. 245). Булгарин и Греч сосредоточили в своих руках выгодную монополию. Правительство считало эту газету выразительницей «общественного мнения». Гоголь писал о ней: «„Северная пчела" заключала в себе официальные известия и в этом отношении выполняла свое дело. Она помещала известия политические, заграничные и отечественные новости. Редактор г-н Греч довел ее до строгой исправности: она выходила в положенное время, но в литературном смысле она не имела никакого определенного тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ее мнения. Она была какая-то корзина, в которую сбрасывал всякий все, что ему хотелось. Она была всегда исправная ежедневная афиша» (8, 162—163).

Тем не менее у газеты был свой читатель из широких кругов высшего и среднего чиновничества и офицерства, характеристику которого очень точно дает А. В. Никитенко: «Вечером был приглашен на бал к одному из здешних почетных чиновников; дамы танцевали с ужимками, а кавалеры все очень необразованны; ничего не читают, кроме „Северной пчелы", в которую веруют как в Священное писание» (*Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 150). Таким же читателем был Пирогов.

58*...отправился ∾ к одному правителю контрольной коллегии.* — Контрольная коллегия — контрольное учреждение по ревизии гражданской или военной отчетности. При Николае I в 1836 г. была создана новая контрольная система. Ее сущность состояла в том, что дело ревизии было разделено между распорядительными управлениями и государственным контролем. На распорядительные управления — контрольные коллегии — была возложена обязанность проверки документации. Совет государственного контроля занимался ревизией лишь общих отчетов, заключающих в себе свод цифровых данных по приходу и расходу сумм и утверждение их. Таким образом, при правлении Николая I функции государственного контроля свелись к формальной ревизии, при которой стало невозможно контролировать деятельность министерств и ведомств и выявлять нарушения законности. Такая система государственного контроля вполне всех устраивала, особенно высших чиновников — сенаторов и министров, не желавших признать над собой главенствующей роли государственного контролера, ревизующего их деятельность и дающего ей оценку. Министр финансов граф Канкрин, инициатор создания новой контрольной системы, говорил, что при старой системе государственный контролер стал бы выше всех министров, таким образом приблизившись по значению к самому императору. Так государственный контроль был превращен в фикцию. Бесконтрольность породила взяточничество, лихоимство, нарушение законности. Понятно возникновение литературных сюжетов на эту тему, например «Ревизор» Гоголя.

Правитель контрольной коллегии — управляющий, обычно действительный статский советник. Гоголь говорит: «Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника или у действительного статского, который выслужил чин сорокалетними трудами, вы всегда найдете одного из них» (3, 34). Правитель, к которому отправился поручик на вечер, принадлежал к среднему классу, хотя и имел генеральский чин: он выслужил его многолетней службой.

59...*отличился в мазурке...* — Мазурка — популярный польский танец. «Мазурка танцевалась с многочисленными причудливыми фигурами и мужским соло, составляющими „соль" танца» (*Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Л., 1980. С. 86). Гоголевский Пирогов отличился в мазурке, т. е. изобретательно импровизировал в сольной части танца.

60...*величиною в арку Главного штаба.* — Известное здание, построенное на Дворцовой площади по проекту архитектора К. И. Росси в 1824 г., с аркой, над которой установлена фигура славы в триумфальной колеснице, запряженной шестеркой лошадей.

61...*он говорит о Лафайете.* — Лафайет Мария Жозеф (1757—1834) — маркиз, французский политический деятель, генерал. Он сражался за независимость в Северной Америке, а в 1830 г. был участником революционных событий во Франции, командовал национальной гвардией. В русской печати достаточно было упоминания о Лафайете с положительной оценкой его деятельности, чтобы вызвать обвинение в политической неблагонадежности. В 1834 г. С. С. Уваров, министр просвещения, обвинил в этом Н. К. Полевого на том основании, что в «Московском телеграфе», журнале, редактором которого был Полевой, Лафайета назвали честным человеком и благородным гражданином. Навет Уварова разбирал сам А. Х. Бенкендорф, вызвавший Полевого из Москвы в Петербург и посадивший его на гауптвахту на все время выяснения этого дела (См.: *Полевой К. А.* Записки. СПб., 1888. С. 340—341). В 1830 г., во время июльской революции во Франции, как пишет А. И. Герцен, в России в кружках либеральной молодежи следили «шаг за шагом, за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и генералом Ламарком, мы тогда не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется, радикальных, и хранили у себя их портреты» (*Герцен А. И.* Собр. соч. Т. 8. С. 134). В «Невском проспекте» имя Лафайета упомянуто в контексте, смысл которого противоположен комическому, сниженно-бытовому, пошлому, — т. е. в высоком и серьезном значении.

Нос

Рукописи повести хранятся в Российской национальной библиотеке (РЛ1; РЛ2; РЛ3). Гоголь начал работу над ней не ранее 1832 г. Н. С. Тихонравов считает, что такая датировка подтверждается указанием самого автора в тексте наброска (РЛ1): «23 числа 1832 г. случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие» (см.: *Гоголь Н. В.* Соч. 10-е изд. М., 1889. Т. 2. С. 566). Опираясь на слова писателя в письме к С. А. Максимовичу (ноябрь 1833), в котором Гоголь сообщает, что у него «есть сто разных начал и ни одной повести, ни одного даже отрывка полного», Н. С. Тихонравов отмечает, что в 1833 г. повесть закончена не была и осталась в черновиках в виде первоначального отрывка (там же. С. 567). Н. Л. Степанов предполагает, что писатель приступил к работе над повестью в конце 1832—начале 1833 г., мотивируя свою догадку местоположением наброска в рукописной тетради между статьей «Взгляд на составление Малороссии», датированной Гоголем 1832 г., и отрывками романа «Гетьман», а также появлением в журналах «носологических» сюжетов и публикации в «Молве» за 1831 г. текста вывески, к которому, по мнению ученого, восходит вывеска на цирюльне Ивана Яковлевича (3, 650).

Первая полная черновая редакция повести (1833—август 1834) сохранилась в Погодинском древлехранилище (РЛ2), подробное описание автографа дано в АП (3, 651—653). Текст РЛ3 — промежуточная редакция между рукописью и первоначальным наброском РЛ1. Повесть была закончена не ранее марта 1835 г. 18 марта 1835 г. Гоголь отправил ее в Москву вместе с письмом М. П. Погодину, в котором он высказал опасения в отношении цензурных придирок: «Если в

случае ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может быть в Казанской церкви, то, пожалуй, можно его перевести в католическую. Впрочем, я не думаю, чтобы она до такой степени уж выжила из ума» (10, 355). Редакция журнала «Московский наблюдатель», для которого предназначалась повесть, отказалась печатать ее, как свидетельствует В. Г. Белинский, «по причине пошлости и тривиальности»: посчитав ее «грязной» (см.: Смесь // Отечественные записки. 1842. Т. 25. С. 107).

Еще раз Гоголь вернулся к работе над повестью, готовя ее к публикации в пушкинском «Современнике» (январь—сентябрь 1836). Впервые повесть «Нос» появилась в печати в третьем томе этого журнала за 1836 г.

В примечании от редакции Пушкин писал: «Н. В. Гоголь долго не соглашался на печатание этой шутки, но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись» (Современник. 1836. Т. 3. С. 54).

И наконец, вводя повесть в третий том первого собрания сочинений, писатель существенно переделал финал повести (1841—1842). По сравнению с первой черновой редакцией-автографом в вариант «Современника» Гоголь внес следующие крупные изменения: убрал мотивировку сном: именно такова была развязка; написал эпилог, в котором объяснился по поводу странности сюжета о сбежавшем носе.

В варианте собрания сочинений 1842 г. автор не имел возможности изменить ранее сделанную в редакции «Современника» цензорскую правку, но все-таки кое-что ему удалось исправить. Во-первых, писатель поставил новую дату в начале повести: «Марта 25 числа». Во-вторых, отделывая финал, он ввел текст, ранее запрещенный цензурой: «Этот господин был один из тех людей, которые бы желали впутать правительство даже в их домашние ссоры с своей супругой». Но основная его работа сосредоточилась на новой редакции финала.

Эпилог Гоголь выделил как самостоятельную третью часть повести. Здесь писатель указал иную дату возвращения носа на свое место — 7 апреля, расширил диалог Ковалева со слугой Иваном, ввел сцену с цирюльником Иваном Яковлевичем, объединив, таким образом, в финале две параллельно развивающиеся сюжетные линии. Наконец, писатель иначе построил свой диалог с читателем, рассуждая о фантастической истории. Авторская ирония здесь перешла в серьезное размышление о правдоподобии художественного эксперимента, о скрытых «несообразностях», реально бытующих в современной жизни.

В издание Трушковского, в основном тождественное изданию 1842 г. (здесь впервые появилась 2-я редакция «Носа»), были внесены незначительные разночтения, вероятно, не принадлежащие автору, носящие характер стилистической правки.

Настоящий текст печатается по тексту первого собрания сочинений с учетом вставок из рукописи РЛ2, изъятых Гоголем по цензурным соображениям или под давлением цензурных запретов, с восстановлением вариантов по первопечатному тексту «Современника» в тех случаях, когда очевидна правка Н. Я. Прокоповича и Н. П. Трушковского. Впервые подцензурные эпизоды повести устранены в издании 1928 г. под редакцией Б. М. Эйхенбаума и в академическом издании.

Первоначальный набросок повести (РЛ1), первая полная черновая редакция (РЛ2) и эпилог «Носа» в редакции «Современника» приводятся в разделе «Другие редакции и варианты». В этом разделе сверены все рукописные и первопечатные тексты.

В науке давно установлено, что замысел «Носа» связан с «носологическими» мотивами, широко распространенными в журналистике и беллетристике начала 30-х гг. (см.: *Виноградов В. В.* 1) Натуралистический гротеск. Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос» // Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. М., 1976; 2) Эволюция русского натурализма // Там же). Это — заметки, анекдоты, рассказы, повести, бытовые очерки об исчезнувших, отрезанных, восстановленных носах, о носах, феноменальных по своему размеру или другим каким-либо приметам. Плодотворно и убедительно разработаны учеными параллельные мотивы гоголевского «Носа» и повести Г. Цшокке «Похвала носу» (1831) (*Чудаков Г. И.* Отношение творчества Гоголя к западноевропейским литературам. Киев, 1908. С. 167) и рассказа В. И. Карлгофа «Панегирик носу» (1832), о чем писал В. В. Виноградов. В науке о Гоголе давно указано на сходство мотивов «Носа» с мотивами романов «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» Л. Стерна, «Мирза Хаджи-Баба» Морьера и т. д. (3, 657). Мотивы иного типа (двойничества, неожиданных превращений вещей, фантастического перехода мертво-

го в живое и т. д., характерные для романтической фантастической повести) вызывают перекличку с повестями В. Ф. Одоевского («Пестрые сказки»), А. Погорельского («Двойник»), Э. Гофмана («Золотой горшок», «Королевская невеста», «Песочный человек» и др.), А. Шамиссо («Необычайные приключения Петера Шлемиля») и других (см.: *Замотин И. И.* Три романтических мотива в произведениях Гоголя. Варшава, 1902. С. 3; *Гиппиус В. В.* Гоголь. Л., 1924. С. 91; *Манн Ю. В.* Гротеск в литературе. М., 1966; *Измайлов Н. В.* Фантастическая повесть // Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. Л., 1973; *Ботникова А. Б.* Э.-Т.-А. Гофман и русская литература XIX века. Воронеж, 1977; *Gorlin M.* N. V. Gogol und E. Th. A. Hoffmann. Leipzig, 1933, и др.). Вместе с тем еще Стендер-Петерсен, М. Горлин, Ю. В. Манн и другие отмечали, что гоголевский «Нос» — «ироническая пародия на романтику» (см.: Euphorion. 1922. Т. 24. С. 650—651; *Gorlin M.* Gogol und E. Th. A. Hoffmann; *Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. С. 257; *Манн Ю. В.* Поэтика Гоголя. М., 1978. С. 99—100 и др.). Глубокое общественное содержание повести, отразившее состояние русской жизни, скрытое от глаз многих, рассмотрели Белинский (см.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 3. С. 105) и Ап. Григорьев (*Григорьев Ап.* Ф. Достоевский и школа сентиментального натурализма // Н. В.Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. С. 232).

[1]*Марта 25 числа*... На этом дне Гоголь остановился в окончательном варианте. В одной черновой редакции было: «23 числа 1832»; в другой — «сего февраля 23 числа» (3, 380—381). Выбор писателя значим. Календарь того времени отмечает этот день как большой христианский праздник — день Благовещения. Подобных по значению официальных и всенародных праздников было немного: день Благовещения, Вербные суббота и воскресенье, день происхождения Честных Древ Креста и выхода на водоосвещение, день Преображения, второй и третий дни Христова. В эти дни служили торжественный молебен в церквах, на котором, согласно государственным законам, присутствие лиц, состоящих на государственной службе, было обязательным. А. С. Пушкин записывает: «Возвратясь, нашел у себя на столе... приказ явиться к графу Литте. Я догадался, что дело идет о том, что я не явился в придворную церковь ни к вечерне в субботу, ни к обедне в вербное воскресенье... государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров и сказал: „Если им тяжело выполнять свои обязанности, то я найду средства их избавить“» (П. 8, 46). Уместно привести пример из самого указа: «В праздничной форме быть у божественной службы, в присутствии их императорских величеств 25 марта, в день Благовещенья, у Всенощной в Вербную субботу, в Вербное воскресенье...» (Описание изменений в форме одежды чинам гражданского ведомства и правила ношения сей формы. СПб., 1856. С. 9). Встреча героев повести в Казанской церкви полна злободневного содержания. П. А. Вяземский, например, хорошо понимал смысл этой встречи: «В последнюю субботу читал он (Гоголь. —*О. Д.*) повесть о носе, который пропал. И очутился в Казанском соборе в мундире министерства просвещения. Уморительно смешно... Коллежский асессор, встретясь с носом своим, говорит ему: „Удивляюсь, что нахожу вас здесь, вам кажется, должно знать свое место“» (Остафьевский архив кн. Вяземских. СПб., 1899. Кн. 3. С. 313—314). В повести Гоголя обыгрываются указанные формы чиновничьего поведения. Именно *25 марта*, когда все должно быть на своем месте, облик Ковалева не соответствует букве закона, под удар поставлена его карьера. Кроме того, на день Благовещения, по народным обычаям, принято было гадать. Ковалев предполагает, что его нос пропал неким неестественным способом: при помощи «волхвования» «колдовок-баб», нанятых штаб-офицершей Подточиной из желания отомстить за то, что он уклоняется от женитьбы на ее дочери. Значение дня повести, таким образом, связано и с темой чина, и с темой женитьбы, главными темами «Носа».

[2]*Вознесенский проспект* — бывш. пр. Майорова.

[3]*«И кровь отворяют»*. — Фраза находит объяснение в бытовой жизни того времени: в цирюльнях «отворяли кровь» в лечебных целях. Одновременно она нелепа и загадочна — вырвана из другого контекста. Незавершенность смысла провоцирует его полисемантичность. Несуразности, фантастичность, суеверия, предрассудки, пронизывающие всю повесть, реально-обыденное переводят на грань с мифическим, ирреальным. В такой атмосфере фраза «и кровь отворяют» приобретает иносказательный смысл, корреспондирующий с мотивом порчи, со странным поведением цирюльника. В этой связи открывается еще один пласт ее значений, исходящий из глубин народно-бытовых представлений: знахари, как цирюльники и ме-

дики, тоже лечили кровопусканием — снимали или напускали порчи (см.: *Попов Г.* Русская народно-бытовая медицина. СПб., 1903. С. 78).

[4]*Разрезавши хлеб ∾ и вытащил — нос!* — В литературоведении нередко подобные стилевые фигуры, каламбурные смысловые столкновения рассматривались как алогизмы, характерные для Гоголя-художника (*Виноградов В. В.* Натуралистический гротеск... // Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 24—25; *Белый А.* Мастерство Гоголя. С. 18—19; *Манн Ю. В.* Поэтика Гоголя. С. 110). Если рассмотреть гоголевские алогизмы на фоне бытовых представлений и народной культуры, то обнаружится их смысловой исток.

Писатель, несомненно, был знаком с суевериями, бытовавшими в народной среде и в других социальных кругах и группах. «Колдовство, знахарство, ворожба, — как пишет Д. И. Свербеев, — и непременно рядом с ними простонародное лечение разными травами и симпатическими средствами теми медиками, которые не принадлежат к материалистам... существование в народе тех лихих людей, которые по злобе портят, то есть наносят вред и болезни своему ближнему», вера во «влияние на человека глаза» характерны для времени (*Свербеев Д. И.* Записки (1799—1826). М., 1899. Т. 2. С. 64—65). Это лишний раз убеждает в том, что массовая вера в предрассудки, в народную медицину — бытовая черта. Романтики в свои художественные тексты щедро вводили бытовые подобности такого плана. Широким потоком в литературу хлынули всякого рода небывальщина и чертовщина. Гоголь в повести «Нос» комически обыгрывает черты социальной действительности и пародирует стиль и приемы расхожей литературной продукции.

Упомянув о порче, писатель явно рассчитывает на ассоциации современного ему читателя — и из сферы литературы, и из сферы бытовой жизни. В народной медицине в ряду разных рецептов — от болезней груди, ног, желудка, различного рода простуд — предлагался и рецепт от дурной болезни, намек на которую содержится в повести Гоголя. Вот он: склянка со снадобьями закупоривается и «заминается в сырой хлеб, который садится в печь. Когда хлеб испечется, вынимают пузырек и его содержимое...» (*Попов Г.* Русская народно-бытовая медицина. С. 320). Видимо, расчет Гоголя попадал в цель: современники понимали этот пласт значений. Назвав повесть «грязной и тривиальной», издатели «Московского наблюдателя» отказались ее печатать.

[5]*Исакиевский мост* — мост на плаву, соединявший Васильевский остров и Адмиралтейскую часть.

[6]*Обер-полицмейстер* — начальник Управы благочиния общегородского полицейского учреждения, занимавшегося рассмотрением мелких уголовных и гражданских дел (при сумме иска в 20 рублей).

[7]*Ученые коллежские асессоры...* — лица, получившие чин коллежского асессора. А. И. Тургенев писал родителям: «Я повторю мое желание поучиться еще в Гетингене, заняться еще Русской Историей и взять здесь Докторскую Степень. По службе я, кажется, ничего не теряю, ибо тогда имел бы право на чин Коллежского Асессора, есть ли только подобная безделица может входить в рассуждение там, где дело идет о достижении гораздо высшей цели» (Архив братьев Тургеневых, письма и дневник Александра Ивановича Тургенева (1802—1804). СПб., 1911. Вып. 2. С. 169).

[8]*Кавказский коллежский асессор.* — Гоголь выделяет среди коллежских асессоров (гражданских чиновников 8 класса) два рода, подчеркивая, что его герой относится к *кавказским* коллежским асессорам. «Делающиеся» на Кавказе коллежские асессоры — социальное явление 1830-х гг. Согласно еще введенной Петром I Табели о рангах, чин коллежского асессора был важен: он давал право на потомственное дворянство и преимущества высшего сословия. С 1799 г. были сняты ограничения производства в чины до 5 класса включительно. Их получали независимо от занимаемой должности: например, канцелярский чиновник мог заслужить потомственное дворянство выслугой лет. В этой связи открылся широкий путь к достижению дворянства всем сословиям. Вот почему появился указ 1809 г., в котором были определены испытания в науках для производства в коллежские асессоры и статские советники. Обязательным становилось получение свидетельства о сдаче экзаменов особой комиссии при университетах по четырем разделам: «Наукам словесным», «Правоведению», «Наукам историческим», «Наукам математическим и физическим». Этот указ и способствовал появлению «ученых коллежских асессоров». Вместе с тем огромная в своих географических пределах Российская империя нуждалась в большом количестве чи-

новников, и подобные ограничения стали препятствием на пути их чинопроизводства. Естественно возникли обходные моменты. В 1835 г. был издан «Свод законов», в котором было сказано: «Для предупреждения недостатка в способных и достойных чиновниках в Сибири, Грузии, Кавказской области, по отдаленности сих мест, а в Олонецкой губернии по малому ее населению дворянством, чиновникам, туда определяющимся, даруются исключительные права и преимущества» (Свод законов Российской империи. СПб., 1835. С. 105). Преимущества: во-первых, чиновники, определяющиеся на службу в Кавказскую область в первый раз, получали следующий чин по «Табели о рангах» вне очереди, т. е. без выслуги необходимого срока; во-вторых, чин коллежского асессора присваивался без экзаменов и аттестатов; в-третьих, по истечении трехлетней службы на Кавказе коллежский асессор имел право на значительный пенсион, в случае отставки или же взамен этого как потомственный дворянин жаловался землею; в-четвертых, для него сокращались сроки получения ордена Святого Владимира IV степени. В литературе этот факт действительности нашел отражение. В повести Ф. В. Булгарина, например, чиновники решались «быть Аргонавтами, скакать на почтовых в Колхиду за золотым руном, то есть на Кавказ за чином коллежского асессора» (*Булгарин Ф. В.* Соч.: В 3 т. СПб., 1836. Ч. 2. С. 318). Гоголь, обыгрывая значение фразы «кавказский коллежский асессор» (не раскрывая ее смысла, но указывая на него: для читателя-современника здесь не было секрета), намечает в рисунке облика своего героя два плана: видимый и скрытый. Эти два плана находятся в постоянном взаимодействии. Причем видимый корректируется скрытым, кажущееся оттеняется истинным: Ковалев — коллежский асессор, но *кавказский*, т. е. получивший свой чин без аттестатов и испытаний, он — необразованный человек. Кроме того, как говорит сам Гоголь, его Ковалев — «из тех мужей, которые имеют полные щеки и очень хорошо играют в бостон» (3, 53), т. е. полнокровному герою в отличие от многих не был страшен кавказский климат, опасный южными лихорадками. Мысль о тифлисском кладбище, которое в быту того времени получило название «асессорского», не могла остановить гоголевского героя: Ковалев был уверен в своем здоровье.

Писатель, поднимая бытовой материал на уровень эстетического обобщения, приводит те социальные и психологические процессы, которые происходят в обществе и в человеке.

[9]*...он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором.* — По Табели о рангах гражданский чин коллежского асессора был равен военному чину майора. В ту пору, пишет Е. Карнович, «прилив военного элемента в среду чиновничества был весьма значителен: гражданские должности предоставлялись очень часто военным офицерам и генералам... В общественном мнении военная служба в ту пору считалась гораздо почетнее гражданской». Кроме того, военнослужащие, имеющие чины майорские и выше, «переименовывались в соответствующие этим чинам гражданские чины, и следовательно, для них не существовало правила, установленного для гражданских чиновников, то есть они не держали экзамена на чин» (*Карнович Е.* Указ. соч. С. 94—96). Это право военнослужащих утверждал закон: «В равных чинах гражданские чиновники вообще уступают место военным, хотя бы кто из них по времени пожалования в тот чин был старее» (Свод законов. С. 119). В такой атмосфере становится понятным желание Ковалева прозываться майором: это придает больший вес фигуре героя в глазах других соотечественников. В глазах же самого героя это равняет его как коллежского асессора без аттестата с коллежским асессором из майоров. Вместе с тем в «Своде законов» 1835 г. указывалось: «Запрещается гражданским чиновникам именоваться военными чинами» (с. 119). В противном случае закон угрожал: «Кто... будет требовать себе почести или сам возьмет место высшего чина... с такого взыскивать в штраф двухмесячное жалованье из его оклада» (с. 120). В сфере этих постановлений гражданский чиновник Ковалев, называющий себя майором, выглядит самозванцем, нарушителем закона.

[10]*...искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то — экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Вице-губернатор* — должность, появившаяся в России при Петре I. В «Своде законов» определялось его значение: «1) быть непосредственным помощником и сотрудником начальника губернии по всем частям управления оною; 2) иметь ближайший и ответственный надзор по всем частям губернского правления, наблюдать вообще за делопроизводством, благоустройством и порядком в целом правлении, и в особенности в канцелярии присутствия и частях ее; 3) заступать временно место начальника губернии каждый раз, когда губернатор почему-либо не управляет губер-

нией» (Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 2, ч. 1. С. 750). На свою должность вице-губернаторы назначались правительственным сенатом. Преимущественно это были статские советники (6 класс) и даже надворные советники (7 класс), но никогда не было коллежских асессоров. Следовательно, герой Гоголя, искавший получить должность вице-губернатора, надеется на повышение в чине. Эта мысль подтверждается и тем, что он согласен и на должность экзекутора, но в каком-нибудь «видном департаменте». Должность экзекутора во всех министерствах и департаментах соответствовала чину коллежского асессора, кроме должности экзекутора в сенате, на которую определялся чиновник 7 класса, т. е. надворный советник (см.: Расписание должностей гражданской службы по классам от IV до V включительно. СПб., 1835). Догадка о том, что именно в один из департаментов сената стремится на службу Ковалев, подтверждается и кругом его знакомств, например, знакомством со столоначальником в сенате, надворным советником Ярыжкиным, которого Ковалев называл подполковником; и самим служебным профилем коллежского асессора — по юстиции, еще на Кавказе имевшего опыт ведения следственных дел. Ясно одно: в обоих случаях герой рассчитывает на скорое повышение в чине, так как уже *два года* он состоял в коллежских асессорах и мог за особые отличия получить досрочно следующий чин *надворного советника*, что и было узаконено в юридических документах времени (см.: Положение о гражданских мундирах. Выписка. СПб., 1834, § 23). Намек на особые отличия Ковалева есть: герой в Гостином дворе выбирает орденскую ленточку.

Экзекутор в сенате наблюдает за исполнением сенатских указов (см.: Памятники русского права. С. 21); в других департаментах экзекутор ведает хозяйственной частью. Необходимо добавить и то, что вице-губернаторскую должность можно было получить, находясь на службе в Петербурге, в одном из департаментов сената или министерства юстиции.

Гоголь настолько точен в указании бытовых подробностей, будто опасается по вопросам чинопроизводства заслужить упрек, быть уличенным со стороны «коллежских асессоров — от Риги до Камчатки» (3, 53). Свой фантастический сюжет писатель обставляет документальными приметами, строит его на достоверной основе.

[11]*По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника.* — Нос опознан Ковалевым «по мундиру»: «мундир означает место служения, а также степень звания и должности» (Положение о гражданских мундирах. С. 1). Шляпа входит в общий облик «мундира» как его составная часть. «Треугольная шляпа... чинами всех разрядов и лицами в должностях всех классов носится по чину» (*Полянский А.* Форменная одежда гражданских чинов всех ведомств и учреждений. М., 1898. С. 2). Из мундира Носа писатель выделяет только одну деталь — *шляпу с плюмажем* (т. е. украшением из перьев) — видимо, самую красноречивую. В документах узаконивалось: «Плюмаж на шляпе иметь только первым и вторым чинам Императорского Двора, церемониймейстерам, камергерам и камер-юнкерам, когда они бывают в придворных мундирах» (Положение о гражданском мундире. С. 4). По всему этому можно допустить, что Нос — не просто статский советник, но лицо, по мысли автора, приближенное к Императорскому двору, важная персона. Плюмаж на шляпе, в соответствии с распорядком служебных предписаний, — указатель того, что Нос принадлежит к эшелону высшей власти.

[12]*Воскресенский мост* — через Неву, соединявший Литейную и Выборгскую часть.

[13]*Гайдук* — имеется в виду выездной лакей в богатом доме.

[14]*Столоначальник в сенате.* — Сенат — высший административно-судебный орган. При Петре I сенату была предоставлена вся власть в государстве. При Николае I вся исполнительная власть перешла к министрам. Таким образом, сенат лишился принадлежавшей ему, как хранителю закона, власти надзора за законностью в управлении государством. Сенат осуществлял надзор за правительственным аппаратом, охранял права и преимущества разных сословий, обнародовал законы, ведал уголовными делами, гражданскими (см.: *Ерошкин Н. П.* История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968. С. 156).

Служба в сенате считалась выгодной в том отношении, что взяточничество, мздоимство, вымогательство процветали здесь как бы в «законных» пределах — на договорных условиях с истцами. Для быстрейшего продвижения дела обер-секретари, например, назначали определенную сумму в качестве выкупа, в случае неудачи эта сумма возвращалась истцу. В этой связи даже нижние чины — уголовные и гражданские обер-секретари, канцеляристы и писари — имели значительные доходы, на которые приобретали собственные дома и домики (см.:

Арцимович В. А. Воспоминания — характеристики. СПб., 1904. С. 33—35). Взяточничество столь было распространено, что сам министр юстиции В. П. Панин для ускорения дела в пользу дочери дал взятку в 100 рублей через директора департамента Топильского (см.: Министерство юстиции за 100 лет. 1802—1902. Исторический очерк. СПб., 1902. С. 75). *Столоначальник* — управляющий канцелярской службой, обычно чиновник 7-го класса. Гоголь точно соотносит должностные категории с классами гражданских чинов.

[15]*...в бостоне обремизивался, когда играл восемь.* — *Бостон* — распространенная в конце XVIII—начале XIX в. карточная игра, названная в честь города Бостона в Америке. Ее вывез в Европу Франклин. Обычно в эту игру играют вчетвером полной колодой карт с прикупом и вистом; каждому игроку сдается по 13 карт. *Обремизиться* — карточный термин, означающий недобор взяток: у Гоголя Ярыжкин не добирал взяток, когда объявлял их в количестве восьми.

[16]*Газетная экспедиция* — отделение газеты, занимавшееся приемом различных объявлений и их рассылкой.

[17]*Купеческий сиделец* — приказчик в лавке купца.

[18]*...отпускается в услужение...* — то есть продается. А. И. Герцен писал: «...стыдливое и целомудренное правительство запретило объявлять о продаже людей. В газетах скромно и бессмысленно печатают: „отпускается в услужение“» (*Герцен А. И.* Собр. соч. Т. 12. С. 103—104).

[19]*...сбежал пудель черной шерсти.* — В. В. Виноградов справедливо видит здесь проявление символической двузначности (см.: *Виноградов В. В.* Натуралистический гротеск... С. 35). Символическая равновеликость этих понятий несомненна: «казначей» какого-то департамента — элемент бюрократической системы — фантастически воплощается в «пуделя черной шерсти», т. е. в дьявола. Образ дьявола в вариации «черного пуделя» закрепился в литературе благодаря культурной традиции средневековой символики, отразившейся в «Фаусте» Гете — книге, широко известной читателю гоголевского времени. В повести «Нос» образной параллелью к «пуделю черной шерсти» и к «казначею» какого-то департамента является сбежавший от Ковалева Нос, превратившийся в статского советника. Эти образы по своей функции и значению отождествляют бюрократический мир Петербурга.

[20]*Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос.* Здесь ощутим намек на широко цитируемую в 30-е гг. XIX столетия в газетах, журналах, альманахах, анекдотах книгу немецкого медика Карла Фердинанда Грефа (см.: *Виноградов В. В.* Натуралистический гротеск... С. 10—14). Кроме того, медицинская хирургическая практика тогда нередко занималась ринопластикой. В пример можно привести деятельность известного хирурга Иоганна Диффенбаха (1792—1847). А. И. Герцен вспоминал: «...я заметил, что мой сосед-консерватор говорил в нос вовсе не от простуды, а оттого, что у него его не было... Он, вероятно, заметил, что открытие это не принесло мне особенного удовольствия, и потому счел нужным рассказать мне, вроде извинения, историю о потере носа и его восстановлении. Первая часть была сбивчива — но вторая очень подробна: ему сам Диффенбах вырезал из руки новый нос, рука была привязана шесть недель к лицу» (*Герцен А. И.* Собр. соч. Т. 10. С. 14). Подобные устные рассказы бытовали и в качестве анекдотов, и в качестве жизненных историй. Повесть Гоголя — своеобразный отклик на социально-бытовые явления времени.

[21]*Синяя ассигнация* — кредитный билет синего цвета, достоинством в 5 рублей.

[22]*Штаб-офицеры* — среднее звено в военной иерархии: от чина майора до полковника.

[23]*Березенский* — дешевый сорт табака.

[24]*...частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов...* — *Частный пристав* — начальник полицейской части, в ведомство которой обычно входило несколько городских кварталов. Здесь содержится иронический намек на идеи эпикурейцев и их последователей, проповедовавших разумные наслаждения, уклонение от страданий, созерцательное отношение к жизни. Одним из наслаждений натуры Эпикур называет наслаждение от еды: «Начало и корень всякого блага есть удовольствие чрева, так что к этому удовольствию восходит все мудрое и превосходное». Или: «Я не знаю, что я вообще мог бы представлять себе в качестве блага, если бы я отбросил удовольствие от еды и питья» (История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М., 1962. Т. 1. С. 152). Скептики же, во главе которых стоял Пиррон, учили, что высшая точка в достижении гармонического самоощущения — не что иное, как равнодушие к радости, к горю ближнего, невмешательство в деятельный процесс жизни. В тексте Гоголя изречения древних мудрецов, основы их этики спроецированы на низменный, пошлый быт, восприняты уродливо.

[25]*Обер-офицеры* — низшая группа офицерских чинов: от чина прапорщика до капитана. Внешнее отличие обер-офицеров выражалось в том, что их эполеты были без кистей, а погоны — с одной продольной полоской.

[26]*...без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин...* Писатель как бы указывает путь ассоциаций читателю. Один ряд ассоциаций уводит в сторону социальных проблем: гражданин — не гражданин. По логике мысли героя, без носа он оказывается вне гражданства, человеком без прав, не может претендовать ни на какое должностное место, потому что налицо его увечье, необъяснимое и неизлечимое, намекающее на дурное поведение, на скрытое и скрываемое, о чем и свидетельствует «пасквильный», «преглупый» вид безносого героя. В Законах категорически запрещалось определение на службу чиновников, у кого замечено: «...б) болезненное положение, хотя и не от ран происшедшее, но по неизлечимости не дозволяющее вступать в какую-либо должность; в) явный недостаток ума; г) дурное поведение» (Свод законов. С. 47). По законам Ковалев не может рассчитывать и на пенсию, так как нос потерян не на войне («пусть бы уже на войне отрубили» — 3, 64), не может претендовать на определение в гражданскую службу как пострадавший, раненый, инвалидный офицер (с. 46). Ни один пункт закона он не может использовать в своих интересах: нос пропал «ни за что, ни про что, пропал даром, ни за грош!» (3, 64). Вот почему у героя вырывается, что без носа он — не гражданин, т. е. не защищен законами, все законы — против него, он — вне законов. Другой ряд ассоциаций связан со сферой переносных значений: человек — «птица — не птица», а черт знает что (3, 64). В данном случае имеется в виду лубочная картинка на тему осуждения и смирения гордости (см.: Ровинский. 1. № 248), проясняющая дополнительные метафорические смысловые оттенки нереализованных честолюбивых претензий героя, например: «стать птицей» — стать значительным лицом, большим чиновником.

[27]*...или во сне снится, или просто грезится...* Мотив сна-яви пронизывает всю художественную ткань повести. (Об использовании его в романтической прозе см.: *Манн Ю. В.* Поэтика Гоголя. С. 95, 96). В первой редакции повести Гоголь связывал мотивы пропавшего носа и сна. Во второй писатель весь план повествования перевел из сна в реальность. В то же время читатель явственно ощущает мнимость этой реальности; мотив сна оказался редуцированным, преображенным в мотив яви, похожей на сон. Центральным событием повести — пропавшим носом — Гоголь настраивает ассоциации читателя на толкователи снов: «Носа лишиться во сне — знак вреда и убытка» (Новый полный и подробный сонник... СПб., 1818. С. 179; в других сонниках потеря носа во сне объясняется точно так же). Смотреть значение сна по соннику — бытовая черта эпохи. Пушкинская Татьяна Ларина ищет разгадку своему сну в соннике Мартына Задеки. В повести Н. Ф. Вельтмана «Рукопись Мартына Задека» есть сцена, в которой старуха просит героиню: «Посмотри в соннике, что значит слышать во сне про мертвеца?» (*Вельтман Н. Ф.* MMMCLDXIVIII год. Рукопись Мартына Задека. М., 1833. Кн. 2. С. 55). Несмотря на то что гоголевский Ковалев не заглядывает в сонник, предсказание убытков и вреда от потери носа наяву угрожает герою. Таким образом, реальное — из сферы социальной действительности — и фантастическое — из сферы суеверий и предрассудков — переходит одно в другое, так что трудно различить границу, где начинается фантастическое, где продолжается реальное. Именно на этом построена поэтика мотива яви, похожей на сон в повести «Нос». Автор придает этому мотиву игровую комическую функцию, не упуская из виду бытовое сознание читателя, невольно связывающего художественные элементы фантастического сюжета повести с бытовыми явлениями эпохи.

[28]*...в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел...* Гоголь обращает внимание читателя и на день, когда нос пропал. Это не среда и не четверг, а утро *пятницы* — 25 марта. Чудесным образом вместо носа оказалось «совершенно гладкое место». Объяснение этого события лежит за пределами логических связей: возможно действие «волхвований колдовок-баб». В гадательной книге значение носа определено как число 24. Доказательством тому, что Гоголь знал об этом, служит замечание в «Риме» (3, 255). По замыслу автора, читатель должен улавливать этот пласт значений как современник своей эпохи. В этой связи не случайно и то, что нос пропал в ночь с 24 марта на 25. Интересно что в народных поверьях только 33 дня в году, «когда кудесники совершают свои чары», считались черными — днями гаданий. Один из них — 24 марта (*Даль В. И.* О поверьях, суеверьях и предсказаниях русского народа. СПб., 1890. С. 37—38). Кроме того, нос пропал не только с 24 на 25, но в ночь с четверга на пятницу. Как известно, в русской народной демонологии

пятница почиталась днем, связанным с нечистыми силами. На пятницу, по предрассудкам и чернокнижным указаниям, сбывались сны (см.: *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* Славянские языковые моделирующие системы. М., 1965. С. 90; *Успенский Б. А.* Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982. С. 135). Гоголь в свой сюжет ввел детали из сонников, связал их с днем недели — пятницей. По народным верованиям, у дня недели «пятны» была своя покровительница — Параскева Пятница, которая считалась бабьей святой, устроительницей браков (см.: *Максимов С. В.* Собр. соч.: в 20 т. СПб., 1912. Т. 17. С. 25). 25 марта в народе признавалось как день Богородицы. В бытовом осмыслении образы Параскевы Пятницы и Богородицы сливались на основе одной функции — защитниц женской чести, организующих браки (*Чичеров В. И.* Зимний период русского земледельческого календаря XVI—XIX веков. М., 1957. С. 41). У Гоголя символично, что в ночь на пятницу 25 марта майор Ковалев, цинично относящийся к вопросу брака, лишается носа и преследуется непонятным мщением. В повести число и день становятся своеобразными центрами, на которые сориентированы ассоциации из разных сфер — социальных и народно-бытовых суеверий.

[29]*Дилижанс* — многоместная карета, «весьма внушительных размеров, имеет форму карет, ходящих поныне по Невскому проспекту с лесенкой позади экипажа, спереди была колясочка, где находились „наружные места", одно было отделено для кондуктора, два было предоставлено пассажирам» (*Пыпин А. Н.* Мои заметки. М., 1910. С. 48).

[30]*...к счастью, были со мною очки...* — Очки — некая аномалия в общем облике офицера или чиновника, нарушающая строгость мундира, деталь неполноценности. Ношение очков оформлялось специальным приказом как исключение из правил (см.: *Васильев Н. В.* Карманная книжка генералов, штаб- и обер-офицеров и гражданских чиновников и их семейств. СПб., 1889. С. 23). Здесь: надеть «очки» — значит нарушить общий бюрократический порядок, выйти из общих правил предписаний и норм, увидеть в статском советнике, отъезжающем в Ригу, просто нос.

[31]*Съезжая* — полицейский участок и помещение для арестованных.

[32]*Бортище* — 12 пуговиц.

[33]*Красная ассигнация* — «то есть 10 рублей, деньги по тогдашнему большие» (*Свербеев Д. И.* — Т. 1. С. 126).

[34]*...сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим...* В поведении и способах лечения врача Гоголь высмеивает современных шарлатанов-магнетизеров, лечивших с помощью действия рук («дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос» — 3, 68), магнетизированной водой («мойте чаще холодною водою» — 3, 69), магнетическими внушениями (*уветливым* — «приветливым, магнетическим» голосом). Сам Гоголь пользовался услугами подобного лекаря. Для начала XIX в. врач-магнетизер — характерная фигура как для русского, так и для европейского быта. Можно вспомнить для примера повесть Гофмана «Магнетизер», которую русский читатель знал в переводе Д. В. Веневитинова, помещенную в «Московском вестнике» за 1827 г. в пятом номере под заглавием «Что пена в вине, то сны в голове». Эта врачебная практика популяризировалась и выходом в свет брошюр — таких как «Руководство к практическому изучению животного магнетизма». М., 1836. Ч. 1. Кроме того, в образе и приемах ученого гоголевского доктора угадываются образ и приемы лечения героя лубочных картинок и образ балаганного исполнителя лекарской профессии в народном театре, и образ знахаря. В действиях своего героя-доктора Гоголь высмеивает рутину и шарлатанство во врачебном искусстве, медицинское невежество.

[35]*Платон Кузьмич...* — Своих героев Гоголь наделяет говорящими именами, всегда имеющими определенное идейно-художественное значение. В отличие от однозначной функции имен и фамилий в классицистической поэтике (Правдин, Скотинин) имена гоголевских героев вызывают у читателя разные ассоциации. Очевидно, что Гоголь тщательно подбирает имена своим героям. В этой связи обращение к «переводу» имени необходимо. Имя майора Ковалева — Платон Кузьмич — в этом отношении не составляет исключения. Как это ни кажется надуманным, следует знать не только то, что значит греческое имя Платон — «широкий, широкоплечий, полный», но и отчество Кузьмич — от Кузьмы — с греческого «украшение», «мир» (*Петровский Н. А.* Словарь русских личных имен. М., 1980. С. 180). Платон Кузьмич — герой, широко представляющий мир Петербурга 30-х гг. XIX в., его «украшение». В имени героя ПЛатон, повторяющем имя известного философа античности, как бы

содержится указание на то, что идея характера героя Гоголя — идея глубокая, философская. Имя героя не исключает и игровой семантики: майор Ковалев — не тот Платон, так же как жестянщик Шиллер — не тот Шиллер. Очевидна многозначность имени, разные грани которой освещают характер героя дополнительными смыслами.

[36]*...история о танцующих стульях в Конюшенной улице...* — Об этом петербургском происшествии, относящемся к 1833 г., многие современники Гоголя оставили свои записи. На эту историю обратил внимание П. А. Вяземский: «Здесь долго говорили о странном явлении в доме конюшни придворной: в доме одного из чиновников стулья, столы плясали...» (Остафьевский архив кн. Вяземских. СПб., 1899. Кн. 3. С. 254—255). В дневниках А. С. Пушкина сказано о том же: «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих к придворной конюшне, мебели вздумали двигаться и прыгать» (П. 7, 273). В письме московского А. Я. Булгакова брату говорится: «Что за чудеса у вас были со стульями у какого-то конюшенного чиновника?» (Рус. архив, 1902. Кн. 1. С. 626). Ученик Гоголя М. Н. Логинов с детства запомнил рассказ своего учителя: «...как теперь помню комизм, с каким он передавал, например, городские слухи и толки о танцующих стульях» (*Логинов М. Н.* Соч. М., 1915. Т. 1. С. 7). Подобные рассказы в 1830-х гг. являлись не только в Петербурге, но и в провинции: «Страшное зрелище представилось нашим глазам. По комнате, то есть гостинной и зале, во всевозможных направлениях, двигались столы, стулья, комоды, диваны.., производя какой-то странный, неприятный для слуха шум и треск, в котором... слышалось что-то бесовское» (Воспоминания прошедшего, были, рассказы, портреты, очерки и прочее. М., 1868. Вып. 1. С. 81). Об истории танцующих стульев рассказывает и В. Ф. Одоевский в «Привидении». Гоголь, упоминая о ней и ставя ее в параллель с фантастической историей о носе, стилизует свой сюжет под бытовую фантастику времени.

[37]*...нос коллежского асессора Ковалева ровно в три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество.* — Гоголь обыгрывает рождение анекдотических слухов. А. И. Сулукадзев записывает подобную историю о попе, который, задрав козла, оделся в его шкуру, на свою голову надел голову козла с рогами и ночью пришел к крестьянину за деньгами, сказавшись чертом. Шкура козла чудесным образом приросла. Дело попало в святой Синод. И далее: «20 сентября по распространившемуся слуху в СПб будто сего попа провезли... Народа тысячами собралось по Невскому проспекту, разгоняли, ничто не берет, вызвали пожарных, пожарными трубами поливая, разогнали толпу» (*Сулукадзев А. П.* Записные книжки // Арх. ЛОИИ. 238, карт. 149, № 2. С. 18—19).

[38]*Магазин Юнкера* — модный магазин на углу Невского и Большой Морской.

[39]*Спекулятор* — спекулянт.

[40]*Хосрев-Мирза* — персидский принц, приезжавший в Россию в 1829 г. в связи с разгромом русского посольства и со зверским убийством в Тегеране русского посла А. С. Грибоедова. Во время пребывания в Петербурге жил в Таврическом дворце.

[41]*...покупавшего какую-то орденскую ленточку...* — В праздничные дни ордена и другие знаки отличия носили с лентами (см.: *Полянский А.* Форменная одежда гражданских чинов всех ведомств и учреждений. М., 1898. С. 8, 15). К разным орденам полагались и разные ленты, например к ордену Владимира — владимирская, Анны — анненская и т.д. Орден Владимира IV степени сопутствовал получению 7 класса — надворного советника: именно этот чин открывал для Ковалева возможность стать вице-губернатором или экзекутором в сенате. В «Своде законов» для кавказских чиновников было определено «сокращение срока на получение ордена Святого Владимира IV степени» (с. 117). Обычным путем таким орденом награждали за 35-летнюю службу. Указанием на «орденскую ленточку» писатель дает понять, что герой готовится к получению ордена и повышению в чине.

Портрет

Рукописные варианты повести хранятся в Москве — Российская государственная библиотека (РМ4); в С.-Петербурге — Российская национальная библиотека (РЛ4 — отрывки из бумаг А. А. Иванова); в Киеве — БУАН (РК4).

Замысел «Портрета» относят к 1831—1832 гг. (см.: начало примечаний). Подсказка времени работы над черновой редакцией повести содержится в самом тексте: Гоголь тщательно обдумал даты, здесь названные. Чудесное действие написанного в 1782 г. портрета ростовщика должно иссякнуть, по указанию автора, через 50 лет, т. е. к 1832 г. В связи с тем что финал повести датируется Гоголем 1832, то и время работы над черновой редакцией, вероятнее всего, не может быть отнесено далее.

Черновой текст «Портрета» не имеет принципиальных расхождений с первопечатным в сюжетно-композиционном строении. Изменения видны только в смысловых частностях и стилистической правке. Так, в рукописи РМ4 художник носит несколько фамилий: Корчев, Коблин, Коблев, Копьев, Чертков (на 182-й странице рукописи). Ростовщику писатель тоже не сразу подобрал фамилию, называя его то Пердомихали, то Пертомихали, то Мавромихал. Сын художника-богомаза в рукописи еще не имеет имени. Оно появляется лишь в печатной редакции: Леон. Нет в черновом варианте и указания на то, где живет художник, в отличие от «Арабесок»: «...в деревянном доме, на Васильевском острове, в 15 линии».

Готовя рукопись к печати, Гоголь многое в ней перестроил: обогатил образно-поэтическую систему языка, уточнив эпитеты, прибегнув к развернутым живописным характеристикам персонажей, поправив сюжетные мотивировки (в черновой редакции нет многих живописных деталей в описании необыкновенного портрета, нет «мальчика 14 лет», камердинера художника).

Беловой автограф рукописи «Портрета» утрачен. Вот почему невозможно установить следы вмешательства цензуры, а в этой связи понять выбор авторского варианта. В такой ситуации нет возможности для сравнения черновой и первопечатной редакций с целью внесения из первой во вторую текстовых поправок. Вариант «Портрета» «Арабесок» не подлежит в таком случае никакому изменению.

Вторая редакция «Портрета» была опубликована в IV отделе «Рассказов и повестей» (с. 1—92) в XXVII т. «Современника» Плетнева. Гоголь отправил свою повесть издателю 17 марта 1842 г. и просил в письме: «Если встретите погрешности в слоге, исправьте». (Переписка Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 242). В печатном тексте есть мелкие отступления от рукописи: поправки слога и языка, которые, вероятно, и были внесены П. А. Плетневым, а затем повторены в издании Н. Я. Прокоповича.

Переработку повести Н. С. Тихонравов относит к 1837 (начало апреля)—1841 гг. (*Гоголь Н. В.* Соч. 10-е изд., М., 1889. Т. 2. С. 597). Возможно, возвращение к работе над «Портретом» связано с тем, что первая редакция повести была холодно встречена критикой. Белинский писал: «„Портрет“ есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде. Здесь его талант падает, но он и в самом падении остается талантом. Первой части этой повести невозможно читать без увлечения... Но вторая ее часть решительно ничего не стоит: в ней совсем не видно Гоголя» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 180). С. П. Шевырев в своем отзыве с осуждением указывал на неумелое подражание Гоголя немецким романтикам — Гофману и Тику (см.: Московский наблюдатель. 1835. Ч. 1. С. 404). Видимо, писатель знал и мнение А. Г. Венецианова, его замечания о жизни художников и о деталях их быта (см.: *Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников. М., 1955. С. 46). Кроме того, обещая написать для журнала Плетнева статью, но не желая вступать в острейшую полемику, начавшуюся между Белинским и Шевыревым по вопросам искусства в 1841—1842 гг., Гоголь все же сдержал слово и высказал свою позицию: «Посылаю вам повесть мою „Портрет“. Она была напечатана в „Арабесках“, но вы этого не пугайтесь. Прочитайте ее, вы увидите, что осталась одна только канва прежней повести, что все вышито по ней вновь. В Риме я ее переделал вовсе или, лучше, написал вновь, вследствие сделанных еще в Петербурге замечаний». (Переписка... Т. 1. С. 241). Переработка шла, как видим, по следующим направлениям. Во-первых, снижения прямой фантастики: писатель ввел сон Чарткова, убрал мифологические и апокалиптические мотивы. Во-вторых, широко привлек бытовой материал; «подсветил» образы героев чертами реальных людей; в «Портрете» угадываются судьбы Л. Плахова, Д. Доу — в образе Чарткова, черты А. Г. Венецианова — в образе художника-самоучки, А. А. Иванова — в образе гениального художника, известного петербургского ростовщика-индуса Моджерама Мотомалова — в таинственном ростовщике Коломны и т. д. (см.: *Каратыгин П.* Записки. Л., 1970. С. 143; *Коробка Н. И.* Оригинал ростовщика в гоголевском «Портрете» // Литературный вестник. СПб., 1904. Т. 8. Кн. 1. С. 22; *Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников. С. 40—43; *Губарев И. М.* Петербургские повести Н. В. Гоголя. Ростов-на-

Дону, 1968. С. 141—142; 152—154; *Молева Н. М.* Архивное дело №... Рассказы. М., 1980. С. 275; *Алпатов М. А.* Александр Иванов: В 2 т. М., 1956. Т. 1. С. 220 и др.). Кроме того, он заново вписал во вторую часть повести две новеллы о меценате и о двух влюбленных, построенные сугубо на документальном материале (об этом в комментариях). В-третьих, углубил эстетическую проблематику. В-четвертых, яснее выразил этический идеал (см.: *Мордовченко Н. И.* Гоголь в работе над «Портретом» // Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. Вып. 4. Л., 1939). Все это повлияло на значительное изменение сюжета: Гоголь завуалировал фантастику разработанной системой мотивировок, углубил подтекст, отшлифовал «второй сюжет», изменил экспозицию и финал.

По-видимому, повесть была закончена в конце февраля—начале марта 1842 г. (3, 667). Беловая рукопись второй редакции «Портрета» (РК4) послужила оригиналом для переписчика. С этой копии и производился набор повести в «Современнике». Н. И. Мордовченко отмечает в рукописи РК2 три слоя поправок и исправлений; поправки рыжеватыми чернилами, карандашные и исправления черными чернилами, считая, что по своему характеру «эти три слоя поправок друг от друга принципиально не отличаются» (3, 668—669). Сравнив текст РК2 с текстом «Портрета» в «Современнике», ученый приходит к выводу о том, что писарская копия, не дошедшая до нас, была выправлена рукою Гоголя, что в ней была сделана и частичная стилистическая правка Плетневым, а также имели место здесь и цензурные купюры. В связи с тем что отделить авторский текст от последующих изменений из-за утраты копии не представляется возможным, Н. И. Мордовченко за основной принимает текст «Современника», осторожно вводя в него поправки по рукописи РК2, каждый раз убедительно их обосновывая (3, 669—670).

В настоящем издании повесть печатается по «Современнику» с учетом поправок РК2, введенных Н. И. Мордовченко в АП (3, 670).

В процессе создания «Портрета» важную роль сыграли и литературные впечатления писателя. Центральный мотив таинственного портрета, как давно уже замечено, восходит к подобному мотиву романа Ч. Р. Мэтьюрина «Мельмот-Скиталец», а также к повести Ваш. Ирвинга «Таинственный портрет», перекликаются и судьбы гоголевских героев с судьбами героев Гофмана, Гете, Бальзака (см.: *Чудаков Г. И.* Отношение творчества Гоголя к западноевропейским литературам. Киев, 1908. С. 92—100; *Веселовский А. Н.* Западное влияние в новой русской литературе. М., 1906; *Шляпкин И. А.* «Портрет» Гоголя и «Мельмот-Скиталец» Мэтьюрина // Литературный вестник. СПб., 1902. Т. 3. Кн. 1—4. С. 67—68; *Родзевич С. И.* К истории русского романтизма (Э. Г. Гофман и 30—40-е гг. в нашей литературе) // Русский филологический вестник. Пг., 1917. С. 218; *Шамбинаго С.* Трилогия романтизма (Н. В.Гоголь). М., 1911. С. 72; *Мордовченко Н. И.* Гоголь в работе над «Портретом». С. 100—124; *Gorlin M. I.* N. V. Gogol und E. Th. A. Hoffmann. Leipzig, 1933. С. 46—47; *Израилевич Л. К.* К вопросу о влиянии Гофмана на Гоголя // Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та, № 33. Сер. филол. наук. Л., 1939. Вып. 1. С. 152; *Серапионова З.* Гофмановские мотивы в Петербургских повестях Гоголя // Лит. учеба, 1939. № 8. С. 81—89; *Ботникова А. Б.* Э. Т. А. Гофман и русская литература. Воронеж, 1977. С. 109—112; *Елистратова А. А.* Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М., 1972; *Манн Ю. В.* Поэтика Гоголя. С. 78—83 и др.). В «Портрете» очевидна необычайная, редкостная «широта историко-литературных просторов». Например, важнейший мотив продажи души дьяволу в повести влечет ассоциации из романа «Элексиры сатаны» Гофмана и из «Фауста» Гете. По тонкому замечанию А. В. Михайлова, для Гоголя характерно переосмысление поэтической тысячелетней традиции, ее богатства, открывающихся перспектив. Мир Гоголя по уровню, качеству своего творчества, справедливо считает ученый, родствен миру Пушкина и Гете и чужд миру Гофмана (см.: *Михайлов А. В.* Гоголь в своей литературной эпохе // Гоголь: история и современность. С. 113, 115—119). Надо сказать, что вопрос о влиянии творчества Гофмана на творчество Гоголя в науке достаточно дискуссионен (см.: *Gorlin M.* N. V. Gogol und E. Th. A. Hoffmann. С. 46—47; *Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 257). В последнее время справедливо отмечают, что развитие Гоголя как писателя «сопровождалось изгнанием из его произведений всего поверхностного, что проникало в них из круга новой литературы» (см.: *Михайлов А. В.* Гоголь в своей литературной эпохе. С. 129), в том числе и из творчества Гофмана. Нельзя исключить связи Гоголя с национальной традицией разработки темы художника в русской литературе его времени: с произведениями А. В. Ти-

мофеева («Художник»); Н. А. Полевого («Живописец»); В. Ф. Одоевского (повести о художниках и музыкантах); Н. В. Павлова («Именины»); А. С. Пушкина («Египетские ночи») и др. (см.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский. М., 1913. Т. 2. С. 336—337; *Гиппиус В. В.* От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966. С. 78; *Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. С. 331—333; *Фридлендер Г. М.* Вопросы реализма в творчестве Гоголя 30-х годов // Проблемы русской литературы XIX века. М.; Л., 1961. С. 61; *Антонова Н. Н.* Проблемы художника и действительности в повести Гоголя «Портрет» // Там же. С. 347; *Степанов Н. Л.* Н. В. Гоголь. М., 1955. С. 235 и др.).

Вторая редакция «Портрета», как известно, отразила новую идейную концепцию Гоголя, его мысли об искусстве, которые были сформулированы в седьмой главе «Мертвых душ» и в «Театральном разъезде» — о сущности художественного творчества и метода писателя.

Но и в варианте второй редакции повесть вызвала неудовольствие Белинского, который повторил свои замечания, высказанные в первой статье о Гоголе. Критик писал: «Что же вышло из этой переделки? Первая часть повести, за немногими исключениями, стала несравненно лучше.., но вся остальная половина повести невыносимо дурна и со стороны главной мысли и со стороны подробностей... А мысль повести прекрасна, если б поэт понял ее в современном духе: в Чарткове он хотел изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно, и самого себя жадностью к деньгам и обаянием мелкой известности. И выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве каждодневной действительности». (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 154).

[1] *Щукин двор* — один из петербургских рынков (часть Апраксина двора).

[2] *...увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах.* — Здесь говорится о лубочных народных картинках, иллюстрации которых приведены в данном издании. Лубочная картинка — вид народного творчества, возникший на Руси в начале XVII в. Они печатались на деревянных досках, позднее оттиски картины снимались с медных досок. Готовые гравюры отдавались в раскраску в три-четыре цвета, как правило, красный, зеленый, лиловый и желтый. В конце XVII—начале XVIII столетия постепенно выработался не похожий ни на европейский, ни на восточный тип русского лубка, сочетавший в себе черты книжной иллюстрации с особенностями станкового произведения. Первыми исследователями лубка в России были литератор М. Макаров (1789—1847), знаток народного творчества И. М. Снегирев (1793—1868), сенатор и правовед Д. А. Ровинский (1824—1895).

[3] *Миликтриса Кирбитьевна* — персонаж популярной народной книги.

[4] *...народ заглядывается на Ерусланов Лазаревичей, на объедал и обпивал, на Фому и Ерему.* Еруслан Лазаревич — русский лубочный богатырь, герой народной книги, которая была выпущена до 1800 г., к ней была приложена одна гравировка. *Объедала и обпивала* — в XVIII в. в Москву попала французская народная картинка на тему романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»: великан Гаргантюа за обедом. Мастер-гравировальщик скопировал ее, а издатель переименовал на русский лад: «Славной объедала и веселой подпивала». Связь русской картинки с французской установил Д. А. Ровинский. *Фома и Ерема* — комические персонажи русского фольклора и лубочных картинок. Фома и Ерема — шуты из семейства лубочных дураков и скоморохов, герои русских балаганных представлений или ярмарочных гуляний. Они продолжают ряд таких героев, как шут Фарнос и шут Гонос, как шуты Карп и Ларя, Парамошка и Савоська. Особенно популярны эти картинки были в годы царствования Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.

[5] *Беленькая* — ассигнация, достоинством в 50 рублей.

[6] *Биржа* — место, где в известное время собиралось купечество по торговым делам, обычно здесь товары продавались оптом и по образцам.

[7] *...попадешь в английский род.* — Возможно, здесь содержится намек на манеру письма английского художника Джорджа Доу (1781—1829), приглашенного в Россию для создания портретной галереи героев 1812 г. Отношение к его творчеству было неоднозначным. Например, художники Общества поощрения считали, что манера Доу не может быть полезна для русской школы живописи (см.: *Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников. С. 54).

[8] *Рафаэль Санцио* (1483—1520) — великий итальянский художник эпохи Возрождения.

[9] *Гвидо Рени* (1575—1642) — итальянский художник эпохи позднего Возрождения.

[10]*Тициан Вечеллио* (1480-е—1576) — великий итальянский художник эпохи Возрождения.

[11]*Фламандцы* — представители фламандской школы живописи. Их работы отличались подчеркнутым интересом к натуре. Самые выдающиеся художники этой школы — Рубенс Питер Пауэл (1577—1640) и Ван Дейк Антонис (1599—1641).

[12]*...кому нужны рисунки с антиков из натурного класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты... — Антики* — гипсовые слепки с античных (древнегреческих или древнеримских) скульптур. Гоголь как бы ставит рядом две стилевые манеры в живописи: старую, академическую, опирающуюся на классицистическую традицию, и новую — натуралистическую, жанровую. Для Чарткова — это ученические штудии, «пробы» своего таланта в разных художественных методах, что свидетельствует о незрелости его художественной мысли и стиля. Академическая школа живописи представлена его этюдом на мифологический сюжет о любви Психеи, земной девушки дивной красоты, и Амура, бога любви. Новая школа живописи обнаруживается в других работах Чарткова: «Перспектива комнаты», «Портрет Никиты». В тридцатых годах XIX в. представителями старой академической школы живописи в России были Ф. А. Бруни (1799—1875), В. К. Шебуев (1777—1855), А. Е. Егоров (1776—1851), а новое направление в живописи, вслед за А. Г. Венециановым, защищали Г. В. Сорока (1823—1864), А. В. Тыранов (1808—1859), Л. К. Плахов (1810—1881).

[13]*«Глядит, глядит человеческими глазами!» ∾ приданы полотну.* — Этого фрагмента не было в редакции 1835 г. Гоголь сравнивает впечатление Чарткова от глядящих глаз на неоконченном портрете неизвестного мастера с описанием портрета Моны Лизы, принадлежащего кисти великого итальянского художника и ученого эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452—1519), сделанным Джорджо Вазари (1511—1574), итальянским художником и архитектором, автором многотомного «Жизнеописания». Вазари писал: «Взялся Леонардо выполнить для Франческо дель Джокондо портрет Моны Лизы, жены его, и, потрудившись над ним четыре года, оставил его недовершенным... в этом произведении воспроизведены все мельчайшие подробности, какие только может передать тонкость живописи. Поэтому глаза имеют блеск и ту влажность, какие обычно видны у живого человека, а вокруг них переданы все те красноватые отсветы и волоски, которые придаются изображению лишь при величайшей тонкости мастерства» (*Вазари Д.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М.; Л., 1933. Т. 2. С. 106). Гоголь подробно воспроизводит в своей повести запись Вазари, о которой мог знать от русских художников. Во второй редакции «Портрета» появление новых текстов связано с рассуждениями Чарткова и автора об искусстве. В эти рассуждения широко включаются имена всемирноизвестных живописцев разных школ, времен и народов, но чаще всего — итальянских: Рафаэля, Тициана, Гвида, Леонардо да Винчи, Микеланджело — этого не было в первой редакции повести. В Риме Гоголь жил в атмосфере итальянского искусства старых мастеров. В текст Гоголя из искусства итальянского Возрождения проникают только имена. Однако их упоминание корректирует эстетические нормы, сквозь призму которых писатель смотрит на искусство своей эпохи и стремится сформулировать законы художественности.

[14]*Громобой* — герой баллады В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев», продавший душу дьяволу. Отклик этого сюжетного мотива отражен в «Портрете».

[15]*...куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин.* — Здесь Гоголь описывает обычный интерьер мастерской художника (см.: К. А. Ухтомский «В мастерской художника», А. В. Тыранов «Кабинет А. Г. Венецианова»). В «Портрете» упомянуты обычные аксессуары художественной мастерской: *манкен*, то есть кукла, которая служит моделью для какой-либо работы художника. *Гипсовый торсик, ножки* — отливки из гипса в натуральную величину или бóльшего масштаба с соблюдением строгого и точного анатомического строения частей человеческого тела. *Венера* — возможно, имеется в виду копия с известной древнегреческой скульптуры Венеры Милосской, богини любви и красоты, найденной на острове Милосе в 1820 г., возможно, и другая скульптура Венеры. (См.: картину А. А. Алексеева «Мастерская художника А. Г. Венецианова в Петербурге» — 1829). Древнегреческая скульптура, по общему мнению, передавала совершенные пропорции человеческого тела и служила для художников моделью идеальных форм. *Гравюры с первых картин* — гравировальные копии известных картин старинных мастеров.

[16]*Теньер Давид* (1610—1690) — голландский художник, писавший жанровые сцены из бытовой жизни.

[17]*Корредж* — Антонио Корреджо (1494—1534), итальянский художник эпохи Возрождения.

[18]*Марс* — бог войны, олицетворение суровости и мужества.

[19]*Байрон Джордж Гордон* (1788—1824) — великий английский поэт-романтик, личность и внешность которого стали своеобразным стереотипом, художественным типажом в романтическом искусстве.

[20]*...Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы... — Коринна* — героиня одноименного романа (издан в 1807 г.) французской писательницы Анны Луизы Жерминьи де Сталь (1768—1817). *Ундина* — водяной дух, русалка, героиня одноименной повести немецкого романтика Фридриха де ла Мотт Фуке (1777—1843), которую «перевыразил» В. А.Жуковский в 1837 г. Гоголь высоко ценил «Ундину» Жуковского: «Чудо, что за прелесть!» (9, 106). *Аспазия* — (V в. до н. э.) — знаменитая гречанка, возлюбленная афинского государственного деятеля Перикла, отличающаяся красотой, умом, образованностью, покровительствовала искусствам.

[21]*Микель-Анжел* — Микеланджело Буонарроти (1475—1564), великий итальянский скульптор, живописец и архитектор.

[22]*Этот художник* ∾ *нещегольским нарядом.* — Несомненно здесь Гоголь имеет в виду художника Александра Андреевича Иванова (1806—1858), с которым был близко знаком и дружен, особенно в 1838—1841 гг. Писатель в «Портрете» как бы восстанавливает в общих чертах творческую биографию художника. С одиннадцати лет А. А. Иванов учился в Академии художеств, с 1817 по 1828 г. в классе у своего отца, художника А. И. Иванова, и в классе А. Е. Егорова. Его ранние работы отличались такой зрелостью художественной кисти и мышления, что вызывали недоверие: «Не сам делал!» (см.: Словарь русских художников. СПб., 1895. Т. 2). С 1831 г. он был отправлен учиться в Италию на средства Общества поощрителей, надолго расставшись с родными и с отечеством — практически до 1858 г. В облике А. А. Иванова, в его творческом самоотречении Гоголь видел образ идеального художника, о чем писал позднее в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (8, 355—356). Тексты «Портрета» и «Переписки» соотносятся как две вариации на одну тему, как парафраза одного и того же. Подкрепляют эту догадку и воспоминания об Иванове современников, указавших и на небрежение художником быта, и на равнодушное отношение к одежде, и на печать отшельничества в его облике. М. П. Погодин отмечает: «25 марта 1839 года Гоголь повел нас в студию русского художника Иванова...Мы увидели в комнате Иванова ужасный беспорядок... Сам он в простой холстинной блузе, с долгими волосами, которые он не стриг, кажется, года два, с палитрою в одной руке, с кистью в другой, стоит один-одинехонек... погруженный в размышления». (см.: *Боткин М. П.* Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806—1858. СПб., 1880. С. IX). Или зарисовка И. С. Тургенева: «Долгое разобщение с людьми, уединенное житье с самим собою, с одной и той же постоянной, неизменной мыслью, наложило на Иванова особенную печать; в нем было что-то мистическое и детское, мудрое и забавное, все в одно и то же время» (там же. С. 411). Сам А. А. Иванов в апреле 1839 г. писал отцу о приезде наследника (будущего Александра II. — *О. Д.*) в Рим: «Мы все представлялись наследнику без бород и усов... жили по-петербургски... принимали к себе в мастерские — князей и графов с фамилиями... наконец, рады были, что все разъехались, оставя нам вместо бритвы, щеток и фрака — кисти и палитру, и одевшись в полуразбойничье платье, я подмалёвывал всю мою большую картину...» (см.: Словарь русских художников. Т. 2. С. 48). Или в другом письме — к Ф. В. Чижову: «Неимоверных трудов стоит выторговать у света право на келью, хоть бы и сыскался монах, одаренный всеми способностями к затворничеству» (см.: *Боткин М. П.* Александр Андреевич Иванов. С. 255). В первой редакции этот фрагмент текста был иным: короче и лишен тех подробностей, которые красноречиво указывают во второй на то, что прототипом образа художника-мастера является А. А. Иванов. В первой же, по скупым приметам текста, в образе художника, совершенствовавшегося в Италии, и в его выставочной картине угадывается образ известного талантливого русского живописца К. И. Брюллова, учившегося в Италии на средства Общества поощрителей, бедствовавшего там, наконец, прославившегося своей картиной «Последний день Помпеи», которой Гоголь посвятил отдельную статью в «Арабесках» (см.: *Докусов А. М.* «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Л., 1962. С. 42).

[23]*Ему не было нужды ∾ преследуя чудную кисть.* — Разные люди в разное время отмечали, как и Гоголь, особый интерес А. А. Иванова к искусству старых мастеров, перед картинами которых художник «застаивался» по целым часам. «Старым художникам он придавал большое, не безотносительное, но историческое значение... в особенности ценил Леонардо да Винчи... Рафаэля он превозносил...» (см.: *Боткин М. П.* Александр Андреевич Иванов. С. 404—405). Чуть позднее В. П. Гаевский отмечал, что «предметом безусловного его (А. А. Иванова. — *О. Д.*) поклонения были, на этот раз, в особенности Тициан и Гвидо Рени» (там же. С. 407). Именно эти имена итальянских художников Гоголь упоминает в «Портрете».

[24]*...он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов.* — Как пишет Н. Г. Машковцев, «Гоголь только в Риме мог узнать „назарейцев" или пуристов (1820—1840) — группу немецких художников во главе с Овербеком и Корнелиусом (*Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников. С. 56). Гоголь, как и А. А. Иванов, относился к ним критически. Овербека писатель называл немецким педантом (см.: *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 80).

[25]*...оставил себе в учители одного божественного Рафаэля.* — Единодушно современники называют именно А. А. Иванова Рафаэлем Нового времени. Об этом говорит не только Н. В.Гоголь, но и А. С. Хомяков (см.: *Хомяков А. С.* Соч. М., 1914. Т. 3. С. 361), и П. М. Ковалевский, и многие другие. Отзываясь о картине А. А.Иванова «Явление Христа народу», Гоголь писал: «Весь Рим начинает говорить гласно, судя даже по нынешнему ее виду, в котором далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобного явления еще не показывалось от времени Рафаэля и Леонардо да Винчи» (8, 335). Мнение о том, что Иванов избрал себе в учителя Рафаэля и Леонардо да Винчи, изучил их манеру всесторонне, во всех тонкостях и глубинах их стиля, было общим, как и то, что Иванов в современной живописи 1830—1850-х гг. не только как бы воскресил манеру старых мастеров, но и наполнил ее новым содержанием. В. В. Стасов обобщил это понимание в своей работе: «Иванов достиг тут (имеется в виду картина «Явление Христа народу». — *О. Д.*) своих давнишних учителей и идеалов — Рафаэля и Леонардо да Винчи. Надо прямо сказать: он сущий Рафаэль и Леонардо да Винчи нашего времени. Только... он прибавил все то глубокое, верное и правдивое по внешней форме и по внутренней психологии, что наш век способен был прибавить к созданиям этого рода» (*Стасов В. В.* Статьи об искусстве. М., 1937. С. 45—46). Очевидно, в создании образа идеального художника, приславшего картину из Италии, Гоголь использовал черты биографии и творческих устремлений А. А. Иванова. Здесь есть еще одно важное обстоятельство: образ идеального художника спроецирован в «Портрете» не только на А. А. Иванова, но и на самого Гоголя, воспринимавшихся в среде русских стажеров-художников как «неразлучная парочка», ни с кем, кроме как друг с другом, не обсуждавших свои работы и вопросы творчества (см.: *Боткин М. П.* Александр Андреевич Иванов. С. 399). И позднее современники угадывали и видели общность человеческой и творческой судьбы Иванова и Гоголя, не раз отмечая, что Иванов был в живописи то же, что Гоголь в литературе (см.: *Хомяков А. С.* Соч. Т. 3. С. 347).

[26]*Василиск* — мифическое существо со смертоносным взглядом. Василиска изображали с головой петуха, туловищем жабы и хвостом змеи.

[27]*...страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин.* — Здесь имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «Демон» (1823).

[28]*Гарпия* — богиня вихря (*греч. миф.*). Ее изображали крылатым чудовищем, птицей с девичьим лицом. В сказаниях об аргонавтах гарпии мучили слепого фракийского царя Финея, похищая и оскверняя его пищу.

[29]*...погруженные в зефиры и амуры...* — Измененная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «Сам погружен умом в зефирах и амурах...» — о промотавшем состояние помещике, любителе крепостного театра.

[30]*...старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами ∾ кенкеты...* — Распространенные в XVIII и XIX вв. формы столов, стульев, кресел, диванов с точеными ножками и ручками в виде грифов, сфинксов; *гриф* — (*миф.*) — существо с головой орла и туловищем льва; *сфинкс* — с головой человека и туловищем льва; *кенкет* — старинная масляная лампа.

[31]*Коломна* — район Петербурга от Садовой улицы.

[32]*Калинкин мост* — через Фонтанку по Старо-Петергофской першпективе.

[33]*Высокий, почти необыкновенный рост ∾ густые брови...* — Портрет ростовщика напоминает образ колдуна: суеверное сознание выделило его высокий рост, особые глаза, обязательно блестящие, необыкновенного огня, пронизывающие, нависшие густые брови, подчеркнутую уродливость. Описание ростовщика говорит о том, что Гоголь был хорошо знаком с народными рассказами о связанных с демоническими силами колдунах, их обликом, образом жизни, привычками, манерами. Как видим, изображение портрета ростовщика в повести связано не только с эстетическими нормами романтической поэтики (см.: *Никитина Н. А.* К вопросу о русских колдунах // Сборник антропологии и этнографии. Л., АН СССР, 1928. Т. 7. С. 301—302).

[34]*...поощрительные призы...* — С 1820-х гг. слово «поощрительные», «поощрительство» стало носить вполне терминологическое значение. Частное общество поощрения художников было образовано в 1819 г. В первое десятилетие своего существования общество зависело от взглядов и стремлений сановных людей, меценатов, на средства которых, именем и связями которых оно поддерживалось: сенатора И. А. Гагарина, флигель-адъютанта Л. И. Киля, министра внутренних дел В. П. Кочубея, статс-секретаря императора П. А. Кикина, издателя П. П. Свиньина. Общество поощрителей отчисляло средства на содержание талантливых художников, отправляло особо одаренных для учебы в Италию. Его питомцами были К. Брюллов, А. Иванов, Л. Плахов, А. Мокрицкий и многие другие. Сам Гоголь через Общество стал вхож в Академию художеств и в 1830—1833 гг. посещал ее классы (см.: *Молева Н. М.* Архивное дело №... Рассказы. С. 272).

[35]*...случилась французская революция.* — Здесь: Великая французская революция (1789—1794).

[36]*Великодушная государыня...* — Упоминание имени Екатерины II в тексте «Портрета» весьма знаменательно. Известно, что похвала ей во времена правления Николая I чуть ли не вызывала цензурные преследования (см.: *Бартенев П. И.* Мои записки // РГАЛИ, ф. 46, оп. 1, № 5, л. 80 об.). Николай I относился к своей бабке непочтительно, не любил сравнения с ней, ее портреты были изгнаны из галереи Эрмитажа. О чувствах императора знали и стремились им угождать.

Традиционно с именем Екатерины II в России связывался расцвет просвещения. В «Портрете» Гоголя в уста Екатерины вложена всем знакомая просветительская мысль об искусстве, однако, с точки зрения николаевского режима, мысль кощунственная — о том, что «ученые, поэты и все производители искусства» (3, 123) служат исключительно основам общественного совершенства. Речь Екатерины II — скрытый урок Николаю I. Включение в текст второй редакции Екатерины II как действующего лица совершенно не случайно: автор таким образом указывает на ее оппонента в вопросах искусства — современного монарха России, о котором королева Виктория отзывалась как о царе, ум которого необработан и односторонен, направлен только к интересам военного дела и политики, который «не обращает внимания на искусства и на все более нежные занятия» (см.: *Матищев С.* Император Николай и иностранные дворы. СПб., 1889. С. 28—29). Царь равнодушен и к вопросам национального совершенства, которое, по мысли Гоголя, непосредственно связано с идеалами, создающимися в искусстве.

[37]*Другой разительный пример произошел тоже в виду всех...* — Во вторую редакцию «Портрета» Гоголь вводит новеллу о влюбленных, явно имеющую аналогию в реальной жизни, отражающую историю женитьбы С. Д. Безобразова (1809—1879) на фрейлине императрицы и возлюбленной императора Любови Хилковой. Эта история 1830-х гг. получила широкую огласку. О ней писал А. С. Пушкин (П. 8, 33), П. А. Вяземский (Остафьевский архив кн. Вяземских. Кн. 3. С. 255). Н. И. Макаров называл С. Д. Безобразова «варшавским Дон Жуаном», необыкновенным красавцем, «грозой мужей хорошеньких жен и отцов хорошеньких дочерей». С. Д. Безобразов за свои любовные подвиги расплатился сполна в период своей женитьбы (см.: *Макаров Н.* Мои семидесятилетние воспоминания. СПб., 1882. Ч. 4. С. 105—106). Заподозрив молодую жену в измене, Безобразов не только побоями учил ее, но и покушался на ее жизнь, угрожая ножом. В связи с этим молодая женщина обратилась к государыне и им был дан развод с высочайшего соизволения. Безобразов был выслан на Кавказ в действующую армию, разжалован в чинах. Блестяще начатая карьера флигель-адъютанта была оборвана. То, что и Гоголь знал эту историю в подробностях, известных многим, говорит текст повести.

[38]*Грандинсон* — добродетельный герой романа английского писателя С. Ричардсона (1689—1761) «История сэра Чарльза Грандисона» (1754).

[39] «*Историческая живопись*». — В понятие *историческая живопись* Гоголь вкладывает такой же смысл, что и А. Иванов. Историческую живопись А. Иванов противопоставляет живописи жанровой и портретной, с одной стороны, живописи «иконописной», церковной, аллегорической — с другой. Для Иванова, так же как и для Гоголя, в исторической живописи важна была не только тема, но и метод. Художник постигал любое явление жизни и человеческую личность как исторические, выражающие всеобщее значение, — в этом проявлялся высокий строй его мыслей. Становится понятным, почему и для Гоголя «простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать исторической живописью» (3, 126).

[40]*Вервие* — веревка.

Шинель

Рукописи повести́ хранятся в РГБ (РМ3; РМ5) и в РНБ (РЛ4).

Самый ранний отрывок (РМ3) озаглавлен «Повесть о чиновнике, крадущем шинели» и написан, по мнению Н. С. Тихонравова, почерком М. П. Погодина, видимо, под диктовку автора. В этой связи справедливо предположение ученого о том, что диктовка могла иметь место в июле—августе 1839 г., когда Гоголь и Погодин встретились в Мариенбаде (*Гоголь Н.* Соч. М., 1889. 10-е изд. Т. 2. С. 617—619). Эта рукопись получила название мариенбадской, первой редакции.

Рукописные разрозненные отрывки повести хранятся в С.-Петербурге (2, 3, 4, 10) и в Москве (1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14), согласно нумерации Н. С. Тихонравова. Эти отрывки тщательно описаны и собраны в некую целостную картину В. Л. Комаровичем в АП (3, 667—682). Ученый выделяет из этой группы отрывки 1, 5 и 8, называя их «второй редакцией» повести, над которой, как он считает, Гоголь работал в августе—сентябре 1839 г. в Вене. Разница между двумя редакциями, по заключению исследователя, состоит в том, что писатель, избрав сначала узко-анекдотический сюжет каламбурно-юмористического характера, в венской редакции расширил его до пределов художественного обобщения (3, 681). Гоголь продолжил работу над повестью уже в Петербурге в ноябре—декабре 1839 г. (третья редакция: отрывки 2, 3, 4, 6, 7, 9,10), а закончил, по предположению В. Л. Комаровича, в Риме (отрывки 11, 12, 13), не ранее конца апреля 1841 г. (3, 683). Только на последнем этапе работы у повести появилось новое заглавие — «Шинель». Герой ее в самой первой редакции вообще не имел имени, во второй он назывался *Акакий Акакиевич Тишкевич*, в последующих — *Башмакевич* (подробнее см.: 3, 686). Весь ход работы писателя над рукописью показывает, как менялись эпизоды повести (например, эпизод рождения героя), как нарастал сентиментально-патетический элемент за счет комического, как усиливался сатирический пафос против сильных мира сего. Особой переработке подверглась рукопись эпилога, несомненно по соображениям цензурного порядка. Об этом говорят замены в первопечатном тексте, когда вместо фразы «...как обрушивалось на царей и повелителей мира» появляется «...как обрушивается оно на главы сильных мира сего» или вместо «...пусть бы еще титулярных, а то даже самих тайных советников» — фраза «...но даже и надворных советников». В. Л. Комарович относит и замену в печатном тексте «Семеновских казарм» на «Обуховым мостом» тоже к цензурным обстоятельствам (3, 686).

Писарская копия «Шинели», с которой работал Н. Я. Прокопович, утрачена. По свидетельству редактора первого собрания сочинений, в ней были пропуски, которые «по догадкам» заполнил сам Прокопович (об этом в письме к С. П. Шевыреву от 6 августа 1842). Позднее он писал Гоголю: «Никитенко... в „Шинели" хотя не коснулся ничего существенного, но вычеркнул некоторые весьма интересные места. Впрочем, Краевский взялся и хлопочет об этом сильно, а Никитенко обнадежил меня, что все сделает, что будет можно. В эту самую минуту, как пишу тебе, судьба этих мест решается» (Переписка Н. В.Гоголя. Т. 1. С. 109). Однако Прокоповичу пришлось иметь дело с цензурой вторично, когда третий том был отпечатан, а выпуск его в продажу был задержан именно из-за нескольких мест из «Шинели» (см.: Литературный музеум. Центральные материалы, I. СПб., (без года издания). С. 51—52). Только в конце января 1843 г. этот том дошел до читателя.

При жизни Гоголя «Шинель» больше не переиздавалась, но в 1851 г. в корректурных листах второго издания писатель ее читал и правил. Вероятнее всего, Гоголь вводил вычеркнутый цензурный текст, например, о выслуге чиновником геморроя. Другие исправления — орфографические ошибки или опечатки первого издания — вряд ли принадлежат автору.

За основной текст настоящего издания принимается текст издания 1842 г., в который внесены тексты из рукописей РМ3 и РЛ4, связанные с цензурными изменениями, а также восстановлен гоголевский рукописный текст в тех местах, в которых видна мелкая грамматическая редакторская правка Прокоповича, повторенная и в редакции Трушковского. Это отражено в разделе «Другие редакции и варианты». Здесь же даются следующие отрывки: «Повесть о чиновнике, крадущем шинели»; отрывки второй редакции (1, 5, 8); первоначальная редакция эпилога (13). В отличие от академического издания, изменено выражение «...сошел с лестницы и сел в сани» (3, 173) и восстановлено в том виде, в каком оно было в первопечатном издании: «...сошел с лестницы и стал в сани» (3, 308). Трудно предположить, что, исправляя погрешности писца, учитель словесности в гимназии Н. Я. Прокопович упустил бы эту логическую неувязку, а сам Гоголь, исправляя орфо-графические ошибки в корректуре второго издания, не заметил ее. В черновой рукописи было: «...сел в санки», В. Л. Комарович соединяет частично первопечатный и частично рукописный тексты, создав текст от редакции: «...сел в сани». Думается, во фразе «...сошел с лестницы и стал в сани», не измененной ни в первом, ни во втором издании, может быть прочитан особый смысл, связанный с социально-бытовой атмосферой эпохи. По тонкому замечанию А. А. Ахматовой, в Петербурге стоя ездил только А. Х. Бенкендорф. Учитывая текст повести в том месте, где говорится: «...на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника» (3, 164), не исключено, что *значительное лицо* таким образом отнесено автором к лицам, принадлежащим к высшим эшелонам власти. Совсем необязательно здесь подразумевать Бенкендорфа (к 1842 г. его уже не было в живых), но мог остаться заведенный начальником обычай. Тем более что *значительное лицо* в связи с характером дела Башмачкина несомненно служил по юстиции: или в полиции, или в сенате. Эти значения не должны быть утрачены в понимании характера генерала.

По словам П. В. Анненкова, работа над повестью была начата в 1834 г. под впечатлением рассказанного анекдота о чиновнике, потерявшем ружье (*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 431). Можно привести более близкий к тексту «Шинели» пример: «у Таврического сада в 6 или 7 шагах от будки в вечеру напали плуты на одного порядочного господина и ограбили его, сняли шинель, отняли часы, бумажник и прочее, он кричал, но будочник отвечал, что один он и от будки, своего поста, он отойти не может. Что делать, ограбленный сердится и бранит будочника, как в сие время идет надзиратель и спрашивает о причине крика. Оскорбленный рассказывает свое горе, но квартальный оправдывает будочника тем, что он есть часовой, а потому от своего поста никуда отлучаться не должен.

Ограбленный выслушал весь вздор, спросил, что по крайней мере желает ли он знать, как сие с ним случилось и где. Надзиратель говорит: охотно. И так отходят оба на то расстояние, где его обокрали. Вот здесь на меня напали, говорит, вот с сего места я кричал будочнику, и вот первый удар, мною полученный от мошенника (с сими словами оскорбленный влепил жестокий удар по голове квартального, потом в груди и далее, так что полиции служащий завопил о помощи и требует помощи будочника). Но показывающий как его били и грабили, кричит: „Ни с места, часовой, тебе нельзя оставить свой пост“, потом квартальный хотел вести его в часть, но тот, не согласясь, пошел к Шульгину, обер-полицмейстеру, и тоже пересказал все открыто так дело, что Шульгин велел битому же квартальному заплатить 500 рублей ограбленному. И тем дело кончилось» (*Сулакадзев А. И.* Записные книжки // Арх. ЛОИИ, 238, карт. 149, № 2, с. 36—37). Видимо, Гоголь учитывал и этот анекдот второй половины двадцатых годов, когда создавал свою повесть.

Среди повестей на чиновничью тему, на которую «наострились вдоволь разные писатели» (3, 142), можно назвать в параллель к «Шинели» повести Ф. Булгарина «Гражданственный гриб», Е. Гребенки «Лука Прохорович», Н. Павлова «Демон», Н. Кулиша «За стеной» и т. д., но ни одна из них не может встать рядом по своим достоинствам с повестью Гоголя, о которой так глубоко сказал Достоевский. Высказывания Белинского по поводу «Шинели» — беглые, может быть, потому, что критик собирался писать о Гоголе статью, подобную статье о Пушкине, но она так и не была написана. Один из первых отзывов о «Шинели» принадлежит

Ап. Григорьеву (*Григорьев Ап.* Собр. соч. М., 1916. Вып. 8. С. 9; Вып. 7. С. 62—64). О «Шинели» писал и Н. Г. Чернышевский в своей знаменитой статье «Не начало ли перемены?» (*Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 857—860). «Шинель» Гоголя пролагала путь дальнейшему развитию русского искусства — творчеству художников натуральной школы, творчеству Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тургенева и других.

[1]*Капитан-исправник* — начальник полиции в уезде, избирающийся из дворян.

[2]*Акакий Акакиевич.* — Авторский выбор имени строго продуман, идейно заострен. Об этом говорят отвергнутые имена: Моккий — «насмешник», Варух — «благословенный», Соссий — «здоровый, невредимый», Павсикахий — «унимающий зло, бедствие», Трифилий — «трилистник, клевер». Ни одно из них «не подошло» к герою и к его судьбе. Выбор остановился на имени Акакий, означающем «кроткий, незлобивый». Важно и то, что в нем дважды повторяется суть — тем самым она максимально подчеркивается. Просматриваются и другие причины: назвав своего героя по имени отца, писатель как бы отказал ему в собственном имени, таким образом, лишив личность индивидуальности или, по крайней мере, идею индивидуальности до предела редуцировав. И наконец: комическая звукопись имени тоже бросает «тень» на характер героя (см.: *Эйхенбаум Б. М.* О прозе. М., 1969. С. 317). Все эти смыслы «остранняют» образ. Имя Акакия, редко встречающееся, связано еще с житийной литературой (см.: *Drissen F. C.* Gogol as chort story writer. A study of his techique of composition. Paris; the Haque; London, 1965. С. 164; *Шкловский В. Б.* Энергия заблуждения. М., 1981. С. 314; *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. Л., 1985. С. 318).

[3]*Родился Акакий Акакиевич* ∾ *23 марта.* — В черновой редакции Гоголь писал, что Башмачкин родился «как раз против ночи 4 февраля зимою в самое дурное время» (3, 452). Впоследствии эту атмосферу холода, окружающую жизнь бедного чиновника с самого рождения, он снял. Мотив холода писатель решил как сугубо петербургский мотив, как мотив, являющий «холодно-деспотическое» отношение к человеку (3, 143). Однако ясно, что Гоголь искал день рождения своего героя. Дело в том, что Башмачкин назван Акакием вопреки сложившемуся обычаю давать имена по месяцеслову. Его день рождения не соответствует ни одному дню — памяти святых Акакиев: 15 октября, 29 ноября, 9 марта, 17 апреля, 1 мая, 19 мая, 7 июля, 28 июля. Необходимо отметить еще одну деталь. В рукописи писатель указывал мотивировку выбранного имени, не совпадающего с днем ангела: «обыкновенно водится давать мальчику имя несколькими днями вперед» (3, 523).

[4]*Помощник столоначальника* — канцелярский служащий, как правило, чиновник 8 класса, коллежский асессор или чиновник 9 класса, титулярный советник (Расписание должностей... С. 21).

[5]*Пряжка в петлице* — наградной знак, выдававшийся за многолетнюю выслугу гражданским чиновникам. «Тут вышел сам хозяин... он сделался теперь плотным чиновником, в вицмундире и с пряжкою за пятнадцатилетнюю беспорочную службу» (*Полевой Н.* Избранные произведения и письма. Л., 1986. С. 276).

[6]*Стремешка* — тесьма от штанины, продеваемая под подошву.

[7]*Штурмовой вист* — азартная карточная игра.

[8]*...вечный анекдот о коменданте...* — Видимо, в данном анекдоте варьируется известный сюжет о петербургском коменданте П. Я. Башуцком, которого напугали сообщением об исчезновении памятника Петру. Другой анекдот на эту тему приводит А. И. Сулакадзев: «Около 1821 года П. Башу вздумали уверить, что на одной площади монумент снят. „Как то можно?“ Башу садится в экипаж. Скачет и видит своими глазами, что оный не тронут, возвращается и, сердясь, говорит, что впредь не поверит пустякам. Тот, кто ему о снятии сказал, вынимает записную книжку и показывает, действительно, но только *снятой* (выделено А. И. Сулакадзевым. — *О. Д.*) рисунок с монумента» (*Сулакадзев А. И.* Записные книжки. С. 5).

[9] *Фальконетов монумент* — памятник Петру I в Петербурге — «Медный всадник», изваянный французским скульптором Этьеном Морисом Фальконе (1716—1791). Был установлен 7 августа 1782 г.

[10]*...с четырьмястами жалованья.* — Гоголь документально точно указывает годовое жалованье титулярного советника. «Но вот я кончил курс и определился на службу в Канцелярию (в чине титулярного советника. — *О. Д.*). Мне повезло: сразу сел на место с жалованием в 450 рублей» (*Милюков А.* Доброе старое время. С. 238).

[11]*Серпянка* — портяная или хлопковая ткань, грубая марля.

[12]*Капот* — женское верхнее платье, с рукавами и разрезом впереди. Здесь употребляется в ироническом, сниженном смысле.

[13]*Рожок* — здесь: табакерка, сделанная из воловьего рога.

[14]*Аплике* (*фр.*) — накладное серебро.

[15]*...не положить ли, точно, куницу на воротник?* — Г. А. Гуковский говорит, что мечтать о кунице — «это значит мечтать о чем-то свойственном „значительным лицам“» (*Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. С. 354), но сам смысл появления идеи «не положить ли куницу на воротник» рассматривает как возрождение человеческих, нравственных начал в герое. «Куница» в качестве воротника шинели имеет совершенно определенное значение. Чин служащего можно было распознать не только «по пуговицам вицмундира» или по его цвету, но и по качеству воротника шинели: на шинелях в строгом соответствии допускались воротники из черной мерлушки для чиновников низших классов, а бобровые — для чиновников первых четырех (см.: *Полянский А.* Форменная одежда гражданских чинов. С. 45—47). В повести Гоголя этот обычай обыгрывается: «не разбирая чина и званья», мертвец рвет с плеч всякие шинели: «на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы» (3, 169), т. е. посягает на социальное достоинство чиновников разных рангов, ставит под удар идею неприкосновенности бюрократической системы. В связи со значением, какое придавалось одежде в свете иерархических различий, можно вспомнить, что и статский советник Нос был опознан Ковалевым «по мундиру», «по шляпе с плюмажем» именно как статский советник, о чем говорилось выше. В атмосфере, где подчеркнуты различия «полков и канцелярий», где зависимость низших от высших строго определена и законодательно оформлена, воротник из куницы, о котором мечтает Башмачкин, имеет прямое отношение к служебному продвижению, повышению в чине, как образ, его моделирующий. Вместе с тем значение куницы раскрывается не только на шкале бюрократических смыслов. Образ куницы «рифмует» образ шинели и в русле значений, когда шинель выступает в качестве «подруги жизни». В малороссийских народных обрядах куница считалась символом невесты, девицы, за которую давали куничный откуп (см.: *Потебня А. А.* О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1860. С. 68). Такое значение куницы-невесты подтверждается и в русских подблюдных песнях:«Бежит бобер за куницею, слава!» (*Сахаров И.* Песни русского народа. СПб., 1838. С. 86—87). Впоследствии Ф. М. Достоевский обыграл гоголевскую ситуацию, доведя ее до логического конца в житейских отношениях своих героев: «У него всего имения было только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки, «которую, впрочем, всегда можно было принять за куницу». Я даже подозреваю, что будь у него *кошка, которую нельзя было принять за куницу*, то он, может, и не решился б жениться, а еще подождал» (*Достоевский Ф. М.* Собр. соч. Т. 19. С. 70; курсив мой. — *О. Д.*).

[16]*...ваньки с ∞ санками...* — зимний легковой извозчик, который стережет ездоков на улице.

[17]*Бесконечная площадь* — Сенная пл. Путь героя лежал через Сенную в *Свечной* переулок (см. черн. ред.), который находился между Б. Офицерской (Б. Московской) и Лиговской.

[18]*Капельдинер* — здесь: лакей.

[19]*...секретари того... ненадежный народ...* — Здесь имеется в виду произвол секретарей, пользующихся своим положением.

[20]*Жаба* — устаревшее название ангины.

[21]*Десть* — единица света писчей бумаги, 24 листа.

[22]*...мелькнул светлый гость...* — *Светлый гость* — образ ангела из стихотворения Жуковского «Таинственный посетитель».

[23]*По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста ∞ стал показываться мертвец...* — Сцена эпилога в зеркальном отражении повторяет сцену ограбления бедного чиновника. Здесь можно увидеть указание на быт. А.С. Пушкин отмечал в дневнике: «Улицы не безопасны. Сухтельн был атакован на Дворцовой площади и ограблен. Полиция, видимо, занимается политикой, а не ворами и мостовою. Блудова обокрали прошлой ночью» (П. 8, 33). Вместе с тем вряд ли только бытовой план, историческую документальность имел в виду Гоголь. Хотя и такое понимание заключено в финале «Шинели»: не случайно попечитель С.-Петербургского учебного округа Г. Волконский истолковал концовку повести чисто эмпирически: воры распространили слухи о мертвеце для того, чтобы пользоваться его маской

(см.: *Манн Ю.В.* Поэтика Гоголя. С. 102). Социальную угрозу всем имущим в поступках гоголевского мертвеца Башмачкина видел граф А. Г. Строганов, петербургский губернатор, считая, что привидение на мосту «просто тащит с каждого из нас шинель» (см.: *Герцен А. И.* Собр. соч. Т. 9. С. 154), таким образом улавливая некий обобщенный смысл финала повести.

[24]*Тавлинка* — плоская берестяная табакерка с ремешком на крышке.

[25]*Привидение* ∾ *носило преогромные усы...* — То, что с Башмачкина сняли шинель люди с «усами», маркирует грабителей как военных. Писатель настойчиво повторяет в привидении черты грабителей, только гиперболизирует их: ночное привидение — «высокого роста, с преогромными усами и с кулаком, какого и у живых не найдешь» (3, 174). В сюжете повести весьма своеобразно выстраивается цепочка образов: грабителей Башмачкина, напоминающих привидения, мертвеца-чиновника, наконец, привидения концовки, по сути своей эквивалентных. С помощью этих образов, несомненно родственных по художественному решению, автор раскрывает эволюцию темы произвола в мертвящем мире Петербурга.

[26]*Обухов мост* — через Фонтанку по Саарской першпективе (Московский пр.), от Адмиралтейской части в Московскую часть.

Записки сумасшедшего

Рукопись повести хранится в РГБ (РМ4). «Записки сумасшедшего» в ней занимают место между двумя статьями: «Последний день Помпеи. Картина Брюллова» и «Ал-Мамун». Здесь повесть еще не имеет заглавия. Расположение повести позволяет Н. С. Тихонравову сделать вывод о том, что она вписана в записную тетрадь не раньше августа 1834 г. (см.: *Гоголь Н. В.* Соч. 10-е изд. Т. 5. С. 558). Ее замысел ученый относит к 30 ноября 1832 г., оперируя письмом Гоголя И. И. Дмитриеву (там же. С. 610). Рукописный текст повести близок к первопечатному. Отличия между ними незначительны: текст «Арабесок» разделен датами записей героя, видна стилистическая отделка. В декабре 1834 г. Гоголь писал Пушкину: «Вышла вчера довольно неприятная зацепа по цензуре по поводу „Записок сумасшедшего", но, слава богу, сегодня немного лучше. По крайней мере, я должен ограничиться выкидкою лучших мест. Ну, да бог с ними! Если бы не эта задержка, книга моя, может быть, завтра вышла» (Переписка Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 145). В «Арабесках» повесть имела и другое название: «Клочки из записок сумасшедшего». При сравнении рукописи и первопечатного текста видно, что цензура не пощадила следующие фрагменты: получение ордена генералом, утверждение Поприщина, что «правильно писать может только дворянин», монолог героя об аренде и т. д.

Автор ни в издании 1842 г., ни в издании 1855 г. поправок к тексту повести не делал, мелкие исправления стиля здесь принадлежат Прокоповичу и Трушковскому. В тексте АП В. Л. Комарович ввел из рукописи в добавление к предыдущим, сделанным Н. С. Тихонравовым и Н. И. Коробкой, 8 поправок, считая, что они были вымараны под давлением цензуры (3, 699—700).

Настоящее издание публикуется по первопечатному — Ар, с учетом поправок в П, с восстановлением рукописных вариантов, запрещенных цензурой.

В отличие от АП, исключения составляют следующие фрагменты текста, прошедшие редакторскую «проверку» многими переизданиями, наиболее аргументированные текстологическим анализом ученых: 1) с. 142, строка 33 — «сколько кухарок, сколько проезжих»; 2) с. 154, строка 21 — «но достоверно известно, что он вместе с одною повивальною бабкой и оттого...»; 3) с. 155, строка 28 — «гранды или солдаты»; 4) с. 156, строка 23 — «Бритые гранды»; 5) с. 158, строка 12 — «у алжирского дея под самым носом шишка».

Сюжет «Записок сумасшедшего» в науке связывают с двумя различными замыслами Гоголя начала 30-х гг. — с «Записками сумасшедшего музыканта» и с неосуществленной комедией «Владимир 3-й степени». В повесть вошел чрезвычайно обширный документальный материал эпохи: «испанские дела», связанные со смертью Фердинанда VII и с борьбой вокруг испанского престола, имевшей международный резонанс, астрономические открытия Дж. Гершеля о Луне, сообщения и статьи газеты «Северная пчела», через призму которых герой повести строит свое представление о мире, наконец, бытовые рассказы очевидцев о поведении сумасшедших, биографические подробности жизни самого автора в Петербурге в начале 30-х гг. и т. д. Вместе с тем текст «Записок сумасшедшего» лежит в русле литературных увлечений

времени, литературных традиций: в науке давно проведены связи повести Гоголя с произведениями В. Ф. Одоевского, А. С. Пушкина, Э. А. Гофмана и других (см.: *Чудаков Г. И.* Отношение творчества Гоголя к западноевропейским литературам. С. 103—104; *Веселовский А. Н.* Западное влияние в новой русской литературе. С. 192; *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма. С. 337; *Фридлендер Г. М.* Вопросы реализма в творчестве Гоголя 30-х гг. С. 67; *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. С. 137—172 и др.).

В. Г. Белинский один из первых дал высокую оценку этому «арабеску», назвав «Записки сумасшедшего» одним из «глубочайших произведений» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 661).

[1]*Губернское правление* — высшая местная административная власть, которую представлял генерал-губернатор или губернатор.

[2]*...гражданских и казенных палатах...* — *Гражданские палаты* — орган сената, высшее в губернии место, ведавшее судебными гражданскими тяжбами. *Казенная палата* — орган министерства финансов. Она ведала сбором различного рода казенных налогов (подушной податью, акцизами, откупами, выдачей различных свидетельств — промысловых, гильдейских). Палата состояла из пяти отделений: ревизского, питейных сборов, казначейства, соляного и контрольного. Присутствие палаты включало ее председателя, советников, губернского казначея, губернского контролера, нескольких асессоров (Свод законов. СПб., 1857. Т. 2, ч. 1. С. 1017, 1018).

[3]*...сукно совсем не дегатированное.* — Т. е. сукно, не прошедшее особой технологической обработки, не смоченное особым способом, для того чтобы не пропускать влагу.

[4]*Столярная* — от Б. Мещанской ул. до наб. Екатерининского канала; *Кокушкин* — мост через Екатерининский канал (кан. Грибоедова) на Садовую улицу.

[5]*Дом Зверкова* — реальный дом Зверкова на Екатерининском канале возле Кокушкина моста — первый пятиэтажный дом в Петербурге. Гоголь жил в этом доме с конца 1829 по 1831 г.

[6]*Читал «Пчелку». Эка глупый народ французы!* — «Пчелка» — «Северная пчела» — монополизировавшая сообщения о внешнеполитических событиях. Пушкин писал: «Неужели кроме „Северной пчелы“ ни один журнал не смеет у нас объявить, что в Мексике было землетрясение и что „Камера депутатов закрыта до сентября“» (П. 10, 285). В России только эта газета помещала скудные новости о жизни Европы. По словам Бенкендорфа, в «Северной пчеле» публиковались статьи, имеющие целью «успокоить публику насчет иностранных дел и событий», которые нередко писались Фоком (М. Я. Фок был директором канцелярии III отделения). Поприщин на все смотрит глазами «Северной пчелы», оценивает события с ее голоса. В 1830 г. читатель русских газет никак не мог догадаться, что во Франции идут приготовления к новой революции. «Санкт-Петербургские ведомости» по указке свыше сообщали нелепые известия о беспорядках в Париже, о взятии Тюильрийского дворца, о королевской гвардии, о прокламации 31 июля и т. д. (см.: СПб Ведомости, 1830, № 94, 95). Эта фальсификация была сочинена по приказу Николая I, который называл июльскую французскую революцию не иначе как «подлостью» (см.: *Лембке М.* Николаевские журналы и литература 1826—1855 гг. С. 51). «Северная пчела» буквально повторяла подобные статьи, а Поприщин присваивал себе мнения газеты.

[7]*...описанное курским помещиком.* — Ф. В. Булгарин нередко подписывал свои бытовые очерки — «курский помещик» (см.: *Золотусский И. П.* Поэзия прозы. М., 1987. С. 153).

[8]*Душеньки часок не видя...* — Четверостишие из Песни Н. П. Николева (1758—1815). Последний стих у Гоголя звучит иначе: «Льзя ли жить мне, я сказал» вместо: «„Жизнь прости навек!“ — сказал». Гоголевская интерпретация последнего стиха явно пародирует неуклюжий слог старого поэта-классика.

[9]*Разбесил начальник отделения.* — Гоголь последовательно и документально раскрывает должность, указывая и на чин начальника Поприщина — «надворный советник» и на то, что он свой чин получил после окончания университета, т. е. он чиновник I разряда, для которого полагается иная выслуга лет. В «Уставе о службе гражданской» говорилось об ученых степенях, открывающих путь к поступлению на гражданскую службу: «1) студента, 2) кандидата, 3) магистра, 4) доктора». Студенты принимались на службу чином 12 класса, кандидаты — 10 класса, магистры получали чин 9 класса, а доктора — чин 8 класса (Устав о службе гражданской. СПб., 1842. С. 65, 71).

[10]*...я разве* ∾ *из унтер-офицерских детей?* — Т. е. низших по званию чинов в армии, пред-

шествующих офицерским. К унтер-офицерским чинам относились: младший унтер-офицер, взводный унтер-офицер, фельдфебель. Ни унтер-офицеры, ни тем более их дети не имели дворянских прав.

[11]*Ручевский фрак* — фрак от Рутча. «Сегодня у молодого камер-юнкера (Е. П. Штерича) обедают блестящие молодые люди „хорошего тона"... Здесь будут потомки знаменитых Долгоруких, Голицыных и проч. ... — Подайте венгерку! — сейчас прозвучало у меня в ушах. Это значит, что русские магнаты собрались уже и приступают к главному предмету своей беседы и к созерцанию последнего произведения великого Рутча — портного» (*Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. С. 57).

[12]*...ничего, ничего... молчание.* — Пародийно преобразившаяся цитата из «Гамлета» Шекспира. В ключевых гамлетовских монологах (в 1 действ, 2 явл., 3, 5, действ.) проходит внутренняя тема героя: слова о молчании. У Гоголя поприщинским рефреном в разных вариациях становится: «...ничего, молчание!» (3, 199, 200, 201, 202) — тоже внутренняя тема. Многократно, назойливо звучащий поприщинский рефрен, наконец, теряет свой смысл, превращаясь в гримасу, в «остраненный» жест, за которым скрывается «чужая речь», некая театральность, пародийная подражательность. Навязчивость повтора обнаруживает его вторичность, «цитатность». На «театральность» происхождения цитаты может указывать и то, что впервые в повести Гоголя слова: «...ничего, молчание!» — приходят в голову Поприщину именно в театре.

[13]*Камер-юнкер* — придворный чин 9 класса. В обязанности камер-юнкера входило ежедневное дежурство (в порядке очереди) при императрицах. Обычно камер-юнкер представлял явившихся на прием особ мужского пола (кроме послов и других членов императорской семьи). Дежурство устанавливалось во время придворных церемоний, балов, выездов императриц в театры. Обычно камер-юнкерское звание получали молодые люди из высокопоставленных дворянских семейств. У Гоголя камер-юнкер Теплов носит черные бакенбарды, что говорит, по правилам гоголевской поэтики, о его высокопородных качествах (см.: комментарий к «Невскому проспекту»). «В 1833 году число лиц, имевших это придворное звание, превышало сотню, причем среди камер-юнкеров преобладали чиновные люди» (*Шепелев Л. Е.* Отмененные историей. С. 123; *Рейсер С. А.* Три строки дневника Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1985. С. 145—152).

[14]*Ведь сколько примеров по истории: какой-нибудь простой ∾ мещанин ∾ иногда даже государь.* — Гоголь намекает на реальные исторические примеры, когда мещанин А. Меньшиков или церковный певчий К. Разумовский волею судьбы стали первыми вельможами в государстве, а крестьянин Е. Пугачев претендовал на роль царя (см.: *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. С. 145—146).

[15]*Это масон...* — Масоны — это члены тайных религиозных обществ (масонских лож), которые занимались вопросами не только нравственного «строительства», но и политическими вопросами, поэтому их нередко относили к вольнодумцам государственного масштаба или церковного. Масонство как явление идеологическое было распространено в Западной Европе и в России в конце XVIII—начале XIX в. В бытовом сознании масоны воспринимались как отступники от веры, еретики, богохульники, преданные антихристу. О них распространялись невероятные басни как об убийцах, коварных похитителях, слугах дьявола (см., например: *Державин Г. Р.* Соч. СПб. Т. 6. С. 437—438). У масонов было множество тайных обрядов и тайных знаков, по которым они узнавали друг друга. В «Записках» Поприщин узнает в директоре департамента масона «по знаку»: «Он если даст кому руку, то высовывает только два пальца» (3, 206). На эту тонкость впервые обратил внимание Г. П. Макогоненко («Петербургские повести» А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. М., 1986. С. 333). Однако здесь важно не само указание, но пародийное осмысление «знакового» поведения высшего чиновничества. Подобное поведение было характерно и для других социальных слоев и профессиональных союзов. «Знаковое» поведение, которое лежит не в русле официального этикета, бюрократической иерархии, общепринятых норм, естественно вызывает сравнение с чем-то выходящим из общих границ: например, с поведением масонов, которые закрепили тип ритуального поведения. «Литераторы и даже простые любители литературы... как масоны, узнают друг друга по какой-то особенности, которая их характеризует» (*Жихарев С. П.* Записки современника. Т. 1. С. 372). Замечательно и то, что Поприщин, заподозрив масонскую симво лику в поведении директора, автоматически переводит свои оценки в отрицательный план. В

реакции гоголевского героя можно рассмотреть и бытовую реакцию непросвещенной толпы, легковерно доверяющей слухам, и реакцию официальных властей, объявивших масонов вне закона и преследовавших их как политических противников. Поприщин психологически близок обеим: обывательской и официозной.

[16]*...пожалован генерал-губернатором, или интендантом...* — Т. е. наместником губернии, назначаемым по непосредственному высочайшему повелению, самим императором. В России во времена Николая I во главе только 10 губерний стояли генерал-губернаторы: виленский, смоленский, кавказский, киевский, лифляндский, московский, петербургский, харьковский, западно-сибирский и восточно-сибирский.

Интендант — заведущий продовольствием войск.

[17]*Странные дела делаются в Испании.* — «Испанские дела» — одна из рубрик внешнеполитической хроники «Северной пчелы», усердным читателем которой был Поприщин. Именно известия этой газеты мотивируют сюжетное превращение титулярного советника в «испанского короля» (*Комарович В. Л.* Комментарий к «Запискам сумасшедшего» // Гоголь. Статьи и материалы. Л., 1954. С. 359—361; *Золотусский И. П.* Гоголь. С. 147—149; *Пумпянский Л. В.* О «Записках сумасшедшего» // Преподавание литературного чтения в эстонской школе. Методические разработки. Таллинн, 1986. С. 118—122). Со смертью Фердинанда VII (сент. 1833), короля Испании, которого называли «безумным абсолютистом», кровожадным мстителем восставшим против него кортесам (см.: *Свербеев Д. И.* Записки. Т. 2. С. 150—160), испанский престол оказался свободным, и за него развязалась борьба карлистов (сторонников брата короля Дон Карлоса) и христианистов (сторонников дочери короля донны Изабеллы). Борьба за власть вылилась в семилетнюю гражданскую войну.

[18]*Не может взойти дона на престол.* — В 1833 г. донне Изабелле исполнилось 3 года. Ее регентшей была Мария Христина Бурбонская, мать. По законам испанского королевства, престолонаследие передавалось только по мужской линии. С рождением инфанты Фердинанд VII опубликовал прагматическую санкцию 1789 г. о праве женского престолонаследия, но в 1832 г. король подписал приказ об отказе этого прагматического права. Однако принцессы уничтожили королевский приказ, что и послужило причиной многолетней войны и политической борьбы вокруг вопроса о престоле. Россия, Пруссия и Австрия отказались признать Изабеллу (ср. у Гоголя: «Не позволит этого... австрийский император, наш государь» — 3, 207). Сторонники инфанты заключили в январе 1834 г. союзный договор с Францией и Португалией, а в апреле 1834 г. министерство Мартинеза де ля Роза, поддерживающее донну Изабеллу, вошло в союз и с Англией. Поприщин читает известия «Пчелы», по замечанию Л. В. Пумпянского, о летних и осенних событиях 1834 г. (*Пумпянский Л. В.* О «Записках сумасшедшего». С. 121). В его сознании отпечатывается политическая борьба вокруг испанских дел: коалиции Россия—Австрия—Пруссия и союза Франция—Англия.

[19]*После обеда ходил под горы.* — Имеется в виду катание на ледяных горах, сооруженных в Петербурге на Неве недалеко от Адмиралтейства.

[20]*В Испании есть король.* — Гоголь, определив Поприщина «испанским королем», насыщает смысл этого понятия историческими аллюзиями. Писатель в августе—сентябре 1834 г., работая над повестью, конспектирует книгу Г. Галлама «Европа в средние века». Он выписывает сведения о принципах государственного управления в Испании в XIV—XV вв.: «Король не мог издать никакого закона без собрания кортесов... Они (кортесы. — *О. Д.*) имели такую власть, какую никогда не имел английский парламент. Они присвоили себе права, когда предлагаемо было регентство, ограничивать их преимущества и назначать тех, которые должны исполнять должность» (9, 185—186). Изучая историю Испании по этому источнику, Гоголь выяснил, что Фердинанд I, впервые объединивший Кастилию и Арагон, Валенсию и Каталонию в Испанию как единое государство, при восхождении на престол признал свободы кортесов, их право в государственном соуправлении; власть первого испанского короля была ограничена властью дворян. При Филиппе II это право кортесов было уничтожено. Начиная с правления Филиппа II, абсолютизм в Испании был непоколебим вплоть до правления Фердинанда VII. В июле 1834 г. опять открылись кортесы, но при тяжелой неблагоприятной обстановке: в Мадриде свирепствовала холера, иезуиты отравили колодцы, зрели заговоры крайних либералов, страна была обессилена гражданской войной. Гоголь, наблюдая современность, в истории ищет подтверждающих аналогий, сравнивает, вводит в подтекст своей повести эту не высказанную прямо историче-

скую информацию. Поприщин — «испанский король» объявляет Мавре — «черному народу» (3, 208), что между ним и Филиппом «нет никакого сходства» (3, 205). Прежде всего герой отрицает традиционно сложившийся порядок, сразу устанавливает различие между Филиппом II (1527—1598), жестким и кровавым тираном, утвердившим власть инквизиции и подчинившим ее своей воле (что не удавалось ни одному европейскому монарху), и собою — Фердинандом VIII, начавшим как бы новую эру, но опирающимся на древние, лучшие традиции. В тексте «Записок» появляется как логическое подтверждение новой программы «испанского короля» в его государственном совете должность канцлера, символизирующая либерализм нового монарха, должность, намекающая на древний испанский обычай кортесов, имеющих власть парламента.

[21]*Экстракт* — здесь: выписка из какого-либо документа, канцелярского дела.

[22]*...столоначальник такой-то.* — Очень важно, что Поприщин, будучи титулярным советником, служил в должности столоначальника. Это говорит о том, что герой Гоголя — не самый мелкий канцелярский служащий, напротив, в его подчинении, судя по должности, находились по меньшей мере десять чиновников: пищик, писец, копиист, подканцелярист, канцелярист, регистратор, бухгалтер, секретарь младших портов, секретарь 9 класса, наконец, помощник столоначальника. Понятно, что каждая низшая должность — это ступени к более высокой. Поприщин прошагал их все снизу доверху. «Благородство» службы в департаменте, по словам героя, нельзя сравнивать с выгодной, но низкой службой в губернском правлении или казенных палатах. Однако и в губернском правлении столоначальник имел в распоряжении не меньше 5—10 чиновников, целиком от него зависящих. А. И. Герцен, сосланный в Вятку, служил чиновником в канцелярии губернского правления: «В канцелярии было человек двадцать писцов... Сверх Аленицына, общего начальника канцелярии, у меня был начальник стола, к которому меня посадили... За одним столом со мною сидели четыре писца» (*Герцен А. И.* Собр. соч. Т. 8. С. 244). Поприщин как столоначальник правил целым штатом канцелярских чиновников. Обычно на должность столоначальника департамента назначались чиновники 7 и 8 класса, но в правлениях столоначальниками служили чиновники 10 класса. Как видим, столоначальник в чине 9 класса — титулярного советника — некое исключение. Это и порождает поприщинскую амбицию. Мания величия героя вполне вписывается в официальные координаты бюрократической системы.

[23]*...аренды хотят эти патриоты.* — Известно, что высшие чиновники, начиная от действительного статского советника, часто получали дополнительный вид содержания — *аренду*. Аренда назначалась самим императором иногда пожизненно, иногда на определенный срок. Аренда — земельная рента, размеры которой составляли от нескольких сот рублей до 5 тыс. рублей (высший предел). Как правило, аренда назначалась в размере годового содержания.

[24]*...я увидел множество людей с выбритыми головами.* — Здесь говорится о сумасшедших, которым выбривали голову в лечебных целях.

[25]*Государственный канцлер* — первый министр, высший гражданский сан. В начале XIX в. придворная должность канцлера значилась почти при всех европейских дворах — Англии, Франции, Дании, Швейцарии, Австрии, Пруссии, Италии, России, исключая Испанию. В Испании еще при Филиппе II должность канцлера была отменена вместе с собранием кортесов, главой которых он был. Упоминание должности канцлера при «испанском короле» Поприщине в тексте «Записок» многозначно варьируется. Гоголь обыгрывает мотив «канцлера» в разных функциях. В Англии, например, канцлер после короля считался высшим покровителем малолетних, сирот и умалишенных. Эта подтекстовая функция «канцлера» отражается в «Записках» пародийно. Обычно на эту придворную должность (в России эта традиция не соблюдалась) назначались юристы, блюстители закона, или лица духовного звания — пастыри рода человеческого: возможно, в этой связи в тексте повести упоминаются «капуцины», монахи католического ордена. В России должность канцлера обычно соединялась с должностью министра иностранных дел. В 1833 г. русскому канцлеру в это время (им был В. П. Кочубей) был присвоен особый знак «трость черного дерева с белым из слоновой кости набалдашником» (Энциклопедический словарь / Под ред. Брокгауза и Эфрона. СПб., 1895. Т. 14. С. 352), о чем сообщалось и в «Пчеле». В этой связи можно понять, почему Поприщин в надзирателе с палкой видит «канцлера»: в сознании героя происходит естественное замещение одного другим — по знакам отличия (трость

вместо палки). В повести Гоголя понятие «канцлер» оказывается на перекрестке совершенно разных значений — надзирателя в больнице всех скорбящих и дворцовой должности, это наращивает в связи с темой «испанского короля» ассоциации из русской жизни и испанской истории.

[26]*...канцлер ударил меня два раза палкою по спине ~ это рыцарский обычай при вступлении в высокое звание, потому что в Испании еще и доныне ведутся рыцарские обычаи.* — Здесь цитируется сцена посвящения в рыцари из «Дон Кихота» Сервантеса. Сравним перевод этого романа с французского, сделанный в 1831 г.: «Трактирщик, который решился кончать эту потеху, посвятив его (Дон Кихота. — *О. Д.*) как можно скорее в бедственные рыцари, объяснил, что достаточно получить объятие и удар мечом по спине, — единственные вещи, необходимые при обряде посвящения... Пробормотав... по книге своей несколько невразумительных слов, он поднял руку и довольно сильно ударил Дон Кихота по шее, а вслед за тем повторил удар мечом плашмя» (*Сервантес М.* Дон Кихот Ла Манхский. СПб., 1831. Ч. 1. С. 56—57).

[27]*...земля сядет на луну.* — Это событие, как установил Г. П. Макогоненко, было предсказано в научной литературе начала XIX столетия (см.: *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. С. 160). О нем вспоминали в связи с величайшей сенсацией 30-х гг. XIX в.: с открытием жизни на Луне. Об этом сообщалось в прессе. Газеты и журналы — французские, английские, немецкие — писали о наблюдениях астронома Джона Гершеля, изобретателя новейшего и самого совершенного по тому времени телескопа, занимавшегося на мысе Доброй Надежды своими научными опытами. Гоголь, работая над «Записками», этот материал мог почерпнуть из французского источника, а мог в связи с полемикой, разыгравшейся в европейской прессе по этому вопросу, слышать о Гершеле и в кругу Пушкина. А. И. Тургенев сохранил воспоминания о том, как он в 1803 г. в Геттингене смотрел на Луну: «Вчера имел я случай быть в здешней обсерватории и смотреть на луну в Гершелев прекрасный телескоп. Я видел ясно пятна, которые должны быть, по уверению Астрономов, огнедышащими горами» (Архив братьев Тургеневых. С. 112). «Бред» Поприщина зеркально отражает увлечения самой эпохи. После выхода книжки «О жителях Луны и других достопримечательных открытиях, сделанных астрономом Джоном Гершелем во время пребывания его на мысе Доброй Надежды» (СПб., 1836) читатель верил этим известиям чаще всего безоглядно, воспринимал такие сенсации как откровения. А. Н. Мокрицкий записывает в своем дневнике: «30 число января 1836 года ознаменовано для меня чрезвычайным известием. Сей великий муж (Гершель. — *О. Д.*) воспользовался усовершенствованием микроскопа и приноровил оный к своему телескопу, превосходящий Дерптский в несколько раз, и объявив свою мысль и намерение королю, просил его помочь ему средствами и отправился на мыс Доброй Надежды под видом наблюдения прохождения Меркурия... Он увидел существа совершенно человеческого вида. О чудо, они не ходят, как мы, но летают посредством тонких перепонок, идущих от рук к ногам (соединяющих ноги с руками). Этих чудных существ видел он слетавших со скалы в воду, где они, поплавав, выходили и садились на зеленый луг и, вероятно, беседовали, что показывали они движением рук и голов. У них дома правильные и покрыты тщательно. По дыму, выходящему из них, они должны отапливаться» (*Мокрицкий А. Н.* Указ. соч. С. 69—70). Понятно, что читательское отношение к этому событию не всегда было легковерным. Многие современники Гоголя восприняли его как мистификацию.

[28]*...знаменитый английский химик Веллингтон...* — Английского химика Веллингтона не было. Был герцог Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852), полководец, государственный деятель, дипломат, фельдмаршал. В начале 30-х гг. Веллингтон воспринимался политическим банкротом. Его имя — уже в достаточной мере анахронизм на арене политической конъюнктуры, «вздор» сумасшедшего (см.: *Пумпянский Л. В.* О «Записках сумасшедшего». С. 122—123).

[29]*...на голову капать холодною водою.* — Способ лечения в сумасшедшем доме, который Поприщин сравнивает с пыткой. Лечение «холодной водой», «холодными капельными ваннами» по бритой голове — вид «нравственного лечения для самых буйных» (Сев. пч. 1834, № 32. С. 128).

[30]*...не попался ли я в руки инквизиции...* — Инквизиция — судилище, учрежденное в начале XIII в. римско-католической церковью. Суды инквизиции отличались изощренными пытками и жестокими казнями, особенно в Испании.

[31] *Полиньяк.* — Полиньяк Огюст Жюль Арман (1780—1847) — политический деятель Франции. При Карле X он был премьер-министром, способствовал государственному перевороту (1830) в пользу крупных землевладельцев. В 1833—1835 гг. Полиньяк уже никого не интересовал. В «Записках» имя Полиньяка читателем во второй половине 30-х гг. воспринималось таким же анахронизмом, как имя Веллингтона.

[32] *Великий инквизитор* — верховный судья инквизиции.

[33] *...у алжирского дея под самым носом шишка?* — Так было в «Арабесках» и последних изданиях. В первом полном академическом собрании сочинений писателя, предпринятом в советскую эпоху, редактор третьего тома В. Л. Комарович изменил эту строчку: вместо «алжирского дея» поставил по рукописи — «французского короля», объясняя авторскую правку требованиями цензуры. П. Н. Берков позднее убедительно доказал, что вариант публикации «Записок» 1835 г. (т. е. — «у алжирского дея») правомерен и более точен — с точки зрения логики сюжетного развития и с точки зрения обрисовки характера героя, читающего «Северную пчелу» (см.: *Берков П. Н.* Указ. соч. С. 359—361). Последний «алжирский дей», как сообщалось в газете Греча и Булгарина, умер в Александрии в 1834 г., а в 1830 г. он был свергнут с арены политической борьбы и во второй половине 1830-х гг. воспринимался уже как алогизм, явный бред сумасшедшего (см.: *Пумпянский Л. В.* О «Записках сумасшедшего». С. 123).

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Мелкие отрывки

Страшная рука

Печатается по автографу (РМ4). Впервые отрывок был опубликован П. А. Кулишом (см.: *Кулиш П. А.* Записки о жизни Гоголя. СПб., 1856. Т. 1. С. 167—168).

Фонарь умирал

Печатается по автографу (РМ4). Опубликован П. А. Кулишом (см.: там же. С. 173—175). Оба отрывка связывают с позднейшим замыслом «Невского проспекта».

Дождь был продолжительный

Печатается по автографу (РМ4). Этот отрывок относят, как и два предшествующих, к 1833 г. Опубликован П. А. Кулишом (см.: там же. С. 171—173). Предполагается, что это черновой набросок «Записок сумасшедшего музыканта» — будущей повести «Записки сумасшедшего».

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Васильевич Гоголь

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ

Утверждено к печати Редколлегией серии «Литературные памятники»

Редактор издательства В. Н. Немнонова. Художник Л. А. Яценко
Технический редактор Л. М. Семенова
Корректоры Л. М. Бова, Н. И. Журавлева и Ф. Я. Петрова
Оригинал-макет изготовлен в Компьютерном издательском центре «Наука»
Компьютерная верстка Т. Р. Рубиновой

ЛР № 020297 от 27.11.91. Сдано в набор 27.12.94. Подписано к печати 28.08.95.
Формат 70×90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура академическая.
Печать офсетная. Усл.печ.л. 21.64+1.31 вкл. Уч.-изд.л. 26.10.
Тираж 1800. Тип.зак. № 3259. С 1205

Санкт-Петербургская издательская фирма РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1

Санкт-Петербургская типография № 1 РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12

